



Publications

GROUP
PUBLICATIONS

CHICAGO UNIVERSITY
LIBRARY
(1887-1907)

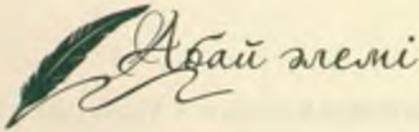


Если мы хотим быть нацией на глобальной карте XXI века, нужно, чтобы мир узнал нас по культурным достижениям.

*Нурсултан Назарбаев,
Президент Республики Казахстан*



82,09
Д 70



ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Ф. М. Достоевский:
Семипалатинский период
(1854-1859 гг.)

2/3

УДК 821.161.1.0

ББК 83.3

Д 70

**Книжная серия «Абай әлемі»
Акимат Восточно-Казахстанской области**

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Сарсеке М., главный редактор

Члены Редакционного совета:

Ахметов Д.

Нусупова А.

Мухамедчинов А., *ответственный секретарь*

Еспенбетов А.

Кантарбаев А.

Абдуллина Л.

Жанболатов М.

Касымов А.

Кратенко А.

Пуссеп Г.

Щербаков Б.

Д 70

Достоевский Ф.М.

Ф.М. Достоевский: Семипалатинский период (1854-1859 гг.) / Сост. Музей Достоевского. – Астана: Фолиант, 2018. – 472 с.

ISBN 978-601-338-072-8

Книга «Достоевский в Семипалатинске» создана по инициативе и при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области Д.К. Ахметова. Задачами проекта являются сохранение историко-культурного наследия РК, привлечение внимания к деятельности одного из семи существующих в мире музеев писателя, формирование имиджа региона, привлекательного для расширения маршрутов культурного туризма.

Одна двенадцатая часть жизненного пути величайшего русского писателя Федора Михайловича Достоевского прошла в нашем городе на Иртыше, куда он прибыл в начале весны 1854 года нести солдатскую службу после четырех лет Омского каторжного острога. Здесь им был пройден путь от рядового седьмого Сибирского линейного батальона до офицера. Здесь он общался с одним из лучших представителей казахского народа Ч.Ч. Валихановым и встретил женщину, которая буквально поразила его воображение и впоследствии стала его женой...

В далеком, провинциальном городе он обретает возможность возвращения к литературной деятельности, но, не желая вновь навлечь на себя недовольство властей, пишет свои «семипалатинские повести», по его собственному признанию, с «большой оглядкой на цензуру».

В издании, наряду с публикацией произведений, написанных Достоевским в Семипалатинске (сейчас – Семей), рассказывается о том, как в городе создавался музей писателя, и о людях, так или иначе причастных к сохранению памяти о нем и его творческого наследия.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ

Абай атындағы

қазіргі ақпарат қорының кітапханасы КММ

УДК 821.161.1.0

ББК 83.3

ISBN 978-601-338-072-8

517042

© Музей Достоевского., сост., 2018
© Издательство «Фолиант», 2018

«АБАЙ ӨЛЕМІ» – «МИР АБАЯ» – ИЗБРАННЫЕ ИЗ ЛУЧШИХ



Уважаемый читатель!
Мы являемся свидетелями и участниками нового этапа в истории независимого Казахстана, который отмечен масштабными экономическими и политическими реформами Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. В исторической статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства подчеркивает: «Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру...». Эти слова выражают суть национальной программы духовного возрождения «Рухани жаңғыру» и являются основой современных преобразований в нашей стране.

В рамках Президентской программы мы реализуем уникальный проект по созданию книжной серии «АБАЙ ӨЛЕМІ» – «МИР АБАЯ», который призван обновить и приумножить культурно-литературное наследие наших писателей, популяризовать лучшие их произведения среди молодежи, развивая чувство патриотизма и любви к родному краю.

«АБАЙ ӨЛЕМІ» объединяет разные по жанру и тематике произведения писателей, поэтов и людей искусства. В первом выпуске книжной серии читатели проникнутся глубокой мудростью Абая Кунанбаева и Шакарима Кудайбердиева, почувствуют впечатляющую повествовательную монументальность эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Впервые в Восточном Казахстане выходит в свет сборник произведений семипалатинского периода жизни Федора Достоевского, имя которого известно во всем мире.

В честь 130-летия певца и музыканта Амре Кашаубаева издан сборник воспоминаний «Амре в Париже». Имя Амре занимает особое место в истории и культуре казахского народа. Певец является одним из основоположников казахского национального театрального

искусства и стал первым казахским певцом, чей голос в 1925 году покориł Европу.

Сегодня Восточный Казахстан известен созвездием писателей и поэтов, творчество которых, безусловно, вызовет неподдельный интерес жителей нашей области и страны. О простых, но самых ценных истинах жизни через призму детской души повествуют произведения Марата Кабанбаева, замечательная лирика и боевой настрой живой поэзии, присущий сочинениям Толеу Кобдикова.

Эпохальные романы Анатолия Иванова, пронзительный документальный реализм Медеу Сарсеке, диалог между природой и человеком Бориса Щербакова также станут подлинным достоянием первого выпуска книжной серии «АБАЙ ЭЛЕМІ».

В дальнейшем будут опубликованы лучшие романы Азильхана Нуршаихова, Ади Шарипова, Калихана Искакова, Оралхана Бокеева, стихи Улыкбека Есдаулета, этнографические путешествия по Алтаю Георгия Гребенщикова. Вниманию читателей будут предложены замечательные труды краеведов Владимира Обручева, Бориса Герасимова, Нифонта Долгополова, Евгения Михаэлиса, Николая Коншина, а также современника – Алибека Кантарбаева.

Кроме того, мы продолжим работу по поиску молодых, еще не известных широкой общественности, талантов, которыми, несомненно, так богат наш прекрасный край.

Доброго знакомства, дорогие читатели!

Даниал АХМЕТОВ,
аким Восточно-Казахстанской области

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Покамест я занимаюсь службой, хожу на ученье и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось; вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжелой неволи. Климат здесь довольно здоров. Здесь уже начало киргизской степи. Город довольно большой и людный. Азиатов множество. Степь открытая. Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и в Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца – чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть, и сотни верст. Здесь все ель, сосна да ветла, других деревьев нету. Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что приступу нет. Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того».

*Из письма М.М. Достоевскому
27 марта 1854 г. Семипалатинск*

В биографии Федора Михайловича Достоевского, невероятно насыщенной яркими и трагическими событиями, сильными страстями, титанической работой мысли, пять лет (1854-1859), прожитых в Семипалатинске (сейчас – Семей), были, пожалуй, самыми напряженными.

Он приехал сюда оглушенный каторгой, одинокий, растерянный, с неопределенными планами возвращения в настоящую жизнь, планами, в осуществление которых верилось с трудом.

В нашем городе Ф.М. Достоевский вернулся к делу своей жизни – литературному творчеству. Здесь, после длительного перерыва, он начинает работу над «Записками из Мертвого дома», создает повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».



Здесь судьба сводит его с замечательными людьми – Ч.Ч. Валихановым, П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, А.Е. Врангелем, – которые оставили глубокий след в духовном мире писателя.

На семипалатинской земле разворачивается драма его первой, мучительно-трудной любви к М.Д. Исаевой, завершившаяся женитьбой в феврале 1857 г.

Очень многое изменилось в городе на Иртыше с того времени, когда здесь находился в ссылке великий русский писатель.

Сгорели солдатские казармы, разрушились от времени дома, где он бывал, но сохранился дом почтальона Лепухина по улице Крепостной (ныне Достоевского), где писатель прожил два с половиной года (1857-1859).

Этот деревянный, полуторазэтажный дом, стоящий в самом центре города, зимой укутанный снегом, а летом погруженный в спокойный шум деревьев, дышит памятью о Ф.М. Достоевском, о его великой жизни и его бессмертных творениях, наполненных мыслью и совестью.

Именно он стал основой единственного за пределами России, созданного на казахстанской земле, литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, признанного своеобразной визитной карточкой города.

Более 45-ти лет музей живет напряженной, насыщенной жизнью, являясь местом паломничества поклонников творчества писателя из разных стран мира.

За годы существования он превратился в богатейшее хранилище музейных ценностей. Его фонд насчитывает более двадцати четырех тысяч музейных предметов, которые сложились в уникальные коллекции: книг с автографами, прижизненных изданий Достоевского и его современников, мемуарной литературы, периодических изданий XIX-XX веков, рукописей и документов, редких фотографий, изобразительных материалов.

В фонде редкой книги хранятся издания, которые давно уже стали библиографической редкостью, такие как: «Юности

честное зеркало» (1717 г.), «Нравоучительные сказки господина Марменталья» (1787 г.), «История Государства Российского» Н. Карамзина (1818 г.), священные книги XVII-XIX веков и т.д.

Коллекция книг с автографами насчитывает более шестисот томов на шестнадцать языках народов мира. Это книги с дарственными надписями известных литературоведов, писателей и деятелей культуры.

Музей обладает редкой коллекцией графических и живописных работ, которые представлены такими известными именами, как: В. Матэ, М. Рундальцов, В. Кауэльбах, Е. Бём, М. Ройтер, А. Корсакова, Е. Ключевская, В. Вильнер, С. Косенков, А. Ушин, В. Мишин, Е. Сидоркин и мн. др.

Каждый новый музейный предмет – это новая исследовательская задача, решение которой часто выливается в монографическое изучение, превращается в публикации или развернутые статьи. Научное описание предметов является лучшей школой квалификации сотрудников, постепенно создает из них настоящих специалистов музейного дела, обладающих знаниями не только в литературоведении, но и в вопросах истории, этнографии, искусства, архитектуры, быта и т.д. В фонде музея имеется система картотек, позволяющая получать различные сведения о хранящихся в нем предметах. Ведется планомерная оцифровка экспонатов основного фонда, идет работа над созданием электронного каталога.

Интересна такая форма работы музея, как «открытые фонды»: на первом этаже мемориального дома разместилась выставка «Русский интерьер конца XIX – начала XX века». Заглянув туда, посетители попадают в мир старых вещей, бытовых предметов далекого прошлого... Ведь не только книга, газета или журнал могут быть носителями информации, но и граммофон, и чугунный утюг, гревшийся на углях, и старый фотоаппарат, и печатная машинка. Любая ретровещь, размещенная на выставке, имеет свою культурную и эстетическую ценность, возрастающую с каждым десятилетием.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей. На занятия в фонд приходят учащиеся школ, студенты вузов и колледжей. Но это лишь первые шаги. Планируется вести такую форму работы, как «рассказ об одном экспонате». Наиболее интересные музейные предметы будут выступать в роли главных

героев, о которых будет дана информация, полученная в ходе их научного изучения.

На базе фондов и научной библиотеки, располагающей большой коллекцией редких книг, проводится музейная практика для студентов-филологов, историков, архивистов. Оказывается помощь при подготовке рефератов, курсовых, дипломных, научно-исследовательских работ.

Изменилось отношение к музею, творчеству писателя у молодого поколения горожан. Стало уже традицией проводить конкурсы на лучшую творческую работу «Мой Достоевский» и «Мы изучаем роман Достоевского «Преступление и наказание»». Первое время были сомнения, не слишком ли сложные вопросы предлагаются для осмысления школьникам и студентам. Оказалось, что нет. Учащиеся глубоко вникают в проблемы творчества писателя, тонко отмечают особые нюансы. Проблемы, поднимавшиеся Достоевским в конце XIX века, оказываются современными и в наши дни.

Стали популярными такие формы работы с детьми, как конкурс «Волшебное перышко», когда школьники сочиняют сказки; конкурс театральных постановок; интерактивные зоны; игры-квест; пазлы и игра с кубиками; викторина по истории родного края и городам Казахстана и т.д.

С 1971 г. в музее работает «Литературная гостиная», на заседаниях которой обсуждаются проблемы творчества Ф.М. Достоевского и его литературного окружения, проводятся Дни памяти деятелей мировой культуры.

На базе музея возобновило свою работу старейшее в республике литобъединение «Иртышские огоньки». Теперь местные поэты и писатели имеют возможность для творческого общения и обучения мастерству начинающих авторов.

Тесно сотрудничает музей с областным драматическим театром имени Ф.М. Достоевского. За последние годы совместными усилиями было создано несколько спектаклей: «Настасья Филипповна» (по роману «Идиот»), «Никто другой не дал бы мне столько счастья» (по воспоминаниям А.Г. Достоевской), «Несостоявшаяся встреча» (по материалам дневников А.Г. Достоевской и А.П. Сусловой), «Бедные люди», «Како веруюши, али вовсе не веруюши...» (по роману «Братья Карамазовы»), «Жизнь как игра» (по роману «Игрок»), которые нашли положительный отзыв у зрителей.

На сцене музея была поставлена театрализованная композиция «Найти счастье на земле...», рассказывающая о судьбе дочери писателя – Любви Федоровне. С этим мероприятием сотрудники музея выезжали в города Павлодар и Риддер, в рамках интеграции областей.

Совместно с городской телерадиокомпанией музеем был создан документальный сериал «Иртышская хроника» (о пребывании Ф. Достоевского в нашем городе), фильмы которого неоднократно повторялись в эфире.

Все эти годы в музее ведется собирательская, экспозиционная и большая научно-исследовательская работа. Наиболее изучен семипалатинский период жизни писателя (1854-1859). Были подготовлены научные сообщения, публикации, представленные в различных международных сборниках.

Музей приобрел известность не только своей стационарной экспозицией, но и многолетней выставочной деятельностью. Ежегодно проводится более десяти выставок, основанных на материалах фондов музея и предметах из частных коллекций. Четырежды проводились Международные Достоевские чтения на тему «Достоевский и современность», на которые приезжали известные ученые-исследователи из ближнего и дальнего зарубежья: В. Твардовская, В. Михнюкевич, Ю. Гольцекер, В. Борисова, Л. Куплевацкая, К. Итокава, А. Достоевский, В. Вайнерман, А. Щадрина и многие другие.

Сотрудники музея принимают участие в больших международных научных форумах Москвы, Санкт-Петербурга, Старой Руссы, Омска, Барнаула и т.д. Не так давно осуществилась возможность участия в онлайн-конференции с коллегами из музея Ф.М. Достоевского города Новокузнецка.

Казахстанский музей великого русского писателя по праву стал местом диалога различных направлений в достоевковедении и воспринимается как составляющее единого мирового культурного процесса.

Решением научно-экспертного совета научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского города Семей вошел в список 100 сакральных мест Казахстана.

*Т. АВГУШКО,
Директор музея*



Б.Г. ГЕРАСИМОВ,
краевед

Эти и последующие две работы, публикуемые в настоящем издании, принадлежат перу священника, одного из крупных исследователей семипалатинского периода жизни Достоевского и пропагандиста его творчества в Казахстане Бориса Георгиевича Герасимова (1872-1934), награжденного за научные исследования в 1925 году золотой медалью Центрального совета Географического общества (см. о нем: М.К. Жунусова. Исследователь семипалатинского периода жизни Ф.М. Достоевского Б.Г. Герасимов / Достоевский и современность (Материалы Достоевских чтений). Семипалатинск, 1989. С. 91-94).

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

(Статья первая)

28 января исполнилось 38 лет со дня смерти величайшего русского писателя Достоевского, глубокого провидца распада психологии русского интеллигенчества, нарисовавшего в «Бесах» образ разложения нашей государственности и общественности.

Гений Достоевского преломил, как в зеркале, переживания нашей русской мысли до воплощения ее в уродливых формах крайних течений.

Большевизм, как болезнь политического организма России, был предсказан Достоевским и охарактеризован с беспощадной последовательностью.

Для семипалатинцев Достоевский интересен еще и как обитатель нашего города, и увлечение о. Бориса Герасимова мощной личностью Достоевского, в связи с пребыванием писателя в нашем крае, весьма понятно. О. Герасимову нужно отдать должную справедливость.

В прочитанной им 28 января ст. ст. в думском зале лекции не только была нарисована живая личность великого психолога-

писателя, но и сообщены были новые данные о его жизни и обстановке его деятельности.

Достоевский прибыл в Семипалатинск 2 марта 1854 г., непосредственно после отбытия каторги в Омске.

Он был зачислен в Сибирский батальон, № 7-й, солдатом. В январе 1856 г. его произвели в унтер-офицеры и позволили ему жить на частной квартире. Писатель поселился в доме Пальшина. 15 октября 1856 г. Достоевского произвели в прапорщики.

Еще будучи солдатом, Достоевский посещал квартиру своего батальонного командира Белихова, из кантонистов, человека прямодушного и простого. Достоевский читал своему начальнику газеты и журналы и, видимо, пользовался уважением. Тут же он познакомился с интендантским полковником Хаментовским и горным инженером Ковригиным.

Это были весьма просвещенные, передовые люди своего времени.

В числе близко знакомых людей у Достоевского был и ссыльный поляк Ордынский. Он отбыл в Усть-Каменогорске 4 года каторги и служил солдатом в Копале. По отбытии же наказания Ордынский поселился в Семипалатинске, где заведовал провиантскими магазинами.

Достоевский был репетитором в семье Мельчаковых. Он репетировал девочку по арифметике.

О. Герасимов беседовал с ученицей Достоевского. По ее словам, ее учитель был терпелив, но и настойчив. Занятия имели успех, несмотря на неспособности ученицы к математике. Особенно часто Достоевский бывал у чиновника особых поручений Исаева, безнадежного алкоголика, к жене которого, Марии Дмитриевне, он страстно привязался.

Это была большая любовь. Роман Достоевского шел не на убыль, а все более и более усложнялся, причиняя мучение и той и другой стороне.

Когда же Исаевы переехали на жительство в Кузнецк, Достоевский сильно затосковал. Положение приняло такой оборот, что друг Достоевского, барон Врангель, порешил устроить для влюбленных свидание. Для этого к Марии Дмитриевне было написано письмо, чтобы она в определенное время приехала в Змеиногорск, куда надлежало приехать и Достоевскому.

Однако ж на пути к свиданию оказалось много непреодолимых препятствий.

Начать с того, что Достоевского из Семипалатинска не выпускали. Для того чтобы обойти это препятствие, друзья Достоевского (Врангель и врач Ламотт, ссыльный поляк, студент Виленского университета) устроили мистификацию.

Известно, что Достоевский страдал падучей. И вот друзья его объявили, что у него сильный припадок. Квартиру от непрощенных посетителей заперли, окошко занавесили и т.д.

Пользуясь таким обманом официального мира, Достоевский выехал в Змеиногорск.

Увы! Марии Дмитриевны там не было. Она прислала письмо, в котором известила, что выехать не могла по двум причинам: денег не было, и муж был смертельно болен.

В таком угрюмом настроении воротился Достоевский в Семипалатинск.

По смерти Исаева Достоевский женился на Марии Дмитриевне, для чего брал двухнедельный отпуск, во время которого и ездил в Кузнецк для венчания. Таким образом, Достоевский сделался семейным человеком. У него был пасынок, которого он отдал учиться в сибирский кадетский корпус в Омске.

К моменту вступления в брак Достоевскому было 34 года, а его жене 29 лет. Молодые, по приезде из Кузнецка, поселились в д. почтальона Лепухина (ныне д. Несговора, по Достоевской улице, называвшейся прежде Крепостной). На доме Лепухина теперь прибита доска с надписью, что тут жил Достоевский.

Особенно близок был Достоевский с бароном Врангелем. Этот впоследствии известный путешественник по окончании образования определился в Семипалатинск стряпчим по уголовным делам (прокурором) при губернаторе.

Достоевский и Врангель, между прочим, жили на одной даче у казака Казакова (построившего казачью церковь).

Дача находилась за теперешним сумасшедшим домом, ближе к Иртышу, и была довольно примитивна. Крыша протекала, в полу были дыры, из которых появлялись ужи.

Хозяева дачи не обращали на них внимания и даже попойками иногда угощали, и ужи делались смелее и смелее.

Однажды несколько барынь пришли навестить двух знаменитых отшельников. С криком и смехом ворвались они в дачную квартиру Достоевского и Врангеля.

Случилось, что в это время ужи пили молоко. Заслышав необычный шум и топот, ужи бросились врассыпную... и запута-

лись в длинных модных шлейфах барынь, к великому испугу последних и смеху хозяев квартиры.

Вообще дачное место Достоевского и Врангеля, видимо, привлекло к себе внимание семипалатинского общества. Между прочим, представительницы прекрасного пола приходили туда для того, чтобы нарвать букеты садовых цветов. Оба знаменитых друга выписали из столиц цветочных семян и развели диковинный для семипалатинцев цветник (георгины, левкой и т.д.).

Достоевский особенно не любил пьяных.

Материальное положение его было не блестяще, но он все-таки занимался благотворительностью, и вместе со своими друзьями содержал на свои средства целую татарскую семью, отец которой был слеп.

Ученица Достоевского, по мужу Мамонтова (Мельчакова), видела, как Достоевский весело танцевал в д. городского судьи Пешехонова.

Вообще, несмотря на поднадзорность, Достоевский в Семипалатинске был везде принят и пользовался всеобщим вниманием.

Известно, что Достоевский в Семипалатинске написал «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон».

Кроме того, Врангель определенно говорит, что часть «Записок из Мертвого дома» тоже была написана здесь же.

В гостях, на вечеринках Достоевский особенно любил читать Пушкина, которого хорошо знал наизусть и от которого был всегда в восторге.

В особо хороших отношениях Достоевский был и с семьей Бахаревых.



ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

(Статья вторая)

Настоящая статья написана одним из старожилов г. Семипалатинска.

В числе 23-х, приговоренных по делу петрашевцев, был Ф.М. Достоевский, получивший 8 лет каторги. Николай I сократил срок каторжного заключения Достоевскому до 4 лет с отдачей его потом в бессрочную солдатчину.

Знакомство Достоевского с Сибирью началось с Тобольска. Это был первый крупный этап подневольного сибирского путешествия писателя. В декабре 1849 г. Достоевский выехал в ссылку. Перед отъездом Федор Михайлович получил свидание со старшим братом Михаилом Михайловичем и некоторыми друзьями. Сохранилось описание последнего прощания Достоевских, сделанное А.П. Милюковым.

«Смотря на прощание братьев Достоевских, – говорит Милюков, – всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Ф.М. был спокоен и утешал его: «И в каторге не звери, а люди, и может еще и лучше меня, может достойнее меня. Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, я даже не сомневаюсь, что увидимся. А вы пишите, да, когда обживусь, – книг присылайте; я напишу каких: ведь читать можно будет. А выйду из каторги – писать начну».

Достоевский был отправлен в Сибирь в одном поезде с поэтом Дуровым и Ястржембским (помощник инспектора технологического института). Все были закованы в кандалы. В дороге Ф.М. явился настоящим «гением-утешителем» для Ястржембского, физически и морально измученного и восьмимесячным заключением в Алексеевской равелине, и тяжелым путешествием в лютые сибирские морозы.

Сурово встретила Сибирь политических изгнанников. Иззябшие на сорокаградусном морозе, они мечтали согреться и отдохнуть в Тобольске. Действительность разрушила их иллюзии. Когда их, с холода, ввели в огромный зал Тобольской пересыльной тюрьмы, они увидели большую партию арестантов, которых

готовили к отправке по разным острогам. Мужчины, женщины, дети были перемешаны вместе. Одним брили головы, других пригоняли к железному пруту, около которого должны были идти арестанты, заковывали в кандалы.

В канцелярии острога служили, в качестве писцов, арестанты в острожных халатах, с клеймами на лицах «К. А. Т.», с вырезанными ноздрями, с выжженными на лбу буквами «В.О.Р.».

Достоевский и его спутники обратились к смотрителю с просьбой дать им самовар.

– А как же вы будете путешествовать по сибирским этапам? Нет у нас самовара! – отрезал смотритель.

После обыска их поместили в грязной темной комнате с нарами, на которых валялись грязные, набитые сеном, тюфяки. Мечты о тепле рассеялись. Скорчившись от холода на полу, друзья обменивались полученными впечатлениями. Обстановка Тобольской каторги привела Ястржембского в отчаяние. К тому же путешественники поморозились и получили повреждения от кандалов. У Достоевского открылись золотушные раны.

Соседями петрашевцев за тонкой перегородкой оказались подследственные арестанты, среди которых в то время шла азартная карточная игра, сопровождавшаяся пьянством и угарной бранью. В уме Ястржембского созрело крайнее решение – покончить с собой, но Достоевский сумел успокоить друга, внушить ему какую-то надежду. Впрочем, самочувствие петрашевцев поднялось, когда они неожиданно получили сальную свечу, спички и горячий чай по распоряжению жандармского офицера, оказавшегося одним из знакомых Ястржембского и узнавшего о прибытии ссыльных в Тобольскую тюрьму.

Таково было первое знакомство Достоевского с Сибирью.

В Тобольском остроге петрашевцев посетили жены декабристов – Муравьева, Анненкова с дочерью и Фонвизина, доставившие Ф.М. и его друзьям хороший обед и вина. Об этом посещении Достоевский рассказывает в «Дневнике писателя» за 1873 год.

«Когда мы в Тобольске, в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь... Ни в чем неповинные,

они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час...»

Наступил день, когда Достоевского с Дуровым назначили для отправки в Омскую каторжную тюрьму. Ястржембский простился с ними. «Мы расстались, – говорит он, – с Достоевским и Дуровым в Тобольском остроге, поплакали, обнялись и больше уж не видались».

Тобольск сменился Омском. Это второй, более продолжительный этап сибирской жизни Достоевского. Четыре кошмарных года провел Ф.М. в «Омском Мертвом Доме». В периодической печати приходилось встречать разные указания о месте, где Достоевский отбывал каторжные работы: одни называли Красноярск, другие – Усть-Каменогорск. Среди старожилов Усть-Каменогорска и до сих пор держится убеждение, что Достоевский нес наказание в Усть-Каменогорском военном отделении каторжной тюрьмы. Даже указывают камеру, где будто бы сидел Ф.М. На чем основано это предположение усть-каменогорцев, трудно сказать. Но достоверно известно, что ни в Красноярске, ни в каком-либо другом месте Сибири Достоевский не был, а отбывал свой срок наказания в Омской каторжной тюрьме.

Семипалатинск – третий и последний этап сибирской жизни Достоевского. Здесь каторга Достоевского должна была закончиться бессрочной солдатчиной. Как ни страшна была солдатская ляжка дореформенного, николаевского, казарменного режима, при котором считалось за правило: девять забей, десятого выучи, – переход к новому режиму Ф.М. встретил чуть не с восторгом. «Новая жизнь, воскресение из мертвых» («Записки из Мертвого дома») – вот как определил Достоевский по выходе из Омской каторги предстоявшую ему жизнь в Семипалатинске.

Его определили 2 марта 1854 г. рядовым в 7-й Сибирский линейный батальон.

Достоевского больше всего обрадовала после каторги возможность уединения.

Жизнь Достоевского в Семипалатинске почти не освещена в литературе. Заслуживают внимания воспоминания Врангеля. Есть несколько мелких заметок в разных периодических изданиях и – почти все.

Тем не менее, на основании этих данных и того материала, который нам удалось собрать в Семипалатинске о Достоевском, мы попытаемся дать очерк жизни Ф.М. в этом городе.

Первые два года солдатской жизни в Семипалатинске явились для Ф.М. очень тяжелыми. Палочный режим заставлял быть бдительным. Приходилось напрягать все силы, чтобы выполнять суровые требования субординации. Надо было тянуться за другими, чтобы не отстать в службе. Все это отражалось на здоровье, которое было очень расшатано каторгой, обострившей эпилепсию Достоевского. Тем не менее, через четыре месяца воеенщины Достоевский знал солдатское дело не хуже других, о чем он не без удовольствия сообщал в письме к старшему брату Михаилу Михайловичу.

Пребывание в казарме дало возможность Достоевскому сравнить солдатскую лямку с каторгой, и это сравнение было не в пользу тюрьмы. Там Ф.М. считал себя заживо погребенным. Отклики на кошмарную жизнь в Омске мы видим в письме Достоевского из Семипалатинска к младшему брату Андрею Михайловичу. «Что за ужасное это было время, друг мой, я не в состоянии тебе передать. Это было страдание невыразимое, бесконечное. Если б я написал тебе сто листов, то и тогда ты не имел бы представления о моей тогдашней жизни» (от 6 ноября 1854 г.).

Служба поглощала все время Достоевского. Ф.М. старался быть точным в исполнении своих обязанностей. Он выполнял все требования дисциплины, как бы ни были они суровы, нес караульную службу, почтительно относился к начальству, хотя бы это начальство было старше его всего на одну белую лычку на погоне (ефрейтор). Старые служаки батальона № 7 хорошо отзывались о Ф.М., вспоминая, как он предупредительно аккуратно при встречах с ними отдавал им положенную честь. «Ты иногда и не замечаешь Достоевского, а он между тем тянется с рукой», – говорили сослуживцы Ф.М. по батальону.

Живя в казарме, Достоевский являлся невольным свидетелем того, какими суровыми мерами внедрялась дисциплина в солдатскую жизнь. Это положение Достоевского отягчалось тем обстоятельством, что батальон № 7 являлся беспокойным. В нем было много сосланных помещиками дворовых людей и так называемых наемщиков, нанявшихся за других отбывать солдатскую службу, – бесшашный элемент, не особенно склонный к исполнению правил воинского устава. Все это поднимало настроение казармы. Налицо всегда были элементы брожения,

недовольства, которое подавлялось беспощадно. Рост репрессии зависел от степени озлобленности солдат.

Возраст солдат был самый разнообразный: были старики, была и молодежь, немало из кантонистов. Один из последних, пермяк Кац, сданный в солдаты семнадцатилетним мальчиком, оказался соседом Достоевского по нарам. Ф.М. жалел Каца и всячески оберегал его от оскорблений казармы. Кац по окончании военной службы остался на постоянное жительство в Семипалатинске, занимался портняжничеством, имел дом и скончался лет 12 назад. Кац говорил нам, что его очень влекло к Достоевскому. «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский бесконечно добрый человек, которого нельзя было не любить». Будучи портным, Кац заработал немного денег и завел самовар, за которым они и сидели с Достоевским в свободное время. Ф.М. отдыхал за самоваром. Чай являлся заметным дополнением к скромному солдатскому столу. Самовар наставлял и за молоком к чаю нередко ходил сам Ф.М. Проснется, бывало Кац рано утром с твердым желанием поставить самовар и приготовить молоко – смотрит, самовар уже на столе, здесь же стоит кринка с молоком, амуниция вычищена.

Жена дьякона Хлынова, у которой Ф.М. брал молоко, говорила: «Помню, помню этого солдатишку; только какой-то чудной он был: то рядится и просит отпустить молоко подешевле, то вдвое дает дороже. Помню его, чудной он был, но хороший человек; недаром произвели его в офицеры; дрянь-то ведь не пустили бы в офицеры».

Ф.М. неоднократно видел палочную расправу над солдатами, но однажды ему и самому пришлось принять участие в наказании шпицрутенами одного провинившегося. Достоевский попал в «зеленую улицу», дожидаясь подхода преступника. По словам Каца, Ф.М. с невероятными усилиями заставил себя поднять палку и опустить очередной удар на спину преступника. В тот же день с Достоевским был тяжелый припадок падучей. Вообще первые два года солдатской службы потребовали от Достоевского большого напряжения сил и много унесли здоровья.

Что касается литературных работ Достоевского в этот период его жизни, то трудно допустить, чтобы Достоевский писал что-нибудь. Обстановка казармы слишком была неблагоприятна для каких-либо литературных занятий. Достоевский только

поддерживал переписку с родными. Первое письмо Ф.М. из Семипалатинска помечено 30 июля 1854 г.

В январе 1856 г. Достоевский получает звание унтер-офицера. Достоевскому позволили переселиться из казармы на частную квартиру.

Первая частная квартира Ф.М. была в доме семипалатинского старожилы Пальшина. С хозяевами Достоевский был в дружеском общении. Квартира давала уединение и возможность литературных занятий. Надо полагать, что с этого момента Достоевский возобновил свои литературные работы, прерванные каторгой. Пальшины свидетельствовали, что Достоевский очень много времени отдавал чтению и письму, даже по ночам. В казарму Ф.М. должен был являться только на занятия и в экстренных случаях, когда за ним посылали. Посланных Достоевский оделял деньгами, табаком и угощал чаем, если они приходили к готовому самовару. Поэтому вестовые охотно ходили к Достоевскому с поручением от фельдфебеля или другого начальства.

В моменты хорошего настроения Ф.М. вспоминал в разговорах обстоятельства случившейся с ним в Петербурге катастрофы, показывал даже саван, в котором он стоял на эшафоте.

Достоевский давал уроки математики Мамонтовой (Мельчаковой). Мы застали еще в живых эту старушку. Она сообщила нам интересные сведения о занятиях с ней Ф.М. Мамонтова признавалась, что она была ученица ленивая, капризная и малоспособная, не всегда аккуратно выполняла требования своего учителя. Но Ф.М. был настойчив и всегда добивался желательных результатов. Нередко свою строптивую ученицу он оделял конфетами. Занимался Достоевский с ученицей в шинели. Позднее выяснилось, что Ф.М. прикрывал шинелью недостатки своего костюма. Мамонтова вспоминала, что на уроках у нее Ф.М. сильно и долго кашлял, – видимо, каторга и казарма весьма повлияли на состояние здоровья писателя. Кроме квартиры Пальшина, Достоевскому приходилось жить и в других домах. Друг Достоевского, Врангель, дает следующее описание одной из таких квартир Ф.М.

«Хата Достоевского находилась в самом безотрадном месте. Кругом пустырь, сыпучий песок, ни куста, ни деревца. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, без единого окна наружу. У Досто-

евского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены. Вдоль двух стен шла скамья. На стенах там и сям лубочные картины, засаленные и засиженные мухами. От входа у дверей стояла большая русская печь. За ней помещалась постель Ф.М-ча, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевой перегородкой. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно, когда-то красные. Вся комната была закопчена и так темна, что вечером с сальной свечой я еле мог читать (стеариновые свечи были тогда роскошью, а керосина не существовало). Как при таком освещении Ф.М. мог писать ночи напролет, — решительно не понимаю. Была еще приятная особенность его жилья: тараканы сотнями бегали по столу, стенам и кровати, а летом блохи не давали покою».

В октябре 1856 г. Ф.М. был произведен в офицеры — он получил чин прапорщика. С этого момента Достоевский уже официально входит в офицерскую среду. Командир седьмого батальона, подполковник Белихов, был большой оригинал. Будучи кантонистом, он дослужился до чина подполковника. Любил выпить и в обнимку с солдатками ходил по гостям. Был большой хлебосол и любил принимать гостей. Кончил Белихов плохо. Растратив казенные деньги, застрелился. Белихов выписывал газеты и журналы, но сам не любил читать их. Узнав, что ссыльный рядовой Достоевский образованный человек, он пригласил его к себе на квартиру, для чтения вслух почты. Нередко Белихов оставлял Достоевского обедать у себя. Здесь же Ф.М. познакомился с представителями местной интеллигенции, посещавшими батальонного командира.

Производство в офицеры расширило круг знакомства Достоевского. В это время он знакомится с Марией Дмитриевной Исаевой. Муж ее, Александр Иванович, был неисправимый алкоголик, допивавшийся до белой горячки. Жизнь с вечно пьяным мужем тяготила ее. Встретив в лице Достоевского образованного человека, к тому же явно интересовавшегося ею, Исаева постепенно сблизилась с Ф.М.

Близким другом Достоевского был «стряпчий по уголовным и гражданским делам», как тогда назывался прокурор, Алек-

сандр Егорович Врангель. Родители Врангеля были знакомы с родителями Достоевского по Петербургу. Когда молодой Врангель получил назначение в Сибирь, родные Ф.М. послали с ним в Семипалатинск письма, деньги, посылку.

Встреча Врангеля с Ф.М. была теплая, хотя Врангель до этого времени не был лично знаком с Достоевским; знакомство перешло в дружбу. Врангель глубоко ценил высокие дарования своего друга и всячески ему протезировал. Между прочим, он ввел Ф.М. в дом губернатора Спиридонова, когда Достоевский был еще рядовым. Спиридонов, впрочем, высказал пожелание, чтобы Достоевский не приходил к нему в дом в солдатской шинели. Врангель, как аристократ, с большими связями в столице, держался независимо, совершенно не обращая внимания на семипалатинских чиновников, которых шокировала дружба прокурора со ссыльным солдатом. Дорожа дружбой с Ф.М., Врангель предложил ему переехать к нему на жительство. Он снял в аренду так называемый Казаковский сад, полуразвалившийся и с прогнившими полами домик, с садом и огородом, принадлежавший богатому семипалатинскому обывателю Казакову.

Особняк находился недалеко от Иртыша. В саду, при доме, протекал холодный ключ. Друзья занялись устройством своей дачи: развели цветник, огород, водоемы в саду наполнили живыми стерлядями (был даже осетрик), развели кур, достали диких поросят и ручного волчонка. Под полом дачи оказались ужи, которых друзья приручили, наливая им в комнате молоко. Эти ужи однажды не на шутку перепугали семипалатинских дам, и с тех пор дача была объявлена «заколдованной».

В тихие летние ночи друзья ложились на траву около дачи и вели бесконечные разговоры. Достоевский любил декламировать Пушкина. Любимыми стихами его были «Пир Клеопатры» («Египетские ночи»). Декламация Ф.М., по словам Врангеля, была великолепна. Иногда Ф.М., шагая по комнате, с большим воодушевлением читал отрывки из задуманной им повести «Дядюшкин сон».

Вместе с Врангелем Достоевский часто бывал у Исаевых. Но вот Исаев получил служебный перевод в г. Кузнецк Томской губ. С большой грустью проводил Достоевский Марию Дмитриевну. Самого Исаева, замертво пьяного, положили в экипаж. С отъездом Исаевой Ф.М. затосковал. Он заметно худел, перестал даже писать «Записки из Мертвого дома». Ухудшение

в состоянии здоровья Ф.М. не на шутку встревожило Врангеля. Тогда он решил устроить свидание Достоевского с Исаевой в Змеиногорском руднике, находящемся между Семипалатинском и Кузнецком. Врангель сообщил свой план Ф.М., который ухватился за него с радостью. План состоял в следующем: объявить Достоевского больным и в это время тайно съездить в Змеиногорск на свидание с Исаевой, которой предварительно послать письмо.

Чтобы обеспечить успех, решено было посвятить в заговор врача Лямотта. В архиве бывшего областного правления мы встретили некоторые сведения о Лямотте: он студент Виленского университета. За принадлежность к какой-то тайной политической организации Лямотт был послан в семипалатинский линейный батальон, где исполнял обязанности врача. Врангель называл Лямотта «человеком добрейшей души». Лямотт с восторгом принял участие в заговоре друзей. По городу распустили слух, что Достоевский, в припадке падучей, сильно расшибся и нуждается в полном покое. Для большей иллюзии ставни окон квартиры Ф.М. были наглухо закрыты. А в это время тройка несла друзей прямой дорогой через Бель-Ягач мимо Локтя, к Змеиногорску. Но здесь Достоевского ждало горькое разочарование. Вместо Исаевой друзья получили только письмо Марии Дмитриевны, извещавшей о том, что муж сильно болен и она не может оставить его одного; кроме того, она сидит без денег и ей не на что было бы выехать в Змеиногорск.

Через три года жизни в Семипалатинске Врангель выехал в Петербург. Отъезд его глубоко огорчил Достоевского. Ф.М. искренно полюбил своего друга, о котором дал, в письме к Аполлону Майкову, восторженный отзыв. Некоторым утешением для Достоевского явилась поездка его с П.П. Семеновым-Тян-Шаньским, исследователем Туркестана, в рудники Локтевский, Змеиногорский и г. Барнаул, который являлся центром Алтайского Горного Округа.

Посетил Ф.М. в Семипалатинске, проездом в Кашгарию, Чокан Валиханов, блестящий представитель киргизской степи, впоследствии вывезший из Центральной Азии богатейший материал о таинственной тогда Кашгарию, составивший большой том «Записок Центрального Русского Географического Общества». К сожалению, Чокан умер от чахотки. Могила его нахо-

дится в Лепсинском уезде Джетысуйской (Семиреченской) губ. Достоевский был знаком с Чоканом еще в Петербурге.

В числе знакомых Достоевского считался городской судья Пешехонов. Это был замечательный хлебосол, двери дома которого были открыты для всех желающих.

Вечера в доме Пешехонова проходили очень весело. Ф.М. довольно часто посещал их, принимая участие в играх и танцах молодежи. На вечерах в доме Пешехонова было настоящее «разливное море». «Э, друг! Если хочешь быть готовым, иди к Пешехонову», – говорил Ф.М. кому-нибудь из своих знакомых. Но пьяных Достоевский не выносил. «Кто пьет до потери в себе человеческого образа, тот не уважает ни в себе, ни в других человеческого достоинства», – говорил он. Достоевский, по-видимому, не прочь был принять участие и в карточной игре.

Довольно часто Достоевский бывал в доме ссыльного поляка Карла Ордынского, отбывшего четырехлетнюю каторгу в Усть-Каменогорской военно-каторжной тюрьме и солдатчину в Семиречье и обосновавшегося потом в Семипалатинске. К моменту прибытия Достоевского в Семипалатинск Ордынский уже состоял на государственной службе в звании смотрителя провиантских магазинов. В доме Ордынского Достоевский много писал даже по ночам.

Между тем переведенный в Кузнецк Исаев окончательно спился, заболел и умер. Глубокое сердечное влечение, которое Ф.М. чувствовал к Исаевой, закончилось браком Достоевского на Марии Дмитриевне.

Достоевский взял отпуск, отправился в Кузнецк и повенчался на вдове Исаевой 6 февраля 1857 г. Предварительно от батальонного командира, подполковника Белихова, на имя причта Кузнецкой церкви поступило следующее отношение от 1 февраля 1857 г.

«Прапорщик вверенного мне батальона Достоевский сговорил за себя в законное супружество проживающую в г. Кузнецке жену умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, Марию Дмитриевну, имеющую от роду 29 лет, почему покорнейше прошу Священно-Церковно-Служителей, ежели со стороны невесты не будет предстоять законных препятствий, то г. Достоевского свенчать, от роду он имеет 34 года, холост, как он, так и невеста вероисповедания православного, г. Достоевский у исповеди и св. причастия еже-

годно бывал, при чем прилагаю подписку невесты и свидетельство о смерти мужа ее, — по свенчании же не оставить меня уведомить».

По возвращении из Кузнецка Достоевские поселились в доме Лепухина, по Крепостной улице. Обстановка квартиры была скромная, но уютная, способствовавшая литературным занятиям Ф.М. В материальном отношении Достоевский постоянно чувствовал затруднение. Оно увеличилось с женитьбой Ф.М. Приходилось всем обзаводиться, начиная с белья. Маленького офицерского жалованья не хватало, и Достоевский принужден был пополнять свой бюджет займами. Временами Ф.М. помогал его брат, Михаил Михайлович, имевший папирозную фабрику. Но фабрика стореда, и помощь прекратилась, так как брат сам оказался в положении нуждающегося.

В счет будущих литературных работ Достоевский получил от Каткова аванс в 500 рублей. Семейные заботы осложнились заботами об определении Павла Исаева, сына Исаевых, в учебное заведение. В архиве бывшего Семипалатинского областного правления найдено написанное «бисерным» почерком Достоевского прошение, на имя командира батальона Белихова, об исходатайствовании перед властью подорожной для Павла Исаева, которого Достоевский предполагал определить в Омский кадетский корпус. Прощение извлечено из архива и помещено в музей Семипалатинского отдела Русск. Географического Общества.

Семипалатинская глушь удручающе действовала на писателя. Семипалатинск времен Достоевского походил скорее на большое село с населением в 5-6 тысяч человек. На весь город только 10-15 человек выписывали газеты, да и те плохо читались. Среди чиновников процветало взяточничество. Сплетни были любимым занятием семипалатинских обывательниц. Не мудрено, что Достоевскому хотелось поскорее выбраться из Семипалатинска. Как о счастье он мечтал выйти в отставку и поступить на гражданскую службу в Барнаул, хотя бы чиновником 14-го класса, чтобы получить возможность беспрепятственно печатать свои произведения. Имя Достоевского было в то время нецензурно в печати. Желая возможно скорее видеть в печати свои литературные работы, Ф.М. даже предложил Врангелю подписываться под его произведениями, на что Врангель, естественно, не согласился.

В судьбе Достоевского приняли участие его товарищи по инженерному училищу: известный генерал Тотлебен, принц Ольденбургский и позднее Врангель.

В 1858 г. Достоевский подал в отставку и с нетерпением ожидал результатов своего ходатайства, указав местом своего жительства Москву. О тогдашнем его настроении свидетельствует следующее его письмо к некоему Е. от 12 декабря 1858 г.: «Каждый день и час жду решения судьбы моей и не дождусь. Вы не поверите, как это тошно. Я подал в отставку, упомянув в моей просьбе, что жительство буду иметь в Москве. Моя отставка пошла, но до сих пор о ней ни слуху ни духу. Просился я в отставку по болезни (падучей). Живу в Семипалатинске, который надоел мне до смерти; жизнь в нем болезненно мучит меня. Даже самые занятия литературой сделались для меня не отдыхом, не облегчением, а мукой. Во всем виновата моя обстановка и болезненное положение мое». Еще раньше, желая несколько поправить свое расстроенное здоровье, Достоевский взял в мае 1857 г. двухмесячный отпуск и выехал в казачий поселок Озерки, в 16 верстах от города.

Старания друзей Достоевского увенчались успехом. 18 марта 1859 г. состоялся приказ об увольнении Достоевского по болезни в отставку в чине подпоручика. Ф.М-чу указано было жить в Твери, с учреждением за ним секретного надзора. За время жизни Достоевского в Семипалатинске он находился под надзором. В архивном бюро областного правления нам удалось найти любопытный документ, касающийся писателя. Когда Достоевский, находившийся под надзором полиции, получил офицерский чин, полицейская власть обратилась к губернатору с просьбой о разъяснении, следует ли продолжать надзор за Достоевским ввиду производства его в офицеры? Последовало разъяснение о продолжении наблюдения. Таким образом, офицерское звание не спасло Достоевского от надзора, который велся за ним по двум ведомствам: военному и гражданскому. Впредь до получения паспорта Достоевскому был выдан временный билет 30 июня 1859 г., с которым Ф.М. вскоре и выехал в Тверь, прожив в Семипалатинске с 1854-1859 г. более пяти лет.

Что же написал Достоевский, находясь в Семипалатинске? Можно установить следующее. Достоевским написаны повести: «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон», первая – для «Русского Вестника» и вторая – для «Русского Слова». Издатель «Рус-

ского Слова» Кушелев с восторгом принял повесть «Дядюшкин сон» и прислал Достоевскому в Семипалатинск 1000 руб.

Печатание произведений Достоевского началось в 1858 г. Затем, не может быть никакого сомнения в том, что под живым впечатлением пройденной каторги, оставившей в душе Достоевского неизгладимые образы, Ф.М. писал в Семипалатинске знаменитые «Записки из Мертвого дома». По крайней мере, Врангель говорит, что, тоскуя по случаю отъезда Исаевой в Кузнецк, Ф.М. «даже бросил свои «Записки из Мертвого дома», над которыми работал так недавно с таким увлечением». Правда, в письме Ф.М-ча к брату Михаилу Михайловичу из Твери, от 15 октября 1859 г., Ф.М. сообщает, что приступить к писанию «Мертвого дома» он намерен после 15 октября, «теперь же, – добавляет Ф.М., – болят глаза и нельзя при свечах заниматься». Очевидно, в этом отрывке письма Достоевского нет противоречия с замечанием Врангеля. Достоевский приступил к описанию Омской каторги в Семипалатинске, а закончил, или обработал этот труд, уже в Европейской России.

К сибирским же произведениям Достоевского относятся: статья о России, письма об искусстве, сибирские стихи на европейские события в 1854 г. и десятки писем к родным и друзьям. Обе эти статьи, как самостоятельные, не значатся в произведениях Достоевского. Предполагают, что они или затерялись или расплылись в разных произведениях Ф.М-ча. В Семипалатинске же Достоевский обдумывал «Идиота». По отъезде Достоевских из Семипалатинска в Тверь, в квартире их, в доме Лепухина, стены квартиры оказались оклеенными рукописями Достоевского; часть рукописей пошла на крышку кривок Лепухиной. Что это за рукописи? Не попали ли в их число потерявшиеся статьи писателя?

* * *

Остается еще один запутанный и в то же время чрезвычайно важный для выяснения влияния Сибири на творчество Достоевского вопрос: подвергался ли Достоевский физическому насилию в Омской каторге и Семипалатинской казарме? Мнения по этому вопросу расходятся. Одни утверждают, что Ф.М. был жертвой грубого насилия и в Омске и в Семипалатинске. Так, бывший каторжанин Рожновский в газете «Кавказ» говорит о двух наказаниях, которым подвергли Ф. М. в Омске: 1) за жа-

лобу на то, что в арестантских щах был найден кусок грязной кошмы (войлока) и 2) за спасение Достоевским одного тонувшего в Иртыше, вопреки приказанию начальника. В Семипалатинске пришлось слышать о следующем: среди офицерства был некто Веденяев, известный семипалатинским старожилам под именем Бурана. При экзекуциях солдат он строго следил за тем, чтобы преступникам не делалось никаких поблажек. Когда Достоевский в первый раз появился в казарме, Буран, указывая фельдфебелю на Достоевского, обронил:

– С каторги сей человек. Глядеть в оба и поблажки не давать.

Совет начальства был принят фельдфебелем к сведению. Однажды фельдфебель отдал какое-то приказание Ф.М-чу. Фельдфебелю показалось, что рядовой Достоевский недостаточно быстро исполнил приказание. Тогда фельдфебель подошел к Ф.М-чу и сильно ударил его по голове. Об этом случае Ф.М. будто бы вспоминал с величайшим негодованием (Скандин). Но с другой стороны, у нас есть категорическое заявление Врангеля о том, что все рассказы о физическом насилии над Достоевским чистейший вымысел. От самого Достоевского не осталось непосредственного сообщения о насилии над ним. Трудно допустить, чтобы Ф.М. умолчал об этом из-за какого-то ложного чувства – стыда. «Записки из Мертвого дома» обнажают такие язвы человеческой души, что вряд ли бы Ф.М. стал умалчивать о расправе над ним, если бы таковая была.

Итак, почти после десятилетнего пребывания в Сибири, Достоевский вернулся в Европейскую Россию. Какая же у него осталась память о Сибири? Какие воспоминания о ней вывез Ф.М.? Ответом могут служить следующие строки из письма Ф.М-ча к Врангелю от 22 сентября 1859 г., когда он ожидал приезда Врангеля в Тверь: «Поговорим о старом, когда было так хорошо, о Сибири, которая мне теперь стала мила».

В романе «Униженные и оскорбленные» мы также видим отражение сочувственного отношения Достоевского к Сибири в словах одного из действующих лиц – Ивана Петровича, обращенных к Анне Андреевне: «Полно-те, Анна Андреевна, в Сибири совсем не так дурно, как кажется». Один из друзей Достоевского, Милюков, говорит, что «Достоевский никогда не жаловался на свою судьбу. Достоевский как будто бы был даже благодарен судьбе, которая дала ему возможность в ссылке не только хорошо узнать русского человека, но вместе с тем и луч-

ше понять самого себя». В «Идиоте», устами своего героя, князя Мышкина, в котором заметны многие черты самого Достоевского, Ф.М. говорит: «Мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти». Находясь в каторге, в обществе товарищей, покрытых отвратительной корой преступлений, Достоевский иногда встречал в них «черты самого утонченного развития душевного: думаешь, что это зверь, – продолжает Достоевский, – а не человек... и вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое понимание и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали» («Записки из Мертвого дома»).

* * *

В 1911 г. исполнилось 30-летие со дня смерти Ф.М. Достоевского. Вспомнили о нем и в Семипалатинске. Семипалатинский Отдел Российск. Географического Общества обратился в Городскую Думу с ходатайством о наименовании одной из улиц в честь Достоевского и о прибитии к дому Лепухина, бывшей квартиры Ф.М-ча, мраморной доски с надписью о том, что в этом доме жил Достоевский. Дума удовлетворила ходатайство общества, переименовав Крепостную улицу в улицу имени Достоевского (по этой именно улице стоит домик Достоевского), к дому Лепухина была прибита мраморная доска. Географический Отдел, кроме того, взял на себя инициативу сбора материалов о пребывании Достоевского в Семипалатинске, устраивал о нем лекции и т.д. В 1921 г. состоялось торжественное заседание Географического Отдела, продолжавшееся два вечера (12 и 13 ноября) по случаю столетия со дня рождения писателя. Достоевскому посвящено было 10 докладов. Отделом изготовлены фотографии как самого Ф.М-ча, относящиеся к его пребыванию в Семипалатинске (1858 г.), так и тех зданий (казарма, квартира его и др.), которые имели то или иное отношение к личности Достоевского. Театр при Семипалатинском доме заключения назван театром имени Ф.М. Достоевского.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

(Статья третья)

Ф.М. Достоевский, как известно, по окончании четырехгодичных каторжных работ в Омской тюрьме, был сдан в солдаты в Семипалатинский № 7 сибирский линейный батальон, в котором и пробыл с 2 марта 1854 г. по 30 июля 1859 г., сначала рядовым, потом унтер-офицером и, наконец, прапорщиком. Проживая в Семипалатинске, Достоевский завел связи и знакомства. Более всего судьба связала его с семейством Исаевых. Мария Дмитриевна Исаева оказалась в центре внимания Федора Михайловича и сыграла в его жизни большую роль. Судьба ее оказалась тесно связанной с судьбой великого писателя: она стала женой Федора Михайловича. В настоящей статье мы намерены дать картину взаимных отношений этих двух лиц.

По сообщению барона Врангеля, Мария Дмитриевна Исаева была дочь директора Астраханской мужской гимназии. Она вышла замуж за учителя той же гимназии – Александра Ивановича Исаева, очутившегося потом на службе в Семипалатинске в звании чиновника по особым делам при военном губернаторе по корчемной части. Исаев был добрый, скромный и хороший человек, но страдал ужасным запоем, который, вероятно, и привел его из Астрахани в Семипалатинск. Жена Исаева – Мария Дмитриевна была образованная женщина, знала даже иностранные языки. Блондинка, среднего роста, довольно красивая, страстная и экзальтированная, но с подозрительным румянцем на лице, она сразу же привлекла внимание Достоевского.

Несмотря на то, что Семипалатинск времен Достоевского был страшным захолустьем, имя Федора Михайловича, как талантливого писателя, уже было знакомо некоторым представителям городского интеллигентного общества, в том числе и М.Д. Исаевой. Кроме того, некоторые интеллигентные дамы приняли участие в судьбе Достоевского, как потерпевшего политического, и старались, чем только можно, облегчить жизнь Федора Михайловича. Ближе других дам к Достоевскому стали Степанова, жена ротного командира, поэтесса, дававшая Достоевскому для прочтения и поправок свои стихи, и Исаева. Последняя отно-



силась к Достоевскому ласково и жалела его. Но привязанности к нему она, по крайней мере в первую пору знакомства с Федором Михайловичем, не чувствовала. Несмотря на всю экспансивность своей натуры, Исаева не закрывала глаза на то, что Достоевский – эпилептик, человек «без будущности». Это чувство сострадания к себе со стороны Исаевой Достоевский принял за любовь и, со своей стороны, влюбился в Марию Дмитриевну горячо и страстно.

В разговорах со своим другом, стряпчим по уголовным и гражданским делам в Семипалатинске, бароном А.Е. Врангелем, Ф.М. отзывался об Исаевой восторженно. Он часто бывал в квартире Исаевых и всегда возвращался домой в экстазе, очарованный Марией Дмитриевной. Каждую лишнюю минуту от службы он старался провести в доме Исаевых.

Знакомство Исаевой с Достоевским, конечно, не могло укрыться от взоров семипалатинских дам из чиновного мира, и Мария Дмитриевна явилась предметом злословия со стороны местных обывательниц. Они не могли понять, для чего нужно было Исаевой возиться с больным и ссыльным солдатом. Мария Дмитриевна по своему умственному развитию стояла неизмеримо выше прочих городских дам, с которыми у ней мало было общего, а экспансивность Исаевой шокировала дам; все это, конечно, не создавало почвы для сближения обеих сторон. Дружба же Исаевой с Достоевским еще больше дала дамам материала для пересуд и сплетен по адресу Марии Дмитриевны. Последняя знала об этих сплетнях и, не обращая на них внимания, держалась с достоинством.

Исаева умела поддерживать в обществе занимательный разговор, была интересной собеседницей и не давала скучать публике.

Глубокая любовь, которую чувствовал Федор Михайлович к Исаевой, по-видимому, не могла не отразиться и на Марии Дмитриевне, и ее дружба к Федору Михайловичу постепенно стала переходить в чувство теплой привязанности к писателю... К моменту отъезда Исаевых из Семипалатинска уже и сама Мария

Дмитриевна была захвачена своим чувством к Федору Михайловичу.

Ревность и любовь почти всегда неразлучные спутницы. Это чувство испытал и Федор Михайлович. Когда Исаевых летом 1855 г. перевели в Кузнецк, и Мария Дмитриевна не протестовала против этого перевода, Федор Михайлович горько жаловался своему другу Врангелю:

– И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно! – вырвалось у Достоевского.

Исаева жалела своего больного мужа и не могла его бросить одного – вот причина согласия ее поездки в Кузнецк. Как бы то ни было, но отъезд Исаевой сильно поразил Федора Михайловича. Он положительно пришел в отчаяние. Ему казалось, что с отъездом Исаевой у него все потеряно...

К довершению всего оказалось, что Исаевы в долгах и не в состоянии двинуться. Пришлось им распродать почти все свое имущество, чтобы расплатиться с долгами. На дорогу денег Исаевым дал Врангель. Федор Михайлович с ужасом ожидал момента расставанья с Марией Дмитриевной. Сцену их разлуки Врангель долго потом не мог забыть. Федор Михайлович при расставаньи с Исаевой рыдал, как ребенок. Врангель с Достоевским провожали Исаевых за город. Желая дать последнюю возможность Ф.М. побеседовать наедине и без лишних свидетелей проститься с Исаевой, Врангель напоил шампанским самого Исаева, и он был замертво положен в дорожный экипаж. В последний раз простились влюбленные: обнялись, поплакали, и дорожная пыль скоро скрыла из глаз Достоевского дорогой экипаж... Потрясенный разлукой, Достоевский, склонив голову, долго плакал... Друзья вернулись в город. Достоевский не спал всю ночь, метался по своей комнате и утром больной от страданий и бессонницы отправился на учење в лагерь. В течение целого дня он даже не прикоснулся к пище и только курил трубку за трубкой. Сильная тоска охватила Достоевского с отъездом Исаевой. Он похудел, здоровье его заметно стало расстраиваться, что немало обеспокоило его друга Врангеля. Письма остались единственной связью Федора Михайловича с Исаевой, и в них он изливал свою душу. Достоевский забросил даже свои «Записки из Мертвого дома», над составлением которых работал перед этим с увлечением.

С дороги Исаева прислала Федору Михайловичу письмо, в котором сообщала, что она расстроена и больна и не знает, как Достоевский проводит без нее время и как располагаются его часы. Встревоженный известием о болезни Марии Дмитриевны, Достоевский отвечает ей горячим письмом, в котором тревога за ее здоровье мешается с восторгом перед любимой женщиной и тоской по ней:

«Благодарю вас беспредельно за ваше милое письмо с дороги, дорогой и незабвенный друг мой, Мария Дмитриевна! Судя по тому, как мне тяжело без вас, я сужу и о силе моей привязанности. Как-то вы приехали в Кузнецк и, чего боже сохрани, не случилось ли с вами чего дорогой? Вы писали, что вы расстроены и даже больны. Я до сих пор за вас в ужаснейшем страхе. Сколько хлопот, сколько неизбежных неприятностей, а тут еще и болезнь, да как это вынести! Только об вас и думаю. К тому же вы знаете, я мнителен; можете судить о моем беспокойстве. Боже мой! да достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дразги, вас, которая может служить украшением всякого общества? Распроклятая судьба! Жду с нетерпением вашего письма. Ах, кабы было с этою почтою! Вот уже две недели, как я не знаю, куда деться от грусти. Если бы вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Право, это время похоже на то, как меня в первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел, как на обыкновенное, а теперь, лишившись вас, о многом догадался по опыту. Я припоминаю, что я у вас был, как у себя дома. Вы – удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты. Если и были вспышки между нами, то, во-первых, я был неблагодарная....., а во-вторых, вы сами больны, раздражены, обижены уже тем, что не ценило вас поганое общество, не понимало. Мне все напоминает разлуку. По вечерам, в сумерки, в те часы, когда, бывало, отправляюсь к вам, находит такая тоска, что будь я слезлив, я бы плакал, а вы верно бы надо мной не посмеялись за это. Сердце мое всегда было такого свойства, что прирастает к тому, что мило, так что надо потом отрывать и кровянить его. Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда: мне здесь все надоело. Такая пустота! Помните, как один раз нам удалось побывать в Казаковом саду. Как свежо я все припомнил, придя теперь в сад! Там ничего не изменилось, и

скамейка, на которой мы сидели, та же... И так стало грустно! Проводив вас за леса и расставшись с вами у той сосны (которую я заметил), мы возвратились с Врангелем рука в руку. Тут-то я почувствовал, что осиротел совершенно. Сев на дрожки, мы говорили – об вас в особенности. Дома я еще долго не спал, ходил по комнате, смотрел на занимающуюся зарю и припоминал весь этот год, прошедший для меня так незаметно, припомнил все, все, и грустно мне стало, когда раздумался о судьбе своей. Иногда хвораю. Заходил на вашу квартиру, взял плющ (он теперь со мной). С каким нетерпением я ждал татар-извозчиков! Наконец, извозчики вернулись. Ваше письмо, за которое благодарю вас несчетно, было для меня радостью. Я и татар расспрашивал. Они мне много рассказали. Как хвалили вас (все-то вас хвалят, Мария Дмитриевна!) Я до сих пор не придумаю, как вы доехали! Как мило вы написали письмо, Мария Дмитриевна! Именно такого письма я желал. Как мне было жаль, что вы хворали дорогой! Когда-то дождусь вашего письма! Я так беспокоюсь! Как-то вы доехали? Прощайте, незабвенная Мария Дмитриевна! Прощайте! Ведь увидимся, не правда ли? Пишите мне чаще и больше, пишите об Кузнецке, об новых людях, об себе как можно больше. Прощайте, прощайте, неужели не увидимся?» (письмо в Кузнецк, от 4 июня 1855 г.).

Переписка с Кузнецком продолжалась. В ней Федор Михайлович находил отдых и утешение. Но этого для Достоевского было мало. Он чувствовал глубокую потребность видеть Марию Дмитриевну, беседовать с ней непосредственно...

Достоевский продолжал переписываться с Исаевой. Но вот переписка приняла тревожный характер. В письмах Исаевой к Достоевскому стала попадаться фамилия учителя Вергунова. Это был товарищ А.И. Исаева по училищу. Он занимался с сыном Исаевой, а Мария Дмитриевна давала ему уроки французского языка. Исаева тепло отзывалась о Вергунове, хотя это был совершенно бесцветный человек. Письма Исаевой внесли в жизнь Достоевского большую тревогу; по-видимому, Федор Михайлович испытывал чувство ревности. Потерять Марию Дмитриевну для Достоевского было страшно. Его мнительность рисовала ему всякие страхи. К этому прибавилась смерть Исаева, скончавшегося 4 августа 1855 г. от запоя. Мария Дмитриевна не отходила от постели мужа при его последних днях. Несколько дней подряд провела без сна, потеряв и аппетит. А.И. Исаев,

чувствуя смерть, терзался от мысли, что оставляет семью свою без всяких средств к существованию. Перед смертью он все повторял жене: «Что будет с тобой, что будет с тобой!». Сын Марии Дмитриевны, Паша, обезумел от слез и горя. Смерть отца потрясла его ужасно. Мария Дмитриевна жестоко страдала и за мужа и за сына. Терзания покойного были основательны: Мария Дмитриевна осталась буквально без копейки денег. Правда, ей помогали знакомые, но это была временная помощь и небольшая.

Зная тяжелое положение вдовы Исаевой, кто-то из кузнецких обывателей прислал ей три рубля. «Нужда руку толкала принять и приняла... подаяние», – писала она потом Достоевскому.

На Федора Михайловича выпала большая забота – спасти Исаеву от нужды. Он в горячем письме к другу своему Врангелю просит его выслать Исаевой некоторую сумму. Сам посылает, ей 25 руб., за что и получает от нее выговор, так как Исаева хорошо знала материальную необеспеченность Достоевского. Вместе с тем Федор Михайлович принял горячее участие в хлопотах о назначении вдове казенного пособия в 250 руб. серебром как жене чиновника, умершего на службе. К этому делу он привлек и влиятельного Врангеля. Но пока что Исаева осталась без средств и надеялась только на распродажу своего скромного имущества.

«Я вам покажу письмо (Исаевой), когда вы приедете, – пишет Федор Михайлович Врангелю. – Боже мой! Что это за женщина! Жаль, что вы ее так мало знаете. Желал бы от души, чтобы вам было в 10.000 раз веселее моего» (письмо от 23 августа 1855 г.).

На беду, деньги, посланные Исаевой Врангелем, не выдавались на кузнецком почтамте по формальным основаниям. Опять для Федора Михайловича тревога и хлопоты. Достоевский вообще попечение о вдове Исаевой и ее сыне Паше считал неотложной обязанностью, прямо целью жизни. Удрученный тяжелым положением Исаевой и занятый мыслью возможно лучше устроить Марию Дмитриевну, Достоевский даже прервал свою переписку с друзьями. Так, в письме к А. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский сообщает:

«Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и, наконец, посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня».

Кроме бедности Исаевой, Достоевского еще мучила мысль об отношениях между Исаевой и Вергуновым. Достоевский допускал трагический конец: возможность выхода Исаевой замуж за Вергунова. Он рвался в Кузнецк, искал необходимых для этой поездки 100 рублей и терзался ужасно. С другой стороны, если бы брак Исаевой с Вергуновым и состоялся, он не избавил бы Марию Дмитриевну от бедности, так как Вергунов ничего не имел. В отчаянии Федор Михайлович опять умоляет Врангеля о скорейшем исходатайствовании Исаевой казенного пособия, что дало бы ей возможность несколько передохнуть.

«Друг мой, добрый мой ангел! Если вы все еще продолжаете любить меня, то помогите, если можно, и в этом деле. Ради Бога справьтесь об участии представления (о выдаче казенного пособия. – Б. Г.); верно, у вас найдутся знакомые, которые вам помогут в этом, и люди с влиянием и весом. Нельзя ли так пошевелить это дело, чтобы оно не залежалось и разрешилось в пользу Марии Дмитриевны. Ангел мой! Не поленитесь, сделайте это ради Христа! Подумайте: в ее положении такая сумма – целый капитал, а в теперешнем положении ее – спасение, единственный выход. Я трепещу, чтоб она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. У него (Вергунова?) ничего нет, у ней тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страданье. За что же она, бедная, будет страдать и вечно страдать?» (письмо от 21 июля 1856 г.).

Но страхи Федора Михайловича потерять любимую женщину оказались преувеличенными. Исаева скоро разочаровалась в своей новой привязанности; Вергунов оказался не опасным соперником.

Переписка между Достоевским и Исаевой закончилась предложением, сделанным Федором Михайловичем Марии Дмитриевне и принятым последней. В радостях Достоевский пишет Врангелю:

«Теперь, друг мой, хочу объявить вам об одном важном для меня деле. Коротко и ясно: если не помешает одно обстоятельство, то я, до масленицы, женюсь – вы знаете, на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сама сказала мне: да. Она меня любит. Это я знаю наверно. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что такое эта женщи-

на! Я вам пишу наверно, что я женюсь» (письмо от 21 декабря 1856 г).

Через месяц после этого письма Достоевский отправляет Врангелю другое, где сообщает:

«Да, друг мой незабвенный, судьба моя приходит к концу. Я вам писал последний раз, что Мария Дмитриевна согласилась быть моей женой. Отношения с Марией Дмитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере, жил, хоть страдал, да жил!» (письмо от 25 января 1857 г.).

Приготовления к свадьбе доставили Достоевскому много хлопот. Прежде всего – не было денег. С большим трудом удалось Достоевскому занять 600 рублей. Получив отпуск на 15 дней, Федор Михайлович выехал 27 января 1857 г. в город Кузнецк и там повенчался с вдовой Исаевой в Богородской церкви 6 февраля. При возвращении в Семипалатинск с Федором Михайловичем случился в Барнауле сильнейший припадок эпилепсии, весьма напугавший Исаеву. Призванные врачи рекомендовали Федору Михайловичу немедленное и правильное лечение при полной свободе, иначе во время падучей больной может умереть от горловой спазмы.

По приезде в Семипалатинск заболела Мария Дмитриевна. Как на грех, на этот раз приехал бригадный командир делать смотр войскам, и Достоевскому приходилось проводить время на парадах, так что он даже не имел возможности ухаживать за больной женой. Немало времени отнимали хлопоты по устройству квартиры и необходимого хозяйства. Приходилось заводить все, начиная с белья. Мария Дмитриевна сумела устроить в семье полный уют. Обстановка была скромная, но вполне располагающая к работе, и Достоевский в это время много писал.

Говорят, что Вергунов, по выходе Исаевой замуж за Достоевского, приезжал в Семипалатинск, но Федор Михайлович сурово встретил Вергунова и предложил ему больше не показываться на глаза Достоевским...

Волнения последних двух лет и настойчивые советы врачей не откладывая лечение падучей побудили Достоевского взять в конце мая 1857 г. двухмесячный отпуск и отправиться на отдых в поселок Озерки, в 16 верстах от Семипалатинска. Мария Дмитриевна настаивала на этом отдыхе самым решительным образом. Эпилепсия мужа и пугала, и мучила ее. Много пришлось понести Федору Михайловичу забот и о пасынке своем, Паше

Исаевом, об определении которого в учебное заведение на казенный счет Достоевский много хлопотал.

Ухудшение в состоянии здоровья Федора Михайловича крайне беспокоило Марию Дмитриевну, на руках у которой оставался непристроенный в школу сын Павел. Вторичное вдовство пугало ее. Федор Михайлович видел ее тревогу и в свою очередь сам беспокоился. Военная служба тяготила Достоевского, и он подал прошение об увольнении его по болезни в отставку, что и состоялось 18 марта 1859 г. Достоевский хотел поселиться в Москве, но ему указали на Тверь, куда он и выехал с семьей в августе 1859 г. В письмах из Твери к Врангелю Достоевский сообщает о болезни Марии Дмитриевны – видимо, злой недуг (болезнь легких) давал себя чувствовать, Мария Дмитриевна постоянно хворала, нервничала и ревновала...

Тверь Достоевский находил хуже Семипалатинска в тысячу раз. Федор Михайлович стремился в центр. Только в январе 1860 г. Достоевскому разрешили поселиться в Петербурге, куда он и приехал один; Марию Дмитриевну, ввиду слабости ее легких, пришлось направить на жительство в более мягкий климат – в Москву. Здесь она продолжала таять и, наконец, 16 апреля 1864 г. скончалась от чахотки.

Был ли Федор Михайлович счастлив с Марией Дмитриевной? Ответом на этот вопрос может служить письмо Достоевского к Врангелю от 31 марта 1865 г. с посмертной характеристикой Марии Дмитриевны:

«О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Все расскажу вам при свидании – теперь же скажу только то, что несмотря на то, что мы с ней были положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушная женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уже год, а чувство все то же, не уменьшается...»

Позднее Достоевский встретился с Врангелем в Копенгагене. Разговор, естественно, коснулся и Сибири. Поделились сибирскими воспоминаниями, вспомнили сибирских знакомых. Во время этого разговора Федор Михайлович произнес слова, которые, пожалуй, можно считать ответом на прожитую Достоевским с Исаевой жизнь.

– Будем всегда глубоко благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина. Не следует требовать от нее вечно жить и только думать о вас, это недостойный эгоизм, который надо уметь побороть.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Тяжесть каторги состояла не в цепях (кандалах), бритой голове или бубновом тузе на спине, а в постоянном вынужденном, насильственном, а потому и мучительном сожительстве с посторонними людьми, согнанными в тюрьму с разных концов России. Этот обязательный, неприятно тяжелый груз теперь для Достоевского отпадал, казарма снимала его с Федора Михайловича. Он мог уединяться, сколько ему было угодно, мог углубиться в себя, заглянуть в свою душу с большей уверенностью, чем на каторге, что его не потревожат. И очевидцы жизни Достоевского в семипалатинской казарме свидетельствуют, что Достоевский держался в казарме уединенно. Он чувствовал всю прелесть такой добровольной изолированности, о чем с восторгом писал своим родным. Но возможность уединения, конечно, не выкупала всей тяжести солдатской службы, которая давалась нелегко.

Прекрасной характеристикой его состояния служит другое письмо Федора Михайловича от 30 июля 1854 г. к старшему брату Михаилу Михайловичу:

«Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотре наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал, и чего это мне стоило – другой вопрос; но мною довольны и слава Богу!.. Как ни чуждо все это тебе, но я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой, или, лучше сказать, с таким полным

ничего незнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов».

Достоевский был зачислен в 1-ую роту батальона, помещавшуюся в деревянной казарме, которая сгорела в 1881 г. Спали солдаты вповалку на нарах; далеко не всякий имел необходимый кусок кошмы. Питались отвратительной бурдой, изготовлявшейся солдатской кухней. Федор Михайлович не мог есть тошнотворную похлебку и сидел больше на чае. Испытывая большие материальные недохватки и весьма нуждаясь в деньгах, Достоевский не в состоянии был иметь дополнительное питание, недостаток которого Федор Михайлович восполнял усиленным чаепитием. К счастью, товарищ у Достоевского по солдатским нарам оказался обладателем самовара, и Федор Михайлович беспрепятственно отводил душу за стаканом чая. Очевидцы его жизни в казарме говорят, что Достоевский сидел за самоваром подолгу и чаю пил много.

Ругань и взаимные оскорбления постоянно висели в казарме... Солдаты, прикрепленные к казарме, как арестанты к каторге, не имевшие между собой никакой связи, с проклятьем тянули солдатскую ляжку. Батальон кипел, как в котле, доставляя начальству много хлопот и беспокойства. Дисциплина поддерживалась в казарме суровыми мерами. Зуботычины, толчки, кулачная расправа были обычными явлениями в казарме, создавая арестантскую обстановку. И все это происходило на глазах Федора Михайловича, доставляя ему большое страдание. В своей злобе солдаты не щадили никого, оскорбляя и мальчиков в солдатских мундирах, которые часто сдавались в службу из кантонистов. На каждом шагу в казарме звериный лик давал себя чувствовать. Федор Михайлович жалел мальчиков-солдат и нередко помогал им чем только можно, стараясь уберечь их от оскорблений казармы. При таких условиях жизни настроение Достоевского не могло быть высоким. И действительно, на лице Федора Михайловича редко можно было видеть улыбку. Сидел он в казарме обыкновенно молча, занятый своими думами. Может быть, первое время он не мог еще прийти в себя от пережитого в Омске. Может быть, образы каторги неотступно преследовали его, заставляя в воспоминаниях переживать ужасный пройденный путь. Даже в моменты, когда казарма веселилась и когда какой-нибудь солдат-весельчак откалывал уморительную штуку на потеху публике, даже в такие моменты Достоев-

ский слабо реагировал на бесшабашное удалство товарищей по службе и иногда слегка улыбался тому, что видел. На лице его всегда лежала печать грусти. Вместе с прочими солдатами Достоевский выполнял караульную службу по всем государственным учреждениям, где требовался военный караул: у денежного ящика в казначействе, у тюрьмы, гауптвахты, амбара с казенной известкой и т.д.

Достоевскому как будто самому нравилось тянуться перед начальством, хотя последнее, в лице унтер-офицеров, не всегда замечало воинскую честь, отдаваемую им рядовым Достоевским. Федор Михайлович тщательно следил за тем, чтобы амуниция его была исправна. В тех случаях, когда мундир или брюки его страдали дефектами, он надевал сверху шинель, хотя бы и было тридцать градусов тепла, чтобы скрыть от постороннего взгляда недостатки своего костюма.

В звании рядового Достоевский пробыл около двух лет. Это было, несомненно, самое тяжелое время для Федора Михайловича в Семипалатинске. Новые условия жизни, необходимость изучать военную службу, потерянное на каторге здоровье – все это отзывалось на Достоевском и требовало от него большого физического и нервного напряжения.

Наконец он был произведен в унтер-офицеры.

С солдатами Федор Михайлович обращался мягко, не давая чувствовать разницы между ними и им. Если со стороны некоторых солдат случались грубости по отношению к Федору Михайловичу, последний сносил их терпеливо и в ссору не ввязывался.

Будучи солдатом, Достоевский посещал иногда дома некоторых своих знакомых. Но он всегда чувствовал, что он солдат и всегда помнил о воинской дисциплине.

С Достоевским был следующий интересный случай: Федор Михайлович как-то был в гостях у одних из своих знакомых. Зачем-то ему понадобилось выйти в переднюю. В это время в переднюю вошел офицер в шинели. Увидя солдата, офицер подставил ему свои плечи – Достоевский быстро снял с них шинель, повесил на вешалку и за офицером потом вошел в гостиную.

1-го октября 1856 г. Достоевский был произведен в прапорщики. Начинается новый период в жизни Федора Михайловича. Он уже вливается в офицерскую среду на правах равного члена ее. Но это общение с офицерством не могло дать ему большого удовлетворения. Правда, он уже не был солдатом, отношение к

нему со стороны офицеров стало другое, но все же новая среда не удовлетворяла его. Состав офицерства был разнообразный. Тут было несколько образованных офицеров, ценивших личность Достоевского, но большинство офицеров была с низким культурным уровнем, который мало чем разнился от уровня солдат. Только офицерская форма этой категорий военных чинов и выделяла их из общей солдатской массы. В числе офицеров значились старые севастопольские герои-солдаты, выслужившиеся в офицерский чин за боевые отличия. Им давали для вида экзамен на офицеры и без задержки пропускали в командный состав. Сам командир батальона, подполковник Белихов, выслужился в офицеры из кантонистов за какие-то боевые отличия, поднялся по служебной лестнице и даже получил в управление батальон. Некоторые из офицеров были настолько малограмотны, что с трудом могли подписывать свою фамилию. Для них было сущим наказанием получение следующего чина, пропись которого надо было изучать: напр., подпоручик, вместо прапорщика. Уже хорошо научился человек подписывать: прапорщик, как вдруг выплывает новое слово: подпоручик или поручик; было над чем попотеть г.г. офицерам.

Как офицер, Достоевский аккуратно появлялся в офицерском собрании, когда его официальное положение требовало его присутствия там, но особенно в такую компанию не стремился. Бывали моменты, когда, удрученный эпилепсией и с подавленным настроением духа, он уединялся от людей, не хотел знакомиться с новыми лицами и на всякого нового человека, с которым в этот момент сталкивала его судьба, готов был смотреть, как на врага. Офицерский чин, хотя и улучшил положение Достоевского, но в общем он своим званием тяготился. Прежде всего офицерский чин ввел его в долги. Кое-как удалось ему частично обмундироваться, в остальном ему помог его близкий друг Врангель, от которого Достоевский получил из Петербурга каску, полусаблю и офицерский шарф (этих вещей невозможно было достать в Семипалатинске). Производство в офицеры Достоевский получил благодаря хлопотам своих влиятельных друзей: адмирала Тотлебена, барона Врангеля и др. В судьбе Федора Михайловича принял большое участие и принц Ольденбургский. Но затаенным желанием Достоевского было уйти в отставку. Здесь он опять обращается к своим столичным дру-

зьям, прося их похлопотать за себя. В письме к Врангелю от 23 марта 1856 г. Федор Михайлович говорит:

«Напирайте на то, чтобы мне оставить военную службу (но главное, если можно чего-нибудь более, т. е. даже полного прощения, то не упускайте этого из виду). Нельзя ли, например, уволить меня с правом поступления в статскую 14-м классом и с возможностью возвратиться в Россию?»

В другом письме к тому же Врангелю от 9-го ноября 1856 г. Достоевский говорит:

«Друг мой, вы спрашиваете меня, чего я желаю, о чем просить? И говорите тоже, что меня могут перевести в Россию? Но, друг мой, я знаю, что я даже и не служа, через год, через два и без того буду возвращен окончательно. Перевод же в армию еще тем худ, что я, во всяком случае, плохой офицер, хотя бы по здоровью. А надо будет служить. Если бы я желал возвратиться в Россию, так это единственно для того, чтоб обнять родных и повидаться с докторами знающими и узнать что у меня за болезнь (эпилепсия), что за припадки, которые все еще повторяются и от которых каждый раз тупеет моя память и все мои способности, и от которых боюсь впоследствии сойти с ума. Какой я офицер? Если б меня выпустили в отставку, хоть бы оставя здесь на время – вот все мое желание. Я бы добыл себе денег на существование. Здесь я бы не пропал... и потому напишите мне положительно (по возможности): во-1-х, могу ли я в очень скором времени, по слабости здоровья, подать в отставку (прося на всякий случай возвращения в Россию, для совета с докторами) и во-2-х, могу ли я печатать».

Итак, Достоевский мечтал об уходе в отставку отчасти по слабости здоровья, отчасти из-за желания скорее начать печатание своих произведений.

Женитьба на Исаевой наложила на Достоевского обязанность пристроить пасынка своего, Павла Исаева, в школу; хотелось поместить его в Сибирский кадетский корпус. Ввиду этого Достоевский подал на имя своего батальонного командира Белихова следующее собственноручно написанное прошение от 27 июля 1857 г.

«Господину Командиру Сибирского линейного № 7 батальона, подполковнику Белихову.

Вчерашнего числа, возвратясь из двухмесячного отпуска, данного мне для излечения застарелой падучей болезни, в фор-

посте Озерном, я получил от Семипалатинской Городской полиции извещение, что пасынок мой, девятилетний Исаев, принят в Сибирский кадетский корпус. Дежурство Корпусного штаба известило Семипалатинскую Городскую полицию от 17 июля 1857 г. за № 5207, что его высокопревосходительство, господин корпусный командир, изволил сделать распоряжение об отпуске из Тобольского окружного казначейства под расписку г-жи Исаевой (ныне жены моей, Достоевской) прогонных денег и подорожной на доставление в Сибирский кадетский корпус к 1-му августа сего года сына ее Исаева. Но так как жена моя, вступая со мной в брак, переехала на жительство из города Кузнецка, Томской губернии, в г. Семипалатинск, то г. начальник корпусного штаба, уведомленный о сем обстоятельстве, уже просил Тобольскую казенную палату о выдаче прогонных денег и подорожной на доставление Павла Исаева в г. Омск из Семипалатинского окружного казначейства, по требованию матери его, г-жи Достоевской, бывшей в первом браке Исаевой. Имея честь почтительнейше уведомить о сем обстоятельстве ваше высокоблагородие, нахожусь вынужденным присовокупить, что Семипалатинское окружное казначейство без указа Тобольской казенной палаты не может выдать следуемые Павлу Исаеву деньги. И потому почтительнейше прошу известить о сем обстоятельстве его превосходительство господина Семипалатинского военного губернатора. Как вотчим Павла Исаева, я обязан распорядиться о доставлении его в Сибирский кадетский корпус непременно к первому августа с. г. или, по крайней мере, в первых числах того же месяца. Имея доверенного человека для препровождения Павла Исаева, именно почтальона Семипалатинского почтамта Лепухина, я, если уже не могу получить тотчас же прогонных денег, непременно должен снабдить своего пасынка подорожной, чтоб не было задержек в дороге. Имея честь почтительнейше изложить вашему высокоблагородию все сии обстоятельства, я осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокоблагородие донести о сем деле его превосходительству, г. Семипалатинскому военному губернатору и исходатайствовать у его превосходительства подорожную по казенной надобности для доставления в Сибирский кадетский корпус Павла Исаева. Без нее я не могу распорядиться доставлением его в Омск в первых числах августа, и он, не явившись к сроку, может потерять право на поступление в корпус» (это прошение Достоевского из-

влечено из архивных дел бывшего Областного правления и помещено в Семипалатинском музее).

Прошение Достоевского насквозь пропитано духом субординации; в этом документе чувствуется дисциплина человека, который просит лицо старше себя; здесь все почтительно, строго официально, канцелярски точно. Иного прошения и трудно было бы ожидать от Достоевского, неуклонно во всех своих сношениях с начальством соблюдавшего служебную дисциплину.

Как офицер, Достоевский имел денщика, искусного кулинара, исполнявшего в то же время по дому все обязанности. Отношение Федора Михайловича к денщику было чисто человеческое. Последний чувствовал это и относился в свою очередь к Достоевскому с уважением, был к нему привязан. Когда Федор Михайлович хворал после припадков падучей, солдат трогательно ухаживал за своим барином, всячески оберегая его покой. По отъезде Достоевских в Тверь денщик поддерживал с ним переписку. Вообще Достоевский не кичился своим офицерским званием и не давал знать себя нижним воинским чинам. Его не прельщал блеск офицерского мундира, который он охотно готов был сменить на гражданский сюртук. В Семипалатинске сохранился фотографический снимок Достоевского в офицерском мундире 1858 г. На фотографии Федор Михайлович снят сидящим на стуле, с фуражкой в правой руке. Существует еще другой снимок с Федора Михайловича, совместно с известным потомком Хана средней орды Вали Чоканом Валихановым, также офицером, проезжавшим через Семипалатинск в научно-военную командировку в Кашгарию. Достоевский был знаком с Валихановым еще по Петербургу, где Чокан слушал лекции в университете. Недюжинная личность Валиханова привлекла внимание Достоевского, и между ними установились дружеские отношения, закрепившиеся даже общим фотографическим снимком. Оба на фотографии – в офицерских мундирах, причем Чокан сидит, Достоевский стоит. Желание Федора Михайловича получить чистую отставку, наконец, осуществилось. Высочайшим приказом от 18 марта 1859 г. Достоевский был уволен в отставку по болезни, с возведением в следующий офицерский чин – подпоручика. В том ему много помог его товарищ по Инженерному училищу, известный генерал Тотлебен. Его ходатайство об увольнении Достоевского из военной службы имело решающее значение. В архиве бывшего семипалатинского воен-

ного штаба было найдено следующее предписание начальника 24-й пехотной дивизии из Тобольска от 8 мая 1859 г. за № 2251 об увольнении Достоевского в отставку:

«Дежурный генерал главного штаба его императорского величества 27 марта за № 318 уведомил, что высочайшим приказом, в 18-й день минувшего марта состоявшимся, прапорщик Сибирского линейного № 7-го батальона, из политических преступников, Достоевский уволен за болезнью от службы с награждением следующим чином. К сему свиты его величества генерал-майор Герштенцвейг присовокупил, что об учреждении за подпоручиком Достоевским секретного надзора по избранному им месту жительства в г. Твери и о воспреещении ему въезда в губернии С.-Петербургскую и Московскую, вместе с сим сообщено министру внутренних дел и управляющему III Отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Вследствие отзыва господина начальника штаба отдельно го Сибирского корпуса от 28 минувшего апреля, № 2586, имею честь уведомить ваше превосходительство для сведения» (следуют подписи).

Так закончилась военная служба Ф.М. Достоевского в Семипалатинске. В приведенном выше документе интересны слова: «по избранному им месту жительства в г. Твери». Как избрал Достоевский место жительства, видно из его прошения об отставке, в котором Федор Михайлович избрал Москву, — ему же была указана Тверь. В бывшем Семипалатинском военном штабе и. о. з. этого штаба Скандиным было найдено в 1903 г. немало разных документов политического и административного характера, относящихся к личности Достоевского. Часть этих документов, с надлежащего разрешения, была извлечена Скандиным из штабного архива. Самый архив вскоре после этого по закрытии Семипалатинского военного штаба был перевезен в г. Омск. Сослуживцы Ф.М. Достоевского по батальону в Семипалатинске давно уже скончались.

Умерли: бывший командир батальона полковник Бахирев, товарищ Федора Михайловича по нарам в казарме Кац, самоваром которого Достоевский пользовался, штаб-трубач Сидоров и др.

Все эти лица, конечно, и не подозревали, кто скрывался в лице Достоевского. Бахирев был типичный службист, целые дни проводивший на плацу с солдатами и требовавший от них

точного знания своих обязанностей. Подвергался этому экзамену и Достоевский.

Сохранилась такая аттестация Федора Михайловича со стороны Бахирева: «Достоевский отличался молодежавшим видом и ловкостью приемов при вызове караулов в ружье. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался» (Скандин). «Собачья служба», по словам Бахирева, «заедала людей, и нам было не до Достоевского», – говорил этот служака. Кац был потом известным домовладельцем в Семипалатинске, и только спустя много лет после службы, когда по России пронеслось имя Достоевского, у него открылись глаза на Федора Михайловича. Кац старался вспомнить все мелочи из жизни Достоевского, но не всегда память помогала ему в этом. Особенно тепло отзывался о Федоре Михайловиче Сидоров, по отношению к которому Достоевский являлся подчиненным лицом. Из крепостных военных зданий, в которых Достоевскому приходилось бывать по делам службы, в настоящее время сохранился только деревянный дом командира батальона, за последнее время подвергшийся некоторой переделке. Изба (бывшее караульное помещение), где Достоевский бывал на карауле, уничтожена; казарма – местожительство Федора Михайловича сгорела в 1881 г. Остался также дом Лепухиных по бывшей Крепостной улице, в котором Достоевский жил офицером после брака с вдовой Исаевой, до самого отъезда своего из Семипалатинска. Этот дом известен теперь под названием Домика Достоевского, на нем имеется мраморная доска с соответствующей надписью. Только этот домик и улица с именем Достоевского и говорят о том, что в Семипалатинске некогда жил великий русский писатель, отбывавший здесь воинскую службу в течение пяти с лишним лет.

ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

С первого же момента по приезде Достоевского в Семипалатинск у него появились знакомые и друзья. Федор Михайлович в порядке дисциплины познакомился, кажется, раньше всего с командиром батальона, подполковником Белиховым, и вошел с ним даже потом в дружеское общение. Белихов принимал Достоевского, до производства его в офицеры, у себя на квартире, как доброго знакомого, ничем не обнаруживая перед ним своего

начальственного положения. Призвав сначала Достоевского к себе для чтения ему, Белихову, газет, батальонный командир, по-видимому, оценил нравственное значение личности Достоевского, а, может быть, даже почувствовал на себе влияние личности Федора Михайловича, и скоро стал проявлять себя по отношению к Достоевскому как к гостю. Нередки были случаи, когда Белихов оставлял у себя обедать Федора Михайловича и очень любезно знакомил его с чиновниками, запросто приходившими к Белихову. В квартире Белихова Федор Михайлович, таким образом, завел свои первые знакомства с представителями служилой городской интеллигенции. Последние любезно приглашали Достоевского к себе. Надо думать, что Федор Михайлович пользовался этими приглашениями. Известно, что он охотно и часто посещал командира казачьей бригады, полковника Хоментовского, которого познакомил с ним Белихов.

Интересной личностью был Хоментовский. Он любил простоту в обращении, любил теплую компанию. Находясь под «парамми», иногда со своими компаньонами в самом нестеснительном виде – в расстегнутом мундире и с бутылкой шампанского – отправлялся по своим знакомым, приносил с собой веселье.

В «добрые» старые времена такая гуляющая компания городских чиновников и офицерства не вызывала среди обывателей какого-либо изумления; это считалось в порядке вещей.

Федор Михайлович понравился Хоментовскому, и последний был явно к нему расположен. Уже будучи бригадным генералом, Хоментовский приглашал к себе на квартиру рядового Достоевского, выпивал с ним и совершал свое обычное путешествие к знакомым. Однажды бригадный, в компании с Федором Михайловичем и двумя своими сестрицами (имея с собой три бутылки шампанского), посетил стряпчего по уголовным и гражданским делам, барона Врангеля, близкого друга Достоевского. Хоментовский был образованный человек, отличался остроумием и находчивостью. Попадая в опасное положение со своим отрядом во время военных столкновений с киргизами в степи, Хоментовский, благодаря своей находчивости, всегда уходил в целости. Достоевскому он нравился, и Федор Михайлович бывал у него часто.

Также часто Достоевский ходил к командиру линейного казачьего полка полковнику Мессарошу. В доме последнего процветала азартная картежная игра, но Достоевский в ней обычно

не участвовал. Имя Мессароша на всей казачьей линии наводило страх.

Проезжая по казачьим поселкам, Мессарош всюду наводил порядки. От него доставалось не только казакам, но и казачкам. Достаточно ему было увидеть небеленую трубу на избе, чтобы тотчас же хозяйке этого дома всыпать за неряшливость по хозяйству «горячих». Строгий по службе, Мессарош, однако, проявлял себя дома как очень любезный и гостеприимный хозяин. Не менее любезна была и супруга его. Квартира Мессароша была для Достоевского также одной из приятных.

С удовольствием еще посещал Достоевский квартиру начальника округа Ковригина, где его встречали очень радушно. Жена Ковригина всегда бывала рада Федору Михайловичу. Семейная жизнь в доме Ковригина не клеилась. Сам Ковригин пил горькую и достаточно опустил, нередко ревновал жену к другим. Все это удручало Ковригину, и посещение Федором Михайловичем дома Ковригиных освежающим образом действовало на семейную атмосферу названных супругов.

Из офицеров Достоевский был дружен, кроме Белихова, еще с А.И. Бахиревым и Гейбовичем; последний одно время являлся ротным командиром Достоевского. Бахирева можно считать самым образованным офицером того времени в Семипалатинске. Он отличался широким кругозором, большой любознательностью и был очень способный человек; считался в городе начитанным человеком. Выписывал толстые передовые журналы, живо интересовался русской литературой и ее течениями и очень много читал. Достоевский не мог не отличить его в офицерской среде и с удовольствием беседовал с ним. Первоначальное знакомство этих двух людей перешло в дружбу, и некоторое время они жили даже на общей квартире.

Дружеские отношения связывали Достоевских – мужа и жену – и с Гейбовичем и его семьей. На это указывает и письмо Достоевского Гейбовичу из Твери от 23 октября 1859 г., т.е. вскоре же после отъезда Достоевского из Семипалатинска. В семье Гейбовича к Федору Михайловичу относились с глубоким уважением и видели в нем светлую личность. Сохранились воспоминания дочери Гейбовича, в замужестве Сытиной, о Достоевском с характеристикой личности Федора Михайловича и его отношений к другим. Интересны следующие строки из этих воспоминаний:

«У Федора Михайловича немало было знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому, как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще для нас, сибиряков, Достоевский – личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моего отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все знавшие его в Сибири» («Истор. Вестн.», 1885 г., январь).

Выезжая из Семипалатинска, Достоевские сдали своего денщика Василия Гейбовичу, зная, что здесь с ним будут обращаться по-человечески. В семье Гейбовича Василий почти ежедневно с теплым чувством вспоминал о Федоре Михайловиче.

В Семипалатинске сейчас живет современница Достоевского: вдова, жена чиновника, Анна Ивановна Згерская. Ей уже около 90 лет. Достоевского она помнила и говорила, что неоднократно танцевала с ним на вечерах. К сожалению, дальше этого воспоминания Згерской о Достоевском не идут – старушке совершенно изменила память.

После производства в унтер-офицеры Достоевский перешел на частную квартиру. Некоторое время он жил у старожилов г. Семипалатинска Пальшиных. По-видимому, с ними Федор Михайлович был очень дружен. Пальшины видели в нем не только квартиранта, но и высокоинтересного человека, и считали его чуть не членом своей семьи; постоянно знали, когда и чем он занят. Пальшины говорили, что Достоевский много читал и писал, особенно по ночам.

Из воспоминаний Мамонтовой-Мельчаковой видно, что Достоевский был домашним учителем Мамонтовой и часто посещал их дом. Здесь его дружески принимали, ценя в нем образованного человека. Достоевский к тому же оказался и способным педагогом, сумевшим заставить учиться и понимать проходимое на уроках малоспособную и ленивую Мамонтову. В трудных случаях, когда Достоевскому приходилось прилагать немало усилий к тому, чтобы опытным педагогическим способом сломить капризы и своеволие своей ученицы; когда результаты этого опыта оказывались удачными, в таких случаях Федор Михайлович дарил своей ученице коробку конфет. О Достоевском у Мамонтовой остались теплые воспоминания.

В Семипалатинске проживала группа политических ссыльных поляков. Они жили замкнуто, особняком, но вполне солидарно между собой, оказывая взаимную материальную и моральную поддержку друг другу. Здесь были и венгерские поляки из армии Гергея, сдавшейся русским в 1848 г. Хотя они являлись по существу военнопленными, однако Николай I приказал разослать их по Сибири на поселение, как преступников своей страны. Часть венгерцев-поляков попала в Семипалатинск.

Поляки не нравились Достоевскому, и знакомства с ними он избегал. Но тем не менее в числе знакомых Достоевского значились поляки – бывший инженер Гиршфельд, Карл Ордынский и Нововейский. Гиршфельд изредка посещал Врангеля с Достоевским, когда они жили на общей квартире. Более сердечно Федор Михайлович относился к Ордынскому.

Из архивных данных бывшего Областного правления в Семипалатинске видно, что братья Карл и Феликс Ордынские, мелкие польские дворяне, в 1826 г. судились в Белостоке по политическому делу и были присуждены военным судом к четырехлетним каторжным работам каждый, каковые работы и отбыли в Усть-Каменогорской военной каторжной тюрьме. Затем были сданы в солдаты в Семиречье. Кончив военную службу, Карл Ордынский приехал в г. Семипалатинск и здесь сначала имел частное занятие у Попова (служил по виноторговле), затем поступил на государственную службу на должность смотрителя провиантских магазинов. Имел свой дом и пашню на Бель-а-гаче. По выходе в отставку получал небольшой полупенсион. Судьба Феликса Ордынского неизвестна. Дом Ордынского Достоевский посещал охотно. Иногда оставался у него для своих занятий и даже на ночь.

Из поляков Достоевский был также знаком с Нововейским. Последний с женой своей довольно часто ходил к Достоевским. Нововейский был скромный, болезненного вида человек. Достоевские угощали Нововейских чаем, оставляли у себя обедать и вообще относились к ним внимательно. Федор Михайлович иногда помогал Нововейскому и материально.

Вообще же Достоевский держался в стороне от поляков.

Семья Исаевых была тем домом, с которым Достоевский оказался связанным очень крепко. Как же относился Достоевский к самому Исаеву? Федор Михайлович очень жалел Александра Ивановича Исаева, страдавшего запоем и допивавшегося даже

до белой горячки. Достоевский не судил Исаева, обвиняя во всем его судьбу. Оба Исаева были расположены к Достоевскому и считали его как бы своим. Федор Михайлович ценил такое отношение к себе. В письме к Исаевой в Кузнецк Достоевский так говорит об А.И. Исаеве:

«Я припоминаю, что я у вас был, как у себя дома. Александр Иванович за родным братом не ходил бы так, как за мною. Сколько неприятностей доставлял я вам обоим моим тяжелым характером, а вы оба любили меня. Жму крепко руку Александру Ивановичу и целую его. Обнимаю его от всего сердца и, как друг, как брат, желаю ему лучшей компании. Неужели и в Кузнецке он будет так неразборчив в людях, как в Семипалатинске? Да стоит ли этот народ, чтобы водиться с ним, пить, есть с ним и от него же сносить гадости? Да это значит вредить себе сознательно. И как противны они, главное, как грязны! После иной компании так же грязно на душе, как будто в кабаке сходил. Надеюсь, Александр Иванович за мои пожелания на меня не рассердится» (из письма от 4 июня 1855 г.).

Во времена Достоевского Семипалатинск пил горькую. Захолустье засасывало людей, а слабовольных, как Исаев, и губило. Исаев был неразборчив в выборе приятелей по выпивке. Всегда находились охотники выпить на чужой счет. Местные запивалы из чинушей знали слабость Исаева к выпивке и пользовались ею. А в результате всего высмеивали Исаева и распускали про него всякие гадости. Достоевский возмущался таким поведением собутыльников Исаева, но был бессилен помочь ему. Известие о смерти Исаева в Кузнецке очень расстроило Федора Михайловича.

В письме к Врангелю от 14 августа 1855 г. Достоевский следующим образом делится по этому поводу своими впечатлениями:

«Сегодня утром получил из Кузнецка письмо. Бедный, несчастный Александр Иванович Исаев скончался. Вы не поверите, как мне жаль его, как я весь расстроен! Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого хватило бы терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства. Вы его мало знали. Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно. И смерть красна на человеке. В мучениях о ней (жене) он забывал свои боли. Бедный!»

Несомненно, в этой оценке покойного Исаева Достоевский руководился отчасти известным правилом: *de mortuis ant bene, ant, nihil* {О мертвых хорошо или ничего (лат.)}, но, с другой стороны, несомненно также и то, что Федор Михайлович видел в этом спившемся и обиженном судьбой чиновнике высокие человеческие черты.

В числе близких друзей Достоевского был стряпчий по уголовным и гражданским делам, как тогда назывался областной прокурор, барон Александр Егорович Врангель. В судьбе Достоевского он играл большую роль и явился настоящим светлым лучом в нелегкой семипалатинской жизни Достоевского.

Представитель высшего света, Врангель, по окончании курса в лицее, двадцатилетним юношей отправился в Сибирь водворять там законность. Образование и связи сразу дали ему место прокурора в Семипалатинске, куда он и приехал в 1854 г. Еще в Петербурге Врангель знаком был со старшим братом Достоевского, Михаилом Михайловичем, от которого и привез Федору Михайловичу письма, белье, книги и 50 руб. денег. Друг Федора Михайловича, известный поэт Аполлон Майков, также прислал с Врангелем в Семипалатинск Федору Михайловичу письмо. Достоевский очень рад был приезду Врангеля и тем письмам и известиям из столицы, которые привез Врангель. Тесная дружба связала этих двух лиц в Семипалатинске. Образованный, экспансивный, идеально настроенный Врангель приводил Федора Михайловича в восторг своим желанием сократить чиновных воров и казнокрадов, которым он объявил войну. Молодому Врангелю казалось, что он может перестроить мир на основе права; может уложить жизнь в прокрустово ложе законности. Над ним посмеивались, но тем не менее боялись разные господа с подмоченной репутацией: с прокурором шутки были плохие. В городе, конечно, заметили дружбу прокурора с солдатом из политических каторжан; одни недоумевали по этому поводу, другие злословили. Но Врангель не стеснялся этим и открыто демонстрировал свою дружбу с Федором Михайловичем.

Вскоре же по приезде Врангеля в Семипалатинск Достоевский уже был своим человеком в доме прокурора. Он часто бывал у Врангеля, обедал с ним и т.д. Друзья ездили на охоту (Достоевский не стрелял), ходили на Иртыш на рыбную ловлю и много времени проводили вместе.

Протежируя своему другу, Врангель ввел его даже в дом губернатора. Об этом сам Врангель говорит в своих воспоминаниях следующим образом:

«Военный губернатор области П.М. Спиридонов, добрейший человек, простяк, гуманный и в высшей степени хлебосол. Я очень скоро сделался у него своим человеком, обедал через день и приобрел его полное доверие. Он встречал Достоевского то там то сям и, кажется, сам даже ходатайствовал за него у батальонного командира по просьбам из Омска. Желая во что бы то ни стало дать ему возможность ближе узнать и оценить Достоевского, я попросил разрешения ввести Ф.М. к нему в дом. Он помолчал, подумал и сказал: «Ну, ну, приходи с ним, да за просто, в шинели, скажи ему».

Вскоре Спиридонов искренне полюбил Достоевского, он сделался у него своим человеком; где только мог, Спиридонов ему помогал и вообще был ему полезен. Пришлось и чиновному миру раскрыть двери перед Достоевским, хотя последний далеко не навязывался на знакомство с влиятельной публикой.

Врангель был свидетелем любви Достоевского к Исаевой и всех дальнейших перипетий этой страсти. По отъезде Исаевых в Кузнецк, когда Достоевский страшно затосковал, Врангель всячески старался облегчить для Федора Михайловича тяжесть разлуки с Марией Дмитриевной Исаевой.

Некоторое время друзья жили на одной квартире. Федор Михайлович глубоко ценил Врангеля и любил его. Отъезд Врангеля из Семипалатинска поразил Достоевского. Он остался одинок (Исаевы уже были в Кузнецке). В письмах к своему другу Федор Михайлович изливает всю свою душу. Достаточно ознакомиться с этими письмами, чтобы понять, чем Врангель являлся для Достоевского. «Добрейший, незаменимый друг, бесценный, единственный друг мой, чистое, честное сердце, незабвенный, дорогой» и т.п. – вот чем пестрят письма Достоевского к Врангелю.

Около двух лет прожил Врангель в Семипалатинске, и за это время друзья крепко сжились друг с другом. В грустном настроении покидал Врангель Семипалатинск – ему жаль было своего друга, Федора Михайловича.

«Воспоминания» рисуют следующую картину расставанья друзей:

«Мы оба в эти два года тесно сжились, полюбили друг друга, привязались, делили радости и горести сибирской жизни, выкладывали друг другу душу. А как это дорого в тяжелые минуты оторванности от всего дорогого, как облегчает это – поймет всякий, кому случалось быть в таких условиях? Жутко мне, продолжает Врангель, – было покидать его! Я был молод, здоров, полон розовых надежд. А он?.. он, этот великий талант, волею судеб оставался здесь, в этих дебрях, бессрочным солдатом, заброшенный, больной, одинокий, без опоры, без слова сочувствия, лишаясь во мне последнего друга? От всей души было мне жаль его... Но... настал и час моего отъезда. Уже смеркалось. Мы обнялись крепко-крепко. Расцеловались и дали слово друг друга не забывать. Как умел, старался я его ободрить и обнадежить. Оба мы прослезились. Уселся я в кибитку, обнял в последний раз моего бедного друга. Ямщик дернул вожжи, рванулась вперед моя тройка... и поскакал я. Я оглянулся еще раз назад: в вечернем мраке еле виднелась понурая фигура Достоевского. Я мчался... куда? .. на что?.. Не раз думы мои возвращались в Семипалатинск, в унылую избушку покинутого друга».

Одиночество тяжело отозвалось на Федоре Михайловиче. Он спешит излить свои чувства Врангелю: «Хочу говорить с вами по-прежнему, как в Семипалатинске, когда вы были для меня всем! и другом, и братом, когда мы оба делили друг с другом свои заботы сердечные» (письмо от 21 дек. 1856 г.).

Как ни тяжел был для Достоевского отъезд Врангеля, однако с этим отъездом у Федора Михайловича связывались некоторые надежды на улучшение своего положения. Достоевский направил с Врангелем письма к влиятельным лицам, да и на самого Врангеля возлагал некоторые надежды. Он с нетерпением ожидал от Врангеля извещения. «Если б вы только знали всю мою тоску, все мое уныние, почти отчаяние теперь, в настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю вашего письма, как спасенья? Оно должно многое, многое разрешить в судьбе моей», – пишет Федор Михайлович Врангелю (письмо от 23 марта 1856 г.).

Надежды Достоевского не остались напрасны – его уволили в отставку и разрешили выехать в Европейскую Россию.

Федор Михайлович в разное время послал Врангелю 20 писем: из Семипалатинска – десять (два в 1855 г., шесть – в 1856 г., два – в 1857 г.), из Твери четыре (все в 1859 г.), из Висбадена –

три (1865 г.) и Петербурга – три (также в 1865 г.). Первые письма из Семипалатинска полны глубокого чувства к Врангелю – Федор Михайлович тяжело переживает тоску и одиночество. В дальнейшем время изгладило остроту разлуки. Позднее друзья имели несколько встреч. Последний раз Врангель встретился с Достоевским в Петербурге в 1873 г. «Я очень рад был опять его увидеть, – сообщает Врангель в своих «Воспоминаниях», – встретились мы, казалось, сердечно по-прежнему, но... Это не был уже мой прежний, дорогой семипалатинский Федор Михайлович! Время и долгая разлука, конечно, наложили свою печать на наши отношения. О прошлом ни слова; он даже не сказал мне, что он вторично женился и как идут его дела» (с. 219). В 1879 г. Врангель выехал генеральным пограничным консулом в Данциг. Здесь из русских газет он узнал о смерти Достоевского в 1881 г. Кончина Федора Михайловича, естественно, потрясла Врангеля. Он живо вспомнил время семипалатинской жизни с Достоевским. «Все прошлое воскресло в моей памяти, мне мучительно жалко стало моего бывшего старого друга, – пишет Врангель в «Воспоминаниях» на смерть Достоевского. – Хотя последние годы и развели нас, но я не переставал хранить к нему глубокое чувство любви и уважения» (с. 219).

С грустью встретили известие о смерти Федора Михайловича и в Семипалатинске те из обывателей, которые знали Достоевского лично и имели с ним какое-либо общение. Слава великого писателя, которая шла за Достоевским, еще более усилила значение смерти Федора Михайловича для семипалатинских его знакомых.

СЕМИПАЛАТИНСК ВРЕМЕН ДОСТОЕВСКОГО

Семипалатинск пятидесятих годов минувшего столетия, когда в нем жил Ф.М. Достоевский, представлял из себя большое село, затерявшееся в песках. Он только что был преобразован в областной административный центр открытой в 1854 г. (год прибытия Достоевского в Семипалатинск) Семипалатинской области. Город можно было разделить на четыре части. В западной части лежала Семипалатинская станица, населенная казаками. Небольшие деревянные домики станицы напоминали типичные казачьи поселки Иртышской казачьей линии. Восточная часть

города была занята татарами и представляла из себя замкнутый мир. Высокие постройки шатрового характера с окнами, обращенными в ограду, ревниво охраняли татарскую семейную жизнь от посторонних взглядов: здесь резко чувствовался восточный уклад жизни, который регулировался своим особым кодексом. Середину между станицей и татарской частью города занимала бывшая Семипалатинская крепость, основанная в 1718 г. и упраздненная в 1838 г. Здесь находились военные постройки: казармы, квартиры военного начальства, гауптвахта, тюрьма и т.д. И, наконец, севернее крепости тянулась небольшая линия обывательских домов. Теперешний центр города был тогда загородной степью, куда ездили на охоту. На месте Никольского собора, занимающего центральную часть города, существовало озерко, где свободно располагались дикие утки, привлекавшие охотников. При постройке Никольской церкви пришлось озеро забутить камнем, сверху выстлать всю площадь под храм каменными плитами под цемент, на которых уже и был выстроен храм. На весь город было одно каменное здание – Знаменский собор, заложенный в 1777 г. В татарской части было семь деревянных мечетей. В городе существовал большой меновой двор, стягивавший торговлю степи. Сюда приходило много торговых караванов из Средней Азии. В торговле принимали деятельное участие татары, сарты – ташкентские и кашкарлыки (из Кашгарии) и отчасти русские. На весь город существовал один только галантерейный магазин с подбором всех товаров, в каких только нуждался обыватель. Одна казенная аптека удовлетворяла потребности населения в врачевании. Хозяйством города ведало городское общественное управление – городская ратуша, начавшая свои действия с 1783 г. под названием городского магистрата. Потребность в образовании удовлетворялась приходским мужским училищем, открытым в 1833 г., и мужским уездным трехклассным, появившимся в 1859 г. и преобразованным в 1881 г. в пятиклассное, городским училищем. Спрос на первоначальное женское образование получил некоторое удовлетворение в ноябре 1860 г. открытием при мужском уездном училище элементарной женской школы, преобразованной в 1864 г. в женское училище второго разряда и в 1871 г. – в женскую прогимназию. Порядок в городе поддерживался представителем надзора, носившим громкий титул полицеймейстера (полицейское управление открыто в 1755 г.).

Освещения не существовало, гостиниц тоже. Умственные запросы были ничтожны. На 5-6 тысяч городского населения выписывалось 10-15 газет и журналов, да и с теми нередко знакомились из десятых рук. Город на тысячи верст отрезан был от культурных центров. Сношения с другими местами поддерживались только с помощью линейного казачьего тракта, расположенного по берегу Иртыша. О пароходстве не было и помину. Семипалатинск представлял из себя тогда отчаянную глушь. О приезде всякого нового человека в городе узнавали моментально. Сибиряки определенно отмежевывались от приезжавших из Европейской России, последних называли «российскими». В городе было только одно пианино. О сладостях, кроме ташкентских сушеных фруктов, имели мало понятия. Врангель рассказывает, что когда он преподнес в подарок одной даме десяток засахаренных ананасов, так глядеть их сбежался чуть не весь город. Даже ржевская пастила, выписанная Врангелем из Казани, показалась необычайным лакомством. Интерес к совершавшемуся на белом свете был небольшой. Даже происходившая в то время крымская война не особенно-то будировала семипалатинцев. Они жили своей жизнью, ничем не реагируя на большие политические события. Материальные интересы доминировали над всем. В карты играли сильно. Устраивались грандиозные попойки. Про одного купца рассказывали, что он гостей своих держал у себя по неделе, приказывая прислуге запираить у себя ворота и никого не пускать из дому. Угощались на славу. Чиновники ходили на достархан к богатым татарам, которые в этом видели для себя особую честь. За отсутствием умственных интересов процветали сплетни. Дамы умирали со скуки. Даже фокусники и бродячие труппы не заглядывали в Семипалатинск. Иногда солдаты устраивали у себя в казарме «спектакли», на которые собирался местный бомонд – публика рада была всякому развлечению. Солдаты-артисты не особенно разборчивы были в выборе репертуара и, случалось, преподносили такие вещи, что дамы турманом вылетали со «спектакля», а мужчины хохотали до упаду. Даже цветов приличных тогда не было в городе; о сирени, жасмине и т.п. и не слыхивали. Жизнь была дешева. Врангель за свою квартиру в 3 комнаты, конюшню, сарай, помещение для трех лиц, стол и отопление платил 30 руб. в месяц. Квартира Достоевского со столом и стиркой белья обходилась Федору Михайловичу в 5 руб. в месяц. Правда, потребности

Федора Михайловича были скромные, но на 4-5 рублей в месяц тогда все-таки можно было прожить и даже каждый день есть мясо. В большом употреблении был табак Бостанжогло и Жукова; его курили из длинных чубуков; среди солдат большим распространением пользовалась махорка. Чиновники, помимо жалования, жили «безгрешными» доходами. Батальонный командир Достоевского, подполковник Белихов, получал большую экономию от солдатского котла, припека хлеба, всякого ремонта по батальону, разных заготовок для солдат и т.д. Со слов самого Белихова Врангель определяет его доходы в 5-6 тыс. руб. в год. Немудрено что Белихов очень широко жил, устраивая своим приятелям богатейшие угощения с обильными возлияниями. Командир казачьего линейного полка полковник Мессарош также не был в накладе от своей службы. Поставка овса для кавалерийских лошадей давала большие барыши, которые целиком шли в карман Мессароша. Можно себе представить, какое хищение было в тюрьме!

Чиновники областного правления обильно стригли татар при призыве их на военную службу.

Все хорошо знали в городе друг друга и обращались друг с другом просто. «Ты» было в ходу. Даже губернатор Спиридонов говорил прокурору «ты». Правда, это можно объяснить установившимися между этими людьми близкими отношениями, тем не менее в обращении служащей интеллигенции существовала большая патриархальность, и «тыканье» вовсе не являлось признаком какой-либо особенной грубости или желанием оскорбить человека. «Жалкий был городишко, скудный впечатлениями, увязший в сплетнях и дрязгах», – характеризует Врангель Семипалатинск (с. 77). Высшим начальством края являлся генерал-губернатор Западной Сибири, проживавший в Омске. Город Омск мало чем отличался от Семипалатинска. Это был такой же маленький, затерявшийся в степи городишко, как и Семипалатинск. И состав администрации здесь был интересный. Врангель, направляясь в Семипалатинск, при проезде через Омск, представился своему высшему начальству – генерал-губернатору Гасфорту и военному губернатору области сибирских киргизов Фридрихсу. Впечатления от этого визита сохранились в письме Врангеля к своему отцу от 8 декабря 1854 г.:

«Он (Гасфорт) принял меня свысока, руки не дал, хотя и пригласил обедать. Он так пуст и глуп, что много говорить о нем не

буду. Он, пожалуй, и желал бы добра краю, да взяться не умеет. Здесь слово его – закон, и ему оказывают чуть не божеское почитание. Военный губернатор Киргизской области, генерал-майор Фридрихс, добрый, отличный человек, но глуп, как пробка. Доклады выслушивает стоя, играя на флейте. Поднесенные ему для подписи бумаги весит на безмене и потом хвастает, сколько пудов ему нужно было подписывать за неделю».

Разъезды генерал-губернатора по краю всюду производили переполох. Неограниченный владыка, настоящий самодержец, генерал-губернатор был волен в животе и смерти каждого. Чиновники приезда его ждали с трепетом; одних он миловал, других разносил. Встречи ему делались торжественные; весь город сбегался к приезду начальника края; являлись и представители киргиз в ярких халатах приветствовать высокого «тюре». Эту помпу генерал-губернатор принимал как должное и требовал себе царского почета. Все хорошо сознавали, что приезд генерал-губернатора – это гроза и потому всячески старались как-нибудь отвести удары ее, делали все возможное, чтобы чем-нибудь не разгневать его высокопревосходительство. Священнику семипалатинского Знаменского собора очень влетело от Гасфорта за то, что батюшка не встретил его колокольным звоном. На робкое замечание священника, что трезвоном встречают только лиц царской фамилии, Гасфорт грозно заявил: «Здесь я царь! Чтоб в следующий приезд, приказываю, трезвонить во все колокола» (Врангель, с. 77).

Гасфорт очень любил разыгрывать из себя высочайшую особу. Ревизуя судебные дела Семипалатинского округа, Гасфорт в некоторых из них не увидел подписи прокурора. Он набросился на Врангеля. Последний ответил генералу, что прокурор по закону не обязан пропускать журналы округа. «Я здесь приказываю, я – закон», – резко оборвал Гасфорт прокурора. – «Как угодно будет приказать министру юстиции», – ответил на это Врангель. – «Что?!? Здесь я министр юстиции», – дико заорал Гасфорт (Врангель, с. 73).

Наезды генерал-губернатора так встряхивали семипалатинцев, что, по отъезде начальства, чиновный мир долго обыкновенно не мог очухаться.

Память Гасфорта увековечена в Семипалатинске присвоением его имени площади, на которой разбит сквер и построена Никольская церковь. Можно себе представить, как себя чув-

ствовали в Семипалатинске лица с умственными запросами и потребностями к культуре, заброшенные сюда, вроде Достоевского и Врангеля. Их положение было прямо трагическое. Пустота жизни давала себя чувствовать; одной службой трудно было довольствоваться, «во вся тяжкая» не хотелось пускаться. Приходилось изыскивать способы разумного времяпрепровождения. Врангель, например, завел хозяйство, в котором Достоевский принимал участие. Федор Михайлович с усердием занимался цветами, поливал их и всячески ухаживал за ними. Друзья развели в городе цветы, до того невиданные в Семипалатинске: левкой, георгины и т. п.

Семипалатинская глушь действовала на Достоевского удручающе. Невозможность для Достоевского печатать свои произведения еще более усиливала душевную тяжесть писателя. Творческие порывы Федора Михайловича не находили выхода.

Достоевский рвался поступить на гражданскую службу хотя бы маленьким чиновником, чтобы получить возможность открытого участия в литературе, куда ему пока был загражден доступ. Все это крайне расстраивало Федора Михайловича. «Семипалатинск надоел мне смертельно!», – пишет он своему другу. Об этом захолюстье Достоевский вспоминает потом в Твери: «Теперь я заперт в Твери, – пишет он Врангелю, – и это хуже Семипалатинска. Хотя Семипалатинск в последнее время изменился совершенно (не осталось ни одной симпатичной личности, ни одного светлого воспоминания), но Тверь в тысячу раз гаже» (письмо от 22 сентября 1859 г.).

Итак, Семипалатинск времен Достоевского представлял из себя отчаянную глушь, страшное захолюстье, и в этом-то захолюстье Федору Михайловичу Достоевскому пришлось прожить более пяти лет.

Источник

Активно занимался изучением семипалатинского периода жизни и пропагандой творчества писателя Достоевского член Русского Географического общества Борис Георгиевич Герасимов. Он был человек образованный, знал латинский, греческий, французский и казахский языки. Хорошо знал русскую и иностранную литературу, неплохо разбирался в живописи, писал стихи, играл на гитаре и пел. Как священник, он совмещал свою научную деятельность со служением Богу, был незаконно репрессирован и расстрелян в новогоднюю ночь 1938 г.

Статьи из книги:

Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Санкт-Петербург «Андреев и сыновья». 1993. 331с.

Новые данные о жизни Достоевского в Семипалатинске. С. 114-116

Достоевский в Семипалатинске (статья первая). С 117-129

Ф.М. Достоевский в Семипалатинске (статья вторая). С. 130-157

А.В. СКАНДИН

Работа исследователя семипалатинского периода жизни Достоевского А.В. Скандина является первой попыткой собрать воедино любые упоминания семипалатинцев о службе в их городе великого русского писателя.

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

По прибытии в Семипалатинск Достоевский был назначен в 1-ю роту, которая занимала половину* деревянной казармы, сгоревшей в 1881 г. По плану и внешнему виду сгоревшая казарма совершенно одинакова с казармой, находящейся в настоящее время против здания мужской прогимназии. Место же, где стояла она, – против Знаменского собора, вправо и на одной линии с каменными крепостными воротами. Тут-то и жил первое время и нес нелегкую солдатскую службу Федор Михайлович.

Старожил Семипалатинска, Н. Кац, современник и сослуживец Достоевского по роте, до сих пор отчетливо помнит личность Федора Михайловича и охотно делится своими воспоминаниями. С его слов, заслуживающих, по моему убеждению и по мнению многих, хорошо его знающих лиц, полного доверия, помещаю здесь некоторые сведения.

Достоевский в роте спал на нарах рядом и на одной кошме с Кацем, назначенным в том же году на действительную службу из пермского полубатальона кантонистов. У Каца, тогда еще

* Другую половину занимала 2-я рота 7-го батальона. (Здесь и далее примеч. А.В. Скандина).

17-летнего мальчика*, положительно ничего не было: мундир и брюки заменяли подушку, а шинель – одеяло. Достоевский в это время тоже ужасно нуждался в деньгах. Спустя немного времени Кац портняжной работой (научился этому ремеслу, будучи кантонистом) начал зарабатывать деньжонки и мало-помалу обзаводиться всем необходимым для своего житья-бытья. В числе первых приобретений был самовар, доставивший Кацу вместе с его соседом по месту Достоевским, в полном смысле, «приятное с полезным». Пища для солдат в то время была отвратительная, а поэтому чай служил незаменимым дополнением и улучшением казенного стола... Принесут, бывало, большую деревянную чашку, наполненную «варевом без названия», вооружатся солдаты, в том числе и Достоевский, огромными деревянными ложками с неимоверно толстыми черешками – и начнется скудный, далеко не сытный обед... Федор Михайлович ел приготовление ротной кухни, но ел... мало. По этому поводу он частенько с досадой говорил:

– Вот уже четыре с лишком года не могу как следует есть, по-человечески... Завидую аппетиту товарищей.

Чай пить любил помногу.

– Как теперь, вижу перед собой Федора Михайловича, – передаю подлинные слова Каца, – среднего роста, с плоской грудью; лицо с бритыми, впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, никогда не видел на его лице полной улыбки. Случалось, что какой-нибудь ротный весельчак для потехи товарищей выкинет забавную штуку, от которой положительно все покатываются от смеха, а у Федора Михайловича только слегка, едва заметно, искривятся углы губ. Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. О своем прошлом никому в казарме не рассказывал. Вообще он был мало разговорчив. Из книг у него было только

* Чтобы избавиться от тяжелой жизни в полубатальоне кантонистов, Кац скопленные им три рубля подарил одному из писарей, который устроил каким-то образом, что его, далеко еще не достигшего установленного возраста, назначили на действительную службу... Должно быть, хороша была жизнь кантониста, если он променял ее на службу солдатскую!..

одно Евангелие*, которое он берег и, видимо, им очень дорожил. В казарме никогда и ничего не писал; да, впрочем, и свободного времени у солдата тогда было очень мало. Достоевский из казармы редко куда уходил, больше сидел задумавшись и особняком.

Это подтверждается и его письмом** к брату Михаилу, которому он, между прочим, сообщал:

«... Живу я здесь уединенно; от людей по обыкновению прячусь. К тому же я пять лет был под конвоем, и потому мне величайшее наслаждение очутиться иногда одному. Вообще каторга много вывела из меня и много привила ко мне. Я, например, уже писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на падучую...»

К солдатской службе Достоевский относился старательно. Это подтверждает и его ротный командир, подполковник в отставке, Андрей Иванович Бахирев***, который аттестует Достоевского так: «отличался молодецким видом и ловкостью приемов, при вызове караулов**** в ружье. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался».

В карауле аккуратность его доходила до того, что он не позволял себе отстегивать чешуйчатую застежку у кивера и крючки от воротника мундира или шинели даже и тогда, когда это разрешалось уставом (например, в ночное время при отдыхе нижних чинов караула перед заступлением на часы).

Его и в рядовом звании освободили от нарядов на хозяйственные работы, а в караул приказано было назначить только по

* Евангелие было подарено Достоевскому в Тобольске женами декабристов (Муравьевой, Анненковой с дочерью и Фонвизиной) при посещении острога, где помещены были до особых распоряжений ссыльно-каторжные петрашевцы.

** Письмо от 30-го июля 1854 г.

*** А.И. Бахирев живет и в настоящее время в Семипалатинске, ему 83 года, но Достоевского помнит.

**** В роте А.И. Бахирев не обращал внимания на Достоевского («нам не до Достоевского было: с этой собачьей службой – целые дни с площади не сходили», – правдиво и добродушно говорил этот почтенный николаевский служака). В карауле же Бахирев, будучи дежурным по караулам, всегда ревностно проверял знание обязанностей каждого нижнего чина, в том числе и Достоевского. Кроме того, Бахирев был долгое время в командировке в г. Сергиополе (Аягуз). Когда возвратился, то Достоевский был уже офицером и нес службу в роте, кажется, А.И. Гейбовича.

недостатку людей в роте. Но так как в то время шла большая заготовка дров для потребности батальона и для продажи, а также строевого леса* для инженерного ведомства, для чего, конечно, требовалось много рабочих рук из нижних чинов, то для обыкновенных служебных нарядов долгое время не доставало людей, следовательно и Ф.М-чу приходилось частенько бывать в карауле.

Часовым Достоевскому пришлось стоять почти на всех постах того времени:

1) У окна арестантской камеры местного лазарета.

2) У денежной кладовой казначейства (ныне склад шанцевого инструмента инженерного ведомства) и порохового погреба (это старое крепостное здание ныне находится в городском саду).

3) У продовольственного магазина (на месте, где был этот магазин, в данное время стоит деревянный сарай, в котором хранится обоз семипалатинского резервного батальона по штату военного времени). Изба, где помещался тогда караул и где, следовательно, часто коротал утомительно длинные часы Достоевский, сохранилась. Она – недалеко от сарая с обозом, и в ней теперь, кажется, хранится батальонная известь...

4) На фронте гауптвахты и тюрьмы, т.е. у каменной казармы. В то время у этого здания окна были маленькие и с решетками, да и план здания (внутри) был несколько не такой, как теперь. Тут помещались, кроме гауптвахты, тюрьма, музыкантская команда и артиллерия (кажется, нижние чины 21-й батареи). Помещение для караула (кордегардия) было вправо от входа с площади, где теперь класс учебной команды резервного батальона, а во время семейно-танцевальных вечеров – столовая военного собрания. В этом карауле (на гауптвахте) Достоевский бывал чаще, чем в других.

По отношению к своим сослуживцам-солдатам Федор Михайлович был внимательный, отзывчивый. Помогал им, чем только мог.

*Лес рубился солдатами в 26-30 верстах от города Семипалатинска в Тин-Каши, где был батальонный хутор. Оттуда лес сплавлился солдатами же по Иртышу в Семипалатинск и в Омск для инженерного ведомства. В то время 7-й батальон занимался и дровами, и лесом. Все денежные расчеты по этим коммерческим операциям велись командиром батальона, который являлся каким-то неограниченным, бесконтрольным хозяином.

К начальствующим нижним чином был почителен*. Приказания исполнял беспрекословно и точно. На грубые выходки их не отвечал, отмалчивался. Казарменные неприятности переносил терпеливо.

Состав нижних чинов батальона в то время был очень плохой: много было сдаточных от помещиков (народ недовольный, озлобленный), много было и наемщиков... А кто не знает, что за люди были эти наемщики? Это люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, люди, которым было решительно все равно – куда ни идти, что бы ни сделать, хотя бы и преступление: терять им было нечего, стремиться домой (на родину) не к кому и незачем... Грубость и безграмотность были поголовные. Со стороны же капралов (унтер-офицеров) подзатыльники и зуботычины щедро раздавались направо и налево, сопровождая каждый солдатский шаг... А от начальства из офицеров, кроме того, перепали (и тоже нескучно) и розги...

Стоны от розог и палок, невыносимая трехэтажная ругань начальства, угрозы и проклятия потерпевших и обиженных несмолкаемо раздавались в казарменном воздухе... Жизнь при такой обстановке человеку слабому, физически и нравственно надломленному, возможно было перенести только разве... после каторги...

Федор Михайлович к Кацу относился всегда тепло, участливо, входил в его положение, жалел его молодость**, как старший собрат по солдатчине. Кац, разумеется, не знал, что это был пи-

* Отставной штаб-трубач 7-го батальона, А.С. Сидоров (ему теперь далеко за 70 лет), проживающий в настоящее время в Семипалатинске, рассказывал: «Ах, какой смиренный был он человек, старался всегда себя ставить ниже всех; идешь, бывало, а он тебе тянется, честь отдает, и уважение должное оказывает, а заговоришь с ним – отвечал учтиво, почтительно. Хороший был человек... Вот книжечки-то его (причем показал сочинения Достоевского) и по сие время читаю с наслаждением... Великого ума был человек... Но тогда не знали мы этого, не понимали... Да и гг. офицеры-то не лучше нас, солдат простых, были, только мундир иной...»

** Кацу, как самому молодому и несравненно выше других по развитию, доставалось ограничения немало. Особенно вспоминает он с тяжелым вздохом, как ему приходилось осенью на Иртыше в нестерпимо холодной воде стоять по пояс и выполнять непосильный для него труд по выгрузке леса и дров (из плотов на берег). Не всякий охотно заходил в воду, а его посылали силой, угрозами...

сатель-мыслитель; ему и в голову никогда не приходило, что этот его сосед по месту, так хорошо к нему относившийся, – будущая знаменитость, европейская известность... Он только сознавал, чувствовал своим юным сердцем, что этот молчаливый и чрезвычайно угрюмый рядовой Достоевский – беспредельно добрый, сердечный человек, а потому совершенно не похож на окружающую его среду, где Кац, кроме обидных насмешек, грубых понуканий вроде «Эй, школьник, кантонист, собачий сын, иди сюда!» ничего не слышал. Естественно что он привязался к Достоевскому и глубоко уважал его.

Заветным желанием всегда у него было как можно больше услужить своему милому соседу. На деле же, к досаде Каца, частенько выходило наоборот... Что было причиной – трудно сказать теперь, но только рядовой мальчик из кантонистов невольно пользовался услугами рядового Достоевского: то Федор Михайлович приготовит самовар, то сходит за молоком, то вычистит амуницию свою и его...

– Спустя много лет, – привожу подлинные слова Каца, – я уже вышел в отставку и жил на свободе, занимаясь своим ремеслом, вдруг далеко прогремело имя Федора Михайловича... Тогда только я узнал, кто был Достоевский. Как досадовал, как злился я на себя за то, что, живя бок о бок с таким гениальным человеком, я не только не умел оказывать ему самых пустяжных услуг в солдатском обиходе, но даже, стыдно вспомнить, сам пользовался его услугами нередко...

Глубоко запечатлелась в памяти Н.Ф. Каца одна экзекуция, а именно – наказание шпицрутенами*, когда Достоевский находился в строю и, конечно, принужден был нанести и свой очередной удар по обнаженной спине несчастного осужденного... Сзади строя в это время зловеще шагала фигура грозного фрон-

* Шпицрутены – сырые тальниковые палки в 1 ½ аршина длиной и в палец мужчины толщиной. Наказание (редко за раз доводили до указанного числа ударов) продолжалось до тех пор, пока несчастный не сунется с ног, с исполованной спиной и потерей сознания... Тогда уносили его в лазарет «подлечить»; едва оправится изуродованный, как его снова ведут «сквозь строй», пока не выполнят назначенного судом числа ударов... Нечего и говорить, что бывали случаи, когда осужденные умирали во время экзекуции между двумя шеренгами... Нелегко было выдержать такое варварство.

товика-офицера Веденяева, больше известного семипалатинцам-старожилам под прозвищем Буран. Веденяев наблюдал за экзекуцией и зорко следил, «не облегчает ли кто удара»... Ели же кто, по мнению его, как большого специалиста этого дела, нанес удар «с облегчением», т.е. слабо, тому на спине тотчас же ставили мелом крест... Это значило, что жалостливого и подневольного палача-солдата ожидает основательная порка розгами под благосклонным руководством Веденяева... Розги в то время были употребительным наказанием, весьма любимым такими ревностными служаками, как незабвенный Буран, имевший свою историю и оставивший неувыдаемую славу в этом направлении...

Почти через два года службы в рядовом звании Достоевского произвели в унтер-офицеры*. Кажется, что с этого времени отношения к нему военного начальства резко изменились к лучшему. Он получил разрешение жить на частной квартире.

От служебных нарядов был окончательно освобожден, в роту же ходил только на учения, парады и смотры. Ели же был необходим в казарме по какому-нибудь особому случаю, то за ним посылали солдата. Крикнет фельдфебель: «Кто желает сходить к Достоевскому с приказанием?» Желала чуть ли не вся рота. Оказалось, что Федор Михайлович этим посыльным давал деньги: по 15 и по 20 коп.**

С этого же времени Достоевский начал бывать у командира батальона, полковника Белихова***. Белихов был простой, добродушный, холостой человек, любивший пожить****. Сначала командир батальона требовал к себе Федора Михайловича для

* В унтер-офицеры Достоевский произведен 15-го января 1856 г., что видно из его прошения, поданного из Твери на высочайшее имя о разрешении ему жить в Москве и Петербурге. В этом прошении он перечисляет, когда и какие были оказаны ему монаршии милости.

** В это время у Достоевского очень часто бывали деньги: присылал ему их, по словам Пальшина, брат Михаил Михайлович.

*** Белихов жил тогда в здании, где теперь помещается музыкантская команда семипалатинского резервного батальона.

**** При сдаче батальона майору Денисову полковник Белихов, по словам Каца, застрелился... Говорили, что причина – материальная недостача в батальоне, которую он не в состоянии был пополнить.

чтения ему вслух газет и журналов, а затем стал оставлять его у себя обедать и даже при гостях*. Тут Достоевский познакомился с многими лицами, часто бывавшими у Белихова.

Первая частная квартира Достоевского была в доме Пальшиных, у которых он снимал две комнаты с обедом**. К своим домохозяевам он относился просто. Любил иногда с ними и поговорить. На службу (в роту) ходил редко. Много читал и что-то писал. В гостях у него почти никто не бывал; сам же он частенько ходил к командиру казачьей бригады Мих. Мих. Хоментовскому, командиру батальона Белихову, горному ревизору Ковригину и смотрителю провиантского магазина, интендантскому чиновнику Ордынскому***. Особенно близкие отношения в это время у него были с последним: на квартире у Ордынского Достоевский иногда проводил целые дни за своей работой. О жизни Федора Михайловича от Пальшиных ни полиция, ни военное начальство никогда не справлялись и никаких сведений не требовали****. Припадки падучей болезни у Достоевского бывали часто и почти всегда по ночам, но продолжались недолго. К П.Л. Пальшину (сын хозяина дома), которому тогда было 14-15 лет, Достоевский был ласков. Заметил как-то Федор Михайлович, что мальчик недурно рисует, и предложил устроить его при помощи своего брата***** в Петербург, но отец П.Л. Пальшина от этого уклонился.

У себя на квартире Достоевский не был так сдержан, осторожен, как в казарме. Случалось, что говорил о своей прежней жизни и даже раз рассказал о том, как его с товарищами везли из крепости на казнь... Это был тяжелый, ужасный рассказ...

* В это время расстояние между офицером и солдатом было еще более непроходимое, чем ныне, поэтому при гостях иметь у себя офицеру в гостях нижнего чина было знаком особого внимания и участия...

** Эти сведения почерпнуты из рассказа П.Л. Пальшина (живет в настоящее время в Семипалатинске), помещенного в заметке о Достоевском Н. Яковлева (газета «Сибирь», № 80, 1887 г.).

*** Ордынский – довольно образованный старичок из ссыльных поляков-повстанцев, пожелавших остаться в Сибири.

**** Это доказывает, что надзора ни тайного, ни открытого за Достоевским не было.

***** Вероятно, через Мих. Мих. Достоевского.

В конце этого рассказа он подчеркнул, что никому и никогда не поверит, чтобы на казнь было возможно идти со спокойным духом...*

Тогда же, кажется, Федор Михайлович показал Пальшину хранившийся у него в сундуке... белый саван**, в котором стоял на эшафоте в день казни и переживал страшные минуты перед смертью... пока не последовало помилование...

На свою тяжелую судьбу Достоевский никогда не жаловался, но был у него из казарменной жизни такой случай, про который он долго не мог забыть... Рассказал же про этот печальный случай гневно, причем нервная дрожь пробежала по его худому телу... Вот этот случай. Рядовой Достоевский как-то замешкался и не тотчас же исполнил полученное им приказание от фельдфебеля, за что от последнего получил сильный удар по голове («подзатыльник»).

А.С. Сидоров (отставной штаб-горнист 7-го батал.) рассказывал следующее. Офицер Веденяев (уже известный читателю) состоял субалтерн-офицером во 2-й роте, которая помещалась в одной казарме с 1-й, часто заглядывал по соседству в 1-ю роту и, как человек неугомонный, нередко «подтягивал» и «разносил» унтер-офицеров за «непорядок»... Когда Достоевский явился в 1-ю роту, как из земли вырос и Веденяев, который внушительно сказал фельдфебелю, указывая пальцем на Федора Михайловича, стоявшего в стороне:

– С каторги сей человек... Смотри в оба и поблажки не давай!..

Не после ли такого строгого наказа грозы Веденяева рабски исполнительный фельдфебель, придравшись к мелочи, чтобы «не давать поблажки», по-своему вразумил Достоевского тяжелым подзатыльником?..

*Некоторые лица в своих печатных воспоминаниях (например, Пальм, Загуляев) уверяют, что Достоевский на эшафоте был бодр, спокоен и даже рассказывал шепотом Пальму план одной повести. Другие же (Спешнев) утверждают, что Достоевского объял «мистический ужас», он был бледен и, казалось, не отдавал отчета во всем происходящем... Нелегко разобраться в этом.

** Саван был на Достоевском, когда он стоял на эшафоте (видно из письма его из крепости к брату, это письмо написано в день казни); как он попал с ним в Сибирь – остается неизвестно. Может быть, эти саваны, с разрешения, многие петрашевцы (в том числе и он) взяли на память об этих «черных минутах своей жизни».

В заметке Н. Яковлева (газ. «Сибирь», № 80, 1897 г.) приведен еще такой случай. Федор Михайлович был на «вечере» у кого-то из знакомых и вышел зачем-то в переднюю, в которую в тоже время вошел только что приехавший в гости офицер. Увидевши в передней солдата, офицер молча подставил ему свою спину – и... Достоевский снял с него шинель, поместил ее на вешалку и одновременно с тем же офицером вошел в гостиную.

Почтенная семипалатинская обывательница, вдова Е.А. Мамонтова (в девицах Мельчакова), охотно сообщила мне все, что знала о Достоевском, причем заметно оживилась и, видимо, с удовольствием в своих воспоминаниях переживала те молодые годы (переполненные, нужно заметить, интереснейшими фактами и событиями из истории нашей пограничной полосы, которые совершались почти на ее глазах)*, которые промелькнули давно и теперь находятся далеко, далеко позади...

Передаю слышанное ее же словами.

– Мне было лет 12, когда дядя, у которого я тогда жила, пригласил в качестве учителя для меня Достоевского. Федор Михайлович в общей сложности занимался со мною несколько более года. Для учения – не скрываю – я была малоспособная. Особенно мне не давалась головоломная арифметика. Теперь я положительно удивляюсь терпению своего учителя. Оно у него, вероятно, было неистощимое. Достоевский ходил к нам на занятия в разное время – очевидно, когда он был свободен. Урок продолжался час, иногда два, но не больше. Во время уроков Федор Михайлович почему-то часто сидел в шинели**. Расстегнет воротник и только. Эта шинель отчетливо зарисовалась в памяти, точно вот она сейчас передо мной... Спина из мелких бориков... Не знаю, форма ли тогда такая была, или это его личный вкус, но только покроей с спиной из бориков был довольно красивый... Теперь таких шинелей у военных я не вижу. Во время уроков Федор Михайлович часто и продолжительно кашлял.

* Многие интересные рассказы я, конечно, здесь не помещаю, так как они не входят в программу очерка.

** Впоследствии г-жа Мамонтова мне конфузливо сообщила, что она догадывалась почему Федор Михайлович сидел в шинели: брюки тогда были белые, мундирчик короткий, «кудлый»... Брюки за неимением запаса других слишком скоро грязнились... Вот он и стеснялся снимать шинель, чтобы скрыть невольную неисправность своего туалета.

Дядя говаривал, что у него грудь не в порядке. При занятиях со мной был мягкий, ласковый, но в требованиях своих настойчив. Пришлось раз подвергнуться и наказанию своего учителя. Это было так. Федор Михайлович задал мне арифметическую задачу и просил решить ее к следующему уроку. Я задачу не решила. Достоевский заставил решать ее при себе. Задача, на беду мою, упорно не давалась. Достоевский ждал. Наконец я, глупая девчонка, потеряла самообладание, озлилась и сказала своему милому и доброму учителю дерзость: «Решить я не могу: задача очень трудная... Сидите и решайте сами, а я больше не буду...» Федор Михайлович сказал об этом моим родным, сидевшим в другой комнате, а меня поставил за это в угол, около печки и дверей.

Долгонько я простояла в углу. Достоевский остался у нас обедать. После обеда прошло немало времени. Только в сумерки, к вечернему чаю позволили мне оставить неприятное место. Мне шепнули, чтобы я просила извинения, но я заупрямилась. Достоевский ушел. На другой день утром злополучная задача была все-таки решена мною. Федор Михайлович, просмотревши решение, подарил мне, строптивой ученице, коробку (корзиночка с высокой ручкой) конфет.

Достоевский в Семипалатинске бывал во многих домах, в том числе и у судьи Пешехонова, жившего открыто и широко. На вечерах у него бывала всегда масса гостей, для которых угощение было на славу. Танцы и карты процветали. В этом доме танцевал и Достоевский, особенно он был в ударе перед отъездом из Семипалатинска, и кажется мне, что он был тогда во фраке, а не в офицерском мундире...*

Про обильную выпивку в доме Пешехонова Достоевский говаривал:

– Э, друг, если хочешь напиться, иди к Пешехонову – будешь готов.

Сам же он почти не пил и всегда возмущался разнузданностью людей, частенько проявлявшуюся под влиянием обилия хмельного в доме, где все лилось через край, причем выражался, кажется, так:

– Кто пьет до безобразия, тот не уважает человеческого достоинства ни в себе, ни в других.

* Очевидно, что был в отставке.

Хорошо запомнилось мне одно обстоятельство, да как-то боюсь, не решаюсь его вам передать... Очень уж факт-то на первый взгляд невероятный... Как бы не упрекнули меня в лганье. Достоевский одно время как будто бы пристрастился к азартной игре*. Играли же здесь тогда сильно. Однажды Федор Михайлович утром зашел к дяде** и сообщил ему, что вчера он видел небывалую игру. Эта игра произвела на него сильное впечатление: он, рассказывая про нее, быстро ходил по комнате и с волнением закончил:

– Ух, как играли... жарко! Скверно, что денег нет... Такая чертовская игра – это омут... Вижу и сознаю всю гнусность этой чудовищной страсти... а ведь тянет, так и всасывает!

* * *

Приближалась коронация императора Александра II. У Достоевского мелькнула надежда на царскую милость. Он даже делает попытку в такой удобный момент напомнить о себе. Так, например, 23 марта 1856 г. к барону А.Е. Врангелю***, знакомому по Семипалатинску, где тот некоторое время служил, Федор Михайлович пишет горячее письмо, в котором убедительно просит Врангеля побывать у Эд. Ив. Тотлебена****, передать ему другое письмо и добиваться ходатайства его перед го-

* Это возможно. Федор Михайлович до ареста и ссылки одно время увлекался игрой на бильярде. Впоследствии за границей, в Бадене, начинал было играть, но игра кончилась, разумеется, горькой неудачей... Достоевский сам про этот временный азарт говорил в письме к поэту А. Майкову (16 августа 1867 г.), что «натура его подлая, страстная – везде-то и во всем он до последнего предела доходил, всю жизнь за черту переходил».

**Соборный дьякон Синкин, бывший секретарь консистории, но по прихоти архиерея попал в это звание. У Синкина бывали многие из офицеров, бывал и Достоевский, как старый знакомый, запросто.

*** О бароне Врангеле Достоевский 13 января 1856 г. писал поэту А.Н. Майкову: «Письмо это доставит А.Е. Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лицея с великодушной мечтой узнать край, быть полезным и т.д. Он служил в Семипалатинске, мы с ним сошлись, и я полюбил его очень».

Г-жа Мамонтова говорит, что Врангель состоял одно время по дипломатической части для сношений с Китаем, но настойчиво не утверждает...

**** Генерал-адъютант, известный военный инженер и герой Севастополя, учившийся в том же инженерном училище, где кончил курс и Достоевский.

сударем о смягчении его участи при коронации. Особенно желал Достоевский перейти в гражданскую службу с 14-м классом и возвращения в Европейскую Россию, а главное разрешения печатать свои произведения.

Попытки Федора Михайловича увенчались успехом, надежды его не обманули... Генерал Тотлебен откликнулся и стал настойчиво хлопотать об улучшении участи Достоевского. В этом принял горячее участие и принц Ольденбургский. Результатом всего была монаршая милость: 1-го октября 1856 г. унтер-офицер Достоевский за отличие по службе произведен в прапорщики, с оставлением в том же батальоне.

С этого времени Федор Михайлович несет уже службу офицерскую и вливается, так сказать, в эту среду... Среда же эта была крайне убогая... Офицеры были (за весьма немногими исключениями) скудно образованные, мало развитые; встречались даже и совсем малограмотные*: это из солдат, севастопольских героев, произведенных за боевые отличия в прапорщики... Некоторые из более энергичных таких прапорщиков держали, впрочем, особый «офицерский экзамен» на право производства на службе в следующий чин. Но какой же для них был экзамен?.. Конечно, баловали героев-стариков и... пропускали по доброте сердечной...

Для характеристики таких горе-офицеров привожу здесь факт, очень похожий на анекдот, записанный со слов Н.Ф. Каца.

Из героев-севастопольцев в 7-м батальоне служил Зубарев. Он, как сдавший экзамен, был произведен в подпоручики. Вскоре же после производства в этот чин ему пришлось заступить в караул на гауптвахту.

В составе чинов караула был и рассказчик Кац. Все формальности приема были окончены, оставалась последняя официальная сторона дела – это расписаться в книге или постовой ведомости (Кац точно не помнит). Зубарев (караульный начальник) сел за стол, взял перо и... задумался. Старый начальник караула (какой-то прапорщик из молодых), расписавшись еще заранее**,

* То есть читать-то умели, а писали только при помощи других.

** Обыкновенно практиковалось так: старый караульный начальник заготовит заблаговременно все необходимые для смены шаблонно-уставные надписи; новому же караульному начальнику остается только фактически принять все, а в книге (или ведомости) черкнуть чин и фамилию.

уже давно увел сменный караул... А Зубарев все сидит, погруженный в размышления... Наконец бросил на стол перо и громко, раздраженно воскликнул:

– Ах, ты, черт возьми, как я было наловчился писать «прапорщик»... Произвели вот – и опять новое слово «подпоручик»... А как его написать?.. Вот она, служба-то!..

Вздыхнул и подозвал к себе Каца, как хорошо грамотно нижнего чина, и приказал ему подсказывать по порядку все буквы мудреного «нового слова», а сам толстыми заскорузлыми пальцами усердно царапал пером... Когда «подпоручик» был изображен на бумаге, то герой Севастополя, покрасневший от напряжения, с подъемом духа начальнически милостиво сказал:

– Иди, братец, на место – теперь больше не нужен... – И тут же добавил уже совершенно добродушно: – Фамилию-то свою я, и закрывши глаза напишу...

Конечно, такие офицеры редкое исключение составляли и тогда, но образованные, в полном смысле этого слова, офицеры в батальоне были еще большим исключением.

К такому приятному исключению нельзя не отнести молодого в то время Алексея Ив. Бахирева (брата командира 1-й роты Андрея Ив. Бахирева). Он, окончивши кадетский корпус, много проработал над саморазвитием и любил литературу: имел много дельных книг, выписывал «Современник», а Некрасова знал наизусть. Словом, считался тогда не только в батальонной офицерской семье, но и во всем семипалатинском обществе в числе передовых людей. Достоевский и Бахирев близко познакомились и даже одно время жили вместе, на одной квартире*. Федор Михайлович пользовался у Бахирева книгами и журналом. Когда же Ал. И. Бахирев поехал в отпуск, Достоевский снабдил его рекомендательными письмами к брату Михаилу Михайловичу, но Бахирев в Москву, где был брат Достоевского, не попал: пробыл долгое время в Варшаве и, должно быть, для Москвы отпуска и не хватило... Письма, по приезде его в Семипалатинск, им были возвращены Федору Михайловичу.

В Варшаве Ал.И. Бахирев случайно купил портрет Достоевского. Этот портрет, насколько я знаю, нигде не появлялся в

* Дома этого, кажется, не существует.

печати и относится, судя по молодости лица и спокойному выражению глаз, к периоду до ареста и ссылки в каторгу*.

Ал.И. Бахирева давно уже нет в живых... А немало, вероятно, он имел сведений о Достоевском. Может быть, в числе этих сведений были и весьма ценные биографические материалы.

В доме командира батальона Белихова Достоевский познакомился с чиновником особых поручений Александр. Ив. Исаевым, злоупотреблявшим тогда спиртными напитками до горячки... Бывал частенько Федор Михайлович и у Исаева**. Вскоре Исаев был переведен из Семипалатинска в Кузнецк, где и умер в страшных мучениях, оставив после себя вдову Марию Дмитриевну и детей без всяких средств и с долгами.

Достоевский жалел Исаева. Его безобразную жизнь, нелепые поступки оправдывал тем, что покойного черная злая судьба обильно наделила в жизни лишь одними неудачами.

О материальной поддержке вдовы Исаевой Федор Михайлович очень много хлопотал, доставая для нее деньги, что видно из целого ряда писем к барону Врангелю***. Долго добивался и определения старшего сына Исаевой – Павла в кадетский корпус. Этого мальчика удалось устроить лишь впоследствии, когда Достоевский был уже женат. Прошение, писанное рукой Фед. Мих. на имя командира батальона (с пометкою 27-го июля 1857 г.), об исходатайствовании у военного губернатора подорожной для доставления девятилетнего пасынка Павла Исаева в Сибирский кадетский корпус сохранилось до сих пор в делах областного правления.

* Портрет этот (литография) после смерти Ал.И. Бахирева был в числе прочих мелочей (писем, фотографий, орденов) выслан из Катон-Карагая, где служил Бахирев, в Семипалатинск к брату Андр. Ив. Бахиреву, сын которого Ник. Андр. Бахирев любезно снабдил меня этим портретом и сообщил сведения о своем дяде, который был близко знаком с Достоевским.

** Исаев квартировал в доме дьячка Хлынова (после дом врача Гизлера), что недалеко от казарм. До этого времени, когда Достоевский жил в казарме, в этом доме у Хлыновой (жены дьячка), умершей 86-и лет и хорошо помнившей Достоевского, Федор Мих. покупал часто молоко.

– Достоевский? А, как же, как же, помню этого солдатишку, – говорила эта старушка на расспросы интересовавшихся лиц, – чудной он был: то просит продать подешевле, а то сам заплатит за кринку вдвое дороже... Да еще и скажет, бывало: «Спасибо, что молочком кормишь»... Обходительный был... не даром ведь и до офицера дослужился.

*** Не имея денег, Достоевский просил у Врангеля. Вдова Исаева терпела нужду ужасную. В одном из своих писем: «Нужда руку толкала принять, – пишет она, – и приняла... подаяние».

Привожу здесь прошение это, напечатанное в № 8 «Семипалатинских Областных Ведомостей» 1898 г.*

«Господину
Командиру Сибирского линейного № 7 батальона
подполковнику Белихову

Вчерашнего числа, возвратясь из двухмесячного отпуска, данного мне для излечения застарелой падучей болезни, в форпосте Озерном я получил от семипалатинской городской полиции извещение, что пасынок мой, девятилетний Исаев, принят в Сибирский кадетский корпус. Дежурство корпусного штаба известило семипалатинскую городскую полицию от 17-го июля 1857 г. за № 5207, что его высокопревосходительство, господин корпусный командир, изволил сделать распоряжение об отпуске из тобольского окружного казначейства под расписку г-жи Исаевой (ныне жены моей Достоевской) прогонных денег и подорожной на доставление в Сибирский кадетский корпус, к 1-му августа сего года, сына ее, Исаева. Но так как жена моя, вступая со мной в брак, переехала на жительство из г. Кузнецка Томской губернии в г. Семипалатинск, то г. начальник корпусного штаба, уведомленный о сем обстоятельстве, уже просил Тобольскую казенную палату о выдаче прогонных денег и подорожной на доставление Павла Исаева в г. Омск из Семипалатинского окружного казначейства, по требованию матери его, г-жи Достоевской, бывшей в первом браке Исаевой.

Имея честь почтительнейше уведомить о сем обстоятельстве ваше высокоблагородие, нахожусь вынужденным присовокупить, что Семипалатинское окружное казначейство, без указа Тобольской казенной палаты, не может выдать следуемые Павлу Исаеву деньги. И потому почтительнейше прошу известить о сем обстоятельстве его превосходительство, господина семипалатинского военного губернатора. Как вотчим Павла Исаева, я обязан распорядиться о доставлении его в Сибирский кадетский корпус непременно к 1-му числу августа с. г., или, по крайней мере, в первых числах того же месяца. Имея доверенного человека для препровождения Павла Исаева, именно почтальона семи-

* Прощение, написанное рукою Достоевского, с приметкою 27-го июля 1857 г., сохранилось до сих пор в делах областного правления.

палатинского почтамта Лепухина^{*}, я, если уж не могу получить тотчас же прогонных денег, непременно должен снабдить моего пасынка подорожной, чтобы не было задержек в дороге. Имея честь почтительнейше изложить вашему высокоблагородию все сии обстоятельства, я осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокоблагородие донести о сем деле его превосходительству, г. семипалатинскому военному губернатору, и исходатайствовать у его превосходительства подорожную по казенной надобности для доставления в Сибирский кадетский корпус Павла Исаева.

Без нее я не могу распорядиться доставлением его в Омск в первых числах августа, и он, не явившись к сроку, может потерять право на поступление в корпус».^{**}

К вдове Марии Дмитриевне Федор Михайлович был неравнодушен... Дело клонилось к браку, но, прежде чем пожениться, они оба достаточно измучились от ревности (он в Семипалатинске, она в Кузнецке). Любовь эта для Достоевского была источником и нового для него счастья и... сильнейших страданий... Федор Михайлович почему-то долгое время считал действительным женихом Марии Дмитриевны другое лицо... Мучился, но все-таки жалел ее и искренно заботился о ней. В письме к неизменному А.Е. Врангелю, 21-го июля 1856 г., он говорил:

«...Подумайте: в ее положении такая сумма целый капитал^{***}, а в теперешнем положении ее – спасение, единственный выход. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. Тогда, пожалуй (как я полагаю), ей еще откажут в нем. У него ничего нет, у ней тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страдание...»

Вскоре после этого все выясняется и улаживается окончательно, о чем Достоевский восторженно пишет (21-го декабря 1856 г.) Врангелю:

«...Я до масленицы женюсь – вы знаете, на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сказала мне: да. То, что я писал вам об ней летом, слишком мало имело влияния на ее привязанность

^{*} В доме Лепухина, тогда только что отстроенном, Достоевские и нанимали квартиру.

^{**} Это – точная копия с прошения. Прощение представляет собою типичнейший вид служебной бумаги офицера к своему начальству.

^{***} Говорится о пособии (от казны в 285 р.) Исаевой как вдове чиновника, умершего на службе.

ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверное. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом, по письмам ее, я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что такое эта женщина! Я вам пишу «наверно», что я женюсь...»

Спустя некоторое время после этого письма Достоевский взял 15-дневный отпуск и поехал в Кузнецк, где и женился 6-го февраля 1857 г.*

На возвратном пути в город Барнаул с Федором Михайловичем случился тяжелый припадок (эпилепсия), что серьезно озаботило его жену.

В Семипалатинске Достоевские заняли квартиру в доме почтальона Лепухина. Дом существует и теперь (недалеко от женской прогимназии), но хозяева его уже умерли.

Квартира состояла из четырех комнат: первая маленькая комната была столовой, рядом спальня, налево из первой комнаты гостиная – большая угловая комната, а из гостиной налево дверь в кабинет.

Меблированы комнаты были просто, но очень удобно: в гостиной диван, кресла и стулья были обиты тисненым дорогим ситцем, с красивыми букетами, перед диваном стоял стол, а возле кабинетной двери налево диванчик в виде французской буквы S и несколько маленьких столиков. У углового окна стояло кресло, на котором любил сидеть Федор Михайлович, и близ окна куст волкомерии в деревянной кадочке. На окнах и дверях висели занавески; в остальных комнатах также было убрано мило, просто и уютно**.

Прислугой у Достоевских был один денщик, по имени Василий, которого они отдавали учить кулинарному искусству; в продолжение всей военной службы Достоевского он был у них поваром, лакеем и кучером. Достоевские отзывались о нем как о человеке незаменимом. Во время болезни Федора Михайловича

* Письмо к Врангелю от 9 марта 1857 г.

**Это подлинные слова Зинаиды Артемьевны Сытиной (дочери Артемия Ивановича Гейбовича – офицера и, кажется командира роты, где служил офицером Достоевский). С Гейбовичем и всей семьей его Достоевские были в дружеских отношениях, на что указывает письмо Достоевского Гейбовичу из Твери (23 октября 1859 г.), напечатанное в «Ист. вестн.» 1885 г., январь; в этой же книжке помещено несколько страниц о Достоевском З.А. Сытиной

ча, когда с ним случались припадки эпилепсии, Василий ходил за ним, как за ребенком. После отъезда из Семипалатинска Достоевских Василий поступил к А.И. Гейбовичу, у которого прожил до 1865 г., почти ежедневно вспоминая о своих добрых господах Достоевских. Василий даже писал письма Достоевским в Тверь.

Федор Михайлович, несмотря на то что жил очень скромно, часто нуждался в деньгах. Да и понятно: жалованье было незначительное, а литературным трудом стал зарабатывать гораздо позднее: долго не разрешали печатать, хотя давно уже было кое-что готово у него к печати. Жить же было надо, а обзаводиться пришлось, по словам самого Достоевского, начиная с рубашек...^{*} Пришлось еще выкупать некоторые вещи (даже образа) жены, бывшие в закладе у дьячка Петра Вас. Хлынова, в доме которого Исаевы жили и были ему должны.

Чтобы поддержать свое существование, Достоевский взял вперед под свой роман у Каткова 500 руб., часто тормозил брата Михаила, который, нужно сказать, никогда не отказывал ему в деньгах, хотя и у самого с папиросной фабрикой были дела шаткие, перехватил у родственника Куманина – 600 руб., и все это в счет будущих благ... На эти-то средства, совершенно ему не принадлежащие, Федор Михайлович перебивался, пока не получил (по разрешении печатать) за повесть для «Русского слова» от Кушелева 1000 руб.

Деньги Достоевский расходовал, кроме своих домашних нужд, очень умеренных, и на бедных.

Содержал долгое время слепого старика-татарина с семьей. По словам З.А. Сытиной («Исторический вестник», 1885 г., январь), Мария Дмитриевна несколько раз ездила с ней отвозить месячную провизию и деньги этому несчастному старику-слепцу. Не отказывал и другим совершенно несчастным беднякам.

«У Федора Михайловича, – пишет З.А. Сытина в своих воспоминаниях о Достоевском, – было немало знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него об-

^{*} Письмо Ф.М. Достоевского из Семипалатинска от 25 января 1857 г.

ласканный. Вообще для нас, сибиряков, Достоевский личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моих отца и матери, и, наверное, таким же его помнят все знавшие его в Сибири».

У Федора Михайловича часто бывал вместе со своей женой солдат-поляк Нововейский, тихий, скромный, болезненный человек. Жена его была из простых. Достоевские были очень любезны с ними: угощали чаем, оставляли обедать. Федор Михайлович любил поговорить с Нововейским и всегда помогал им в материальном отношении.

Достоевский бывал у своих друзей и хороших знакомых, но большею частью проводил время дома за литературным трудом. Писал он много, просиживал ночи напролет.

Кстати могу привести один факт. Лет десять тому назад я слышал от кого-то из бывших квартирантов дома Лепухиных следующее. Стены дома были покрыты обоями. Всякий раз при оклейке новыми обоями старые обои не удалялись... А так и наклеивались новые на старые. С годами образовался толстый слой (бумажная кора), который, наконец, совершенно отстал от стены. Пришлось всю эту гадость оборвать... что и было сделано. Квартиранты заметили, что под первыми обоями были листы писчей бумаги, исписанные почерком, очень похожим на почерк Достоевского... Обратились к хозяйке Лепухиной. Эта довольно пожилая и разговорчивая женщина рассеяла всякие сомнения, сообщив квартирантам, что у нее от Федора Михайловича (которого нередко вспоминала с удовольствием, как хорошего господина-квартиранта) было много разной писаной бумаги... Бумага эта ей пригодилась для домашнего обихода: то кринки с молоком обвертывали, вместо покрышек, то вот стены оклеивали....

Сами собой напрашиваются вопросы: что это за рукописи? И как они попали в руки простодушной хозяйки? Может быть, их дал ей сам Достоевский, как ненужные ему; но, может быть, что случайно оставил их при отъезде из Семипалатинска... Трудно правильно предположить. Во всяком случае эти рукописи могли бы иметь и другое применение... Но прошлого не воротить.

Основываясь на письмах Достоевского к разным лицам и по некоторым другим точным данным, можно смело и безошибочно установить, что в Семипалатинске Федором Михайловичем были написаны: «Село Степанчиково» для «Русского вестника»

и «Дядюшкин сон» для «Русского слова». Здесь же обдумывались, вероятно, и «Записки из Мертвого дома».

О времени разрешения печатать произведения Достоевского точного указания мне нигде найти не удалось. Из двух же писем к брату Михаилу видно следующее. Из первого (от 1 апреля 1858 г.), что Ф.М. недоволен появлением в печати своей «Детской сказки»*, помещенной в августовской книжке «Отечественных записок», так как он предполагал ее капитально переделать. Из второго письма (11 апреля 1858 г.), что Ф.М. получил от издателя «Русского слова» Кушелева 1000 руб. с «похвалами» и ожидает книжку «Русского слова», где помещена повесть «Дядюшкин сон». В этом же письме Ф.М. сообщает: 1) об отсылке Каткову для «Русского вестника» романа, несравненно лучшего, чем «Дядюшкин сон», и 2) о надежде видеть этот роман в августовской или сентябрьской книжке. Несомненно говорится о «Селе Степанчикове».

Вывод такой – Достоевский, после своей беды: ареста, крепости, каторги и солдатчины, начал вновь печатать свои произведения в 1858 г., т.е., когда жил и служил в Семипалатинске.

В том же 1858 г., государем Александром II Достоевскому было возвращено потомственное дворянское достоинство.

18 марта 1859 г., благодаря ходатайству генерал-адъютанта Э.И. Тотлебена, состоялся высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни прапорщика Достоевского с награждением следующим чином**.

19 мая того же года командиром 2-й бригады было получено от начальника 24-й пехотной дивизии (из г. Тобольска) предписание от 8 мая за № 2251. Это предписание сохранилось в архиве штаба. Вот содержание этой бумаги.

«Дежурный генерал главного штаба его императорского величества 27 марта за № 318 уведомил, что высочайшим приказом, в 18 день минувшего марта состоявшимся, прапорщик

* «Детская сказка» была написана или до ареста или, вернее, в крепости, до ссылки. Не о ней ли Ф.М. говорил Пальму, в день казни, на эшафоте?

** Из приказов в Семипалатинске удалось найти только приказ по отдельному сибирскому корпусу от 29 апреля 1859 г., № 46, где говорится: «Высочайшим его императорского величества приказом, последовавшим в 18 день марта, увольняется от службы сибирского линейного батальона № 7-го прапорщик Достоевский, за болезнью, подпоручиком».



Сибирского линейного № 7-го батальона, из политических преступников, Достоевский уволен за болезнь от службы с награждением следующим чином.

К сему свиты его величества генерал-майор Герштенцвейг присовокупил, что об учреждении за подпоручиком Достоевским секретного надзора, по избранному им месту жительства в городе Твери, и о воспрещении ему въезда в губернии С.-Петербургскую и Московскую, вместе с сим сообщено министру внутренних дел и управляющему III Отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Вследствие отзыва господина начальник штаба отдельного Сибирского корпуса, от 28 минувшего апреля, № 2586, имею честь уведомить ваше превосходительство для сведения. Подписано: начальник дивизии генерал-лейтенант Домете и начальник дивизионного штаба, подполковник Бабков».

В этой официальной бумаге говорится: «по избранному им месту жительства в городе Твери...» В действительности же Достоевский в своем прошении об отставке изъявил желание жить в Москве*, но ему указали (без всякого со стороны его желания) место жительства в Твери.

30 июля 1859 г. Достоевскому был выдан временный билет на проезд до г. Твери.

Вскоре после этого он и уехал из Семипалатинска.

Источники

Статья А. В. Скандина из книги:

Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Санкт-Петербург «Андреев и сыновья». 1993. 331 с.

Достоевский в Семипалатинске С. 96 -113

* Изъявлять желание жить в столицах Достоевский, конечно, не имел права: ему с грехом пополам разрешено было с выходом в отставку жить в Европейской России.

*Татьяна ТИТАЕВА,
главный хранитель фонда музея Ф.М. Достоевского*

ДРУЖБА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА

Круг друзей и знакомых Федора Михайловича во время его пребывания в нашем городе был достаточно обширным. Теплые отношения сложились у него с командиром батальона подполковником Белиховым, которому он читал вслух газеты, оставаясь потом на обед. В доме Белихова познакомился Достоевский с многими местными чиновниками, с которыми впоследствии общался довольно дружески. На квартире адъютанта Демчинского он встречался со своим давним знакомым, известным ученым П.П. Семеновым-Тянь-Шанским. В жизни Достоевского принимал самое горячее участие, прибывший, в том же, 1854 г. на службу в Семипалатинск, окружной прокурор А.Е. Врангель.

Но особенно теплые дружеские отношения связывали писателя со славным сыном казахского народа Ч.Ч. Валихановым. Их знакомство состоялось еще в Омске, в доме Ивановых, в первые же дни после освобождения писателя из каторги.

Молодому офицеру Валиханову было всего 19 лет, когда он познакомился с бывшим членом кружка петрашевцев, писателем, проповедовавшим гуманистические идеалы, и к которому демократическая интеллигенция Омска испытывала уважение и сочувствие. В книге барона Врангеля «Воспоминания о Достоевском в Сибири» читаем такие строки: *«Из немногих посещавших нас последнее время лиц помню, между прочим, заехал проездом, чтобы повидать Достоевского, молодой, премилый офицер-киргиз, воспитанник Омского кадетского корпуса, внук последнего хана Средней Орды Мухаммед-Ханафия Валиханов...< > Валиханов имел вид вполне воспитанного, умного и образованного человека. Мне он очень понравился, и Достоевский очень был рад повидать его»*. Направляясь в свои знаменитые экспедиции, Валиханов обязательно навещал Достоевского. Их письма друг другу полны теплоты и искренности: *«Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, – писал Валиханов 5 декабря 1856 г., – что теперь только о том и думаю, как еще побывать у Вас. Я не*



мастер писать о чувствах и расположении, но думаю, что это ни к чему. Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю».

Ответное письмо Достоевским было написано 14 декабря 1856 г. *«Письмо Ваше, добрейший друг мой, передал мне Александр Николаевич. Вы пишете мне, что меня любите. А я Вам объявляю без церемоний, что я в Вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам, и Бог знает, как это сдела-*

лось. Тут бы можно многое сказать в объяснение, но чего Вас хвалить! Вы, верно и без доказательства верите моей искренности, дорогой мой Вали-хан, да если б на эту тему написать 10 книг, то ничего не напишешь: чувство и влечение – дело необъяснимое. Когда мы простились с Вами из возка, нам всем было грустно после целый день. Мы всю дорогу вспоминали о Вас и взапуски хвалили».

И, наконец, самые известные строки из письма Федора Михайловича:

«... Например, не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и Ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещенным ходатайством за нее у русских. Вспомните, что Вы первый киргиз – образованный по-европейски вполне. Судьба же Вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав Вам и душу и сердце. Нельзя, нельзя отставать; настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно. А ведь возможно всё, будьте уверены. Не смейтесь над моими утопическими соображениями и гаданиями о судьбе Вашей, мой дорогой Вали-хан. Я так Вас люблю, что мечтал о Вас и о судьбе Вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу Вашу. Но среди мечтаний была одна действительность: это то, что Вы первый из Вашего племени, достигший образования европейского. Уж один этот случай поразителен, и сознание о нем невольно налагает

на Вас и обязанности. Трудно решить: какой сделать Вам первый шаг. Но вот еще один совет (вообще) – менее загадывайте и мечтайте и больше делайте: хоть с чего-нибудь да начните, хоть что-нибудь да сделайте для расширения карьеры своей. Что-нибудь все-таки лучше, чем ничего. Дай Вам Бог счастья».

Проницательный взор Достоевского рассмотрел в молодом блестящем офицере гуманиста, мыслителя и защитника обездоленных. Он высоко ценил дарование молодого ученого и возлагал на него большие надежды в деле просвещения простого казахского народа. За то время, которое им удалось провести вместе, они успели подружиться, поговорить о многом, что волновало и касалось не только лично каждого, а имело большое общественное значение.

Семипалатинский период жизни Достоевского, несомненно, имеет огромное значение в жизни и его дальнейшем творчестве. Дружба с Валихановым, общение с людьми из мусульманской среды способствовали тому, что Достоевский видел свой путь к процветанию государства и его граждан – не через подавление и ущемление представителей иных народов, а «в свободнейшем и самостоятельном развитии всех других наций и в братском единении с ними».

А.Е. ВРАНГЕЛЬ – ДРУГ ДОСТОЕВСКОГО

Врангель Александр Егорович (1833-1915), барон, дипломат, юрист и археолог, автор «Воспоминаний о Ф.М. Достоевском в Сибири. 1854-1856 гг.». Еще будучи подростком, он зачитывался произведениями Достоевского, в декабре 1849 г. присутствовал на инсценировке казни «петрашевцев», и до конца своих дней берегал воспоминания о дружбе с писателем, оставившем такой значительный след в его жизни. Когда Врангель отправлялся служить в далекий провинциальный город на Иртыше, старший брат Достоевского, Михаил Михайлович, обратился с просьбой: передать брату письмо, книги, деньги и кое-какие вещи...

Вот каким впервые увидел Врангель автора «Бедных людей»...

«...Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезнен-



но-бледным лицом, покрытым веснушками. Светло-русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими умными, серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу, – что, мол, я за человек?..»

А вот какую характеристику ему давал сам Достоевский, рекомендуя в письмах друзьям своего сибирского товарища: *«Письмо это доставит Вам Александр Егорович, барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лица с великодушной мечтой узнать край, быть полезным и т.д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень. (А. Майкову. 18 января 1856 г.)*

В 1853 г., будучи одним из лучших выпускников Александровского лицея, Врангель по настоянию отца год прослужил в Министерстве юстиции, а затем выбрал себе службу в только что учрежденной Семипалатинской области, куда и отправился на должность областного прокурора. Его особенно тянула в эти дальние, неведомые страны «страсть к наукам, к естественной истории, к путешествиям и к охоте. Сибирь в то время была малоизвестна. О ней говорили тогда даже образованные люди, как о стране чуть ли не вечных снегов, юдоли и печали; благодаря местам ссылки, ее называли «каторжной», и все, кто ехал туда, считались чуть ли не пропавшими...» С началом знакомства Врангеля с Достоевским, жизнь и положение опального писателя-петрашевца значительно стали меняться в лучшую сторону. Ни разница в положении, ни разница в возрасте (Врангель был на 12 лет моложе Федора Михайловича) не помешали им по-на-

стоящему сдружиться. Врангель ввел Достоевского в семипалатинское общество, помогал ему деньгами, горячо хлопотал о присвоении ему офицерского чина и разрешении вернуться в Центральную Россию, хлопотал по устройству дел Марии Дмитриевны Исаевой, которую так сильно любил писатель. В то время Достоевский почти ежедневно бывал у Врангеля, оставался за просто обедать, делился своими переживаниями об отношениях с любимой женщиной.



В это время он задумал, а вскоре и написал свои комические повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». Александр Егорович становился первым слушателем и зрителем его попыток вернуться к прежней жизни, особенно к литературной деятельности: *«...В эти минуты он был в заразительно веселом настроении, хохотал и рассказывал мне о приключениях дядюшки...»*

А летом, снимая дачу «Казачков Сад», Врангель предлагает Федору Михайловичу переехать к нему. Еще зимой были выписаны семена цветов и овощей, на дворе заблаговременно устроены парники и подготовлена рассада. *«...Достоевского это чрезвычайно радовало и занимало, и не раз вспоминал он свое детство и родную усадьбу».*

В 1856 г. Врангель уезжает обратно в Петербург, и помимо прочих причин, подтолкнувших его на это, было стремление более действенно хлопотать об амнистии Достоевского. Сам Федор Михайлович тоже возлагает большие надежды на помощь Врангеля и вместе с тем радуется тому, что, покинув провинциальный Семипалатинск, Александр Егорович может получить место, которое будет ему по душе и которого он достоин...

Переписка между Достоевским и Врангелем наполнена словами взаимного уважения и доброй привязанности:

А.Е. Врангелю Семипалатинск, 13 апреля 1856 г.

«Пишите Вы, добрейший и незабвенный друг мой, что в июле рассчитываете быть в Сибири и проехать через Семипалатинск. Вы не поверите, как я обрадовался, что Вы не перемени-

ли своих намерений и хотите возвратиться в Сибирь, а к зиме даже располагаете устроиться в Барнауле. Я Вас буду ждать как солнца».

Ф.М. Достоевскому, Копенгаген, 10 (22) ноября 1864 г.

«Добрейший друг Федор Михайлович, Вы будете, быть может, удивлены получить от меня, после четырехлетнего молчания, эти строки. Часто я вспоминал нашу прежнюю горячую дружбу, часто собирался писать и все откладывал в долгий ящик, и, о стыд, промолчал три с половиною года! Три раза добирался из Турции (где служил) до Берлина, надеясь обнять вас, моего незабвенного друга, и всякий раз вследствие непредвиденных обстоятельств – не добирался до цели. «Кто старое помянет – тому глаз вон». Забудем же это долгое взаимное молчание и потолкуемте вместе душа в душу, как это бывало в прошлые годы в степях отдаленной Сибири в старой избушке или в моем развалившемся palazzo, на берегах Иртыша. Часто, друг мой, вспоминаю я про наши длинные, как те дни горя и тоски, беседы, при всей тогдашней грустной обстановке эти воспоминания прошлого имеют для меня свою прелесть...»

После отъезда Достоевского из Семипалатинска и возвращения в Петербург, его переписка с Врангелем то прекращалась, то возобновлялась, да и встречи были крайне редкими. И не только потому, что Врангель кочевал по миру как дипломат и путешественник. В значительной степени частота общения и переписка зависела от Федора Михайловича... Слишком много самых разных событий происходило в его жизни в эти годы, отбирая душевные и физические силы, лишая возможности полностью посвятить себя творчеству...

Да, впереди у писателя было еще неполных 16 лет жизни, второй брак, рождение детей и создание его великих романов. Для барона Врангеля, прожившего долгую жизнь (82 года), и которому довелось общаться со многими выдающимися людьми, время общения с писателем окажется самым ярким впечатлением и событием его жизни. Подводя итоги жизненного пути, за три года до кончины он издает мемуары о писателе «Воспоминание о Достоевском в Сибири 1854-1856 гг.», С-Петербург, 1912.

И именно этому удивительному человеку писал в письме Достоевский: «Я Вас буду ждать как солнца».



ПОВЕСТИ



ДЯДЮШКИН СОН

ГЛАВА I

Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, – отчего она, при всем этом, умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии; сплетники – краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандальные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в непрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика! – Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным *comme il faut*^{*}, с которого все берут образец. Насчет *comme il faut* она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это

* Умением себя держать (фр.).

слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах, она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостью их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома *in quarto*^{*}, так был обворожен приемом и любезностью Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку и из самого Карльсруэ. Марью Александровну сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не *gentilhomme*^{**} хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и – ничего! Все оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвееч, лишился своего места за неспособностью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить,

^{*} В одну четверть листа (лат.).

^{**} Дворянин (фр.).

умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.

Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвейче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидел новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстуке. Но вся эта сановитость и представительность – единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостойн принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он мог бы приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвейча в подгородную деревню, в трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ, – мимоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвейча при себе единственно за то, что он служил и получал жалованье и... другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностию и совершенною бесполезностию. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвейч живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час и довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели; три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и – доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас, года пол-

тора назад, по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвейча? Зинаида, бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одною из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора года назад, с уездным училищкой, – слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове, но скажите: кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку (я даже думаю, что это было непременно так): какова же ловкость со стороны Марьи Александровны! каково замято, затушено неловкое, скандальное дело! Ни следа, ни намека! Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть, бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине только разве быть за владетельным принцем. Видали ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда – молод, недурен собою, франт, полтора ста незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то новейшими идеями! Да и что такое полтора ста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!

Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое

и осталось у меня в столе, в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев – и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более: князь произвел, в некотором смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить: что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны, – а для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.

ГЛАВА II

Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится: до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи, самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который мог бы иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, все, что я мог узнать о нем достоверного.

Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, во-

лочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и, в старости, увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностью самого высшего общества, а потому, вместо досады, производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку – все, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особенным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему, при каком-то другом походе, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было, однако же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожи-

дать наследства, – умерла, похоронив, ровно за месяц до своей смерти, своего законного наследника. Князь, совершенно неожиданно, сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобретенное имение) и давал слово, что по возвращении у него будут непрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями.

Наконец князь воротился, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно, из боязни, что он опять все промотает. Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполнину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове? Все это, как рассказывали, ужасно испугало князя, до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но – или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал своих

прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор.

Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали наконец одну капитальную вещь, именно: что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения; что она даже моет его своими руками; балует его, носит и тешит как ребенка; что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно; отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков; что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках, на всякий случай, – потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветков, васильков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет, на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» – то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему «*Bonjour, mon ami, bonjour!*»*, и много подобных слухов ходило в Мордасове;

* Здравствуй, друг мой, здравствуй! (фр.).

князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Все переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.

ГЛАВА III

Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуrom, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней стены – превосходный рояль, выписанный для Зины: Зина – музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности, в живописном беспорядке; между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве бедной родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка с свежим цветом лица

и с живыми темно-карими глазами. Вообще недурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обдeldывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасна обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и острогу. Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучею, дивною грудью. Ее плечи и руки – античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда; по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее высока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет; впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, – не из маменькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее: чьи это волосы?

В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.

– Я так рада, так рада, Павел Александрович, – щебечет она, – что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного; это уж само собой! Я ужасна рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка! Но нет, нет! вы не поймете меня! вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки... Вы не поверите, Павел Александрович: я была его руководительницей, сестрой, матерью! Он слушался меня как ребенок! было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи; что-то даже как-будто пастушеское... Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностью, *se pauvre prince!** Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне! Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей! Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи... и... покамест он еще сидит за своим туалетом...

– Да все то же, что уже рассказывал, Марья Александровна! – с готовностью подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз, – это составляет для него наслаждение. – Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал, – можете себе представить, как я спешил! – прибавляет он, обращаясь к Зине, –

* Этот бедный князь! (фр.).

одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у нее пропало молоко... Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик – тоже русская душа, спешим на подмогу и, таким образом, вшестером поднимаем наконец экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. Думаю: верно, это тот самый князь! Смотрю: боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! Кричу ему: «Князь! дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас же почти узнал... со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает – кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил, – ну, а ему-то где ж меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными глазами! То да се, – уговорил его наконец пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно... Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает; что

Степанида Матвеевна, – а уж из нас, родственников, кто не слышал про Степаниду Матвеевну? – она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала, – что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-нибудь племянника, служащего по питейной части... Одним словом, она до того была сконфужена, что дней на десять решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадил, фабрил, загадал было на картах (может быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степаниды Матвеевны! приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить; но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и, на самом повороте к иеромонаху Мисаилу, полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне; он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал, и вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с помощью своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать – исправлений... Вот и вся история! *Eine allerliebste Geschichte!* *

– Но какой он юморист, Зина! – вскрикивает Марья Александровна, выслушав, – как он это мило рассказывает! Но, послушайте, Поль, – один вопрос: объясните мне хорошенько ваше родство с князем! Вы называете его дядей?

– Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько; а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню; она-то и протурила меня ехать к нему, прошлого лета, в Духаново. Съездила бы сама! Просто-запросто я

* Премилая история! (нем.)

называю его дядюшкой; он откликается. Вот вам и все наше родство, на сегодняшний день по крайней мере...

– Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надумать привезти его прямо ко мне! Я трепещу, когда вообразу себе, что бы с ним было, бедняжкой, если б он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне? Да его бы здесь расхватили, разобрали по косточкам, съели! Бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь, – пожалуй, обокрали бы его? Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович!..

– Ах, боже мой, да к кому же его и привезти, как не к вам, – какие вы, Марья Александровна! – подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. – Ведь не к Анне же Николаевне везти его, как вы думаете?

– Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно, – говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места.

– Дядюшка-то? Да, я думаю, он еще пять часов будет там одеваться! К тому же так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна!

– Ах, полноте, пожалуйста, что вы!

– Все не что вы, Марья Александровна, а сущая правда! Ведь это полуконпозиция, а не человек. Вы его видели шесть лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник! Ведь это только воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить! Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах!

– Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю! – восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид. – И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка! Не говоря уже о его беспримерной доброте, – и голос ее принимает какое-то трогательное выражение, – вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, mon ami! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но боже мой! Я и сама – ваших новых идей! Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное; но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я ви-

дела больше вас, и, наконец, я мать, а вы еще молоды! Он старичок, и потому, на ваши глаза, смешон! Мало того: вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю и что надобно же что-нибудь сделать для века, и все это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира! Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь, князь и в лачуге будет как во дворце! А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил, – и все-таки он только муж Натальи Дмитриевны, и ничего больше! Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, – все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. Вы тоже, отчасти, представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужою ему, – а дурное то дитя, которое марает свое гнездо! Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, *mon cher Paul*^{*}, и забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренни, а так только, модничаете. Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, *mon cher Paul*, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людишками...

И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомня о своих людишках.

– Марья Александровна, кажется, очень рады, что князь не достался этой франтихе, Анне Николаевне. А ведь уверяла всё, что родня ему. То-то разрывается, должно быть, теперь от досады! – заметила Настасья Петровна; но заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом, из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать.

Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении; голос его дрожал.

– Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня? – проговорил он с робким и умоляющим видом.

^{*} Мой милый Поль (франц.).

– На вас? За что же? – сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза.

– За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна! Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели... Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою участь... Но вы хмуритесь, вы сердитесь! Неужели и теперь я не узнаю ничего решительного?

Зинаида действительно нахмурилась.

– Я ожидала, что вы заговорите об этом, – отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада. – И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то, чем скорее оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ все тот же, как и прежде: подождите! Повторяю вам, – я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашей женою. Этого не требуют насильно, Павел Александрович. Но, чтобы успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительна к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободною в своем решении, и если я вам скажу, наконец, что я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадежила. Итак, знайте это.

– Итак, что же это, что же это! – вскричал Мозгляков жалобным голосом. – Неужели это надежда! Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна?

– Припомните всё, что я вам сказала, и извлекайте всё, что вам угодно. Ваша воля! Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только: ждите. Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович: если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтоб действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например, хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь – довольно, и, пожалуйста, до известного времени не поминайте мне об этом ни слова.

Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Марья Александровна. За нею, почти тотчас же, госпожа Зяблова.

– Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Петровна, скорее, заварите нового чаю! – Марья Александровна была даже в маленьком волнении.

– Анна Николаевна уже присылала навеститься. Ее Анютка прибежала на кухню и расспрашивала. То-то злитесь теперь! – возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару.

– А мне какое дело! – сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой. – Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна? Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны, да и не вы одна, а все в городе? Я на вас пошлюсь, Павел Александрович! Вы знаете нас обеих, – ну из чего я буду врагом ее? За первенство? Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая! Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с первенством. И наконец – все это несправедливо. Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На нее клеветают. За что вы все на нее нападаете? она молода и любит наряды, – за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая – такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, – соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные накладки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей бог не дал вкуса, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, – но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, боже мой! еще бы муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, может быть, и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!.. Но боже мой! вот и князь! Это он, он! Я узнаю его! Я узнаю его из тысячи! Наконец-то я вас вижу, mon prince!* – вскри-

* Мой князь (фр.).

чала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.

ГЛАВА IV

С первого, беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика и, только взглянув поближе и попристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтоб закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительные парик, бакенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись? – неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее – все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, – может быть, от старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву э. Да у него как-то выходит ддэ, но только еще немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжение всей франтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы! не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже уменье, чтоб с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и, при виде князя, приходит в неизреченный восторг.

– Но вы ничего, ничего не переменялись! – восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. –

Садитесь, садитесь, князь! Шесть лет, целых шесть лет не виделись, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время! О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, mon cher prince! Но – чаю, чаю! Ах, боже мой, Настасья Петровна, чаю!

– Благодарю, благодарю, вин-но-ват! – шепелявит князь (мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по моде). – Ви-но-ват! и представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать, – прибавляет он, лорнируя комнату. – Да напугали: тут, говорят, холера была.

– Нет, князь, у нас не было холеры, – говорит Марья Александровна.

– Здесь был скотский падеж, дядюшка! – вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом.

– Ну да, скотский падеж или что-то в этом роде... Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Все по своей прокурорской части?

– Н-нет, князь, – говорит Марья Александровна, немного заикаясь. – Мой муж не про-кур-ор...

– Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову! – вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покорило.

– Ну да, да, Анну Николаевну, и-и... (я все забываю!). Ну да, Антиповну, именно Анти-повну, – подтверждает князь.

– Н-нет, князь, вы очень ошиблись, – говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. – Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете! Вы меня удивили, князь! Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну?..

– Марью Александровну! представьте себе! а я именно полагал, что вы-то и есть (как ее) – ну да! Анна Васильевна... C'est delicieux!* Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь меня к этой Анне Матвеевне. C'est charmant!** Впрочем, это со мной часто случается... Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всегда доволен, что б ни случилось. Так вы не Настасья Васильевна? Это интересно...

* Это восхитительно! (фр.).

** Это очаровательно! (фр.).

– Марья Александровна, князь, Марья Александровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего лучшего, лучшего друга!

– Ну да, лучшего друга... pardon, pardon!* – шепелявит князь, заглядываясь на Зину.

– А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в -м году?

– Это ваша дочь! Charmante, charmante! – бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину. – Mais quelle beauté! – шепчет он, видимо пораженный.

– Чаю, князь, – говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки.

– А-а-а, это ваш мальчик? – говорит он. – Какой хо-ро-шенький мальчик!.. и-и-и, верно, хо-ро-шо.. ведет себя?

– Но, князь, – поспешно перебивает Марья Александровна, – я слышала об ужаснейшем происшествии! Признаюсь, я была вне себя от испуга... Не ушиблись ли вы? Смотрите! этим пренебрегать невозможно...

– Вывалил! вывалил! кучер вывалил! – восклицает князь с необыкновенным одушевлением. – Я уже думал, что наступает светопреставление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что – прости меня, угодник! – небо с овчинку показалось! Не ожидал, не ожидал! совсем не о-жи-дал! И во всем этом мой кучер Фе-о-фил виноват! Я уж на тебя во всем надеюсь, мой друг: распорядись и разыщи хорошенько. Я у-ве-рен, что он на жизнь мою по-ку-шался.

– Хорошо, хорошо, дядюшка! – отвечает Павел Александрович. – Все разыщу! Только послушайте, дядюшка! Простите-ка его, для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?

– Ни за что не прощу! Я уверен, что он на жизнь мою по-ку-шался! Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите: нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось... Одним словом: коммунист, в полном смысле слова! Я уж и встречаться с ним боюсь!

– Ах, какую вы правду сказали, князь, – восклицает Марья Александровна. – Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек! Вообразите: я теперь переменила двух из

* Простите, простите! (фр.).

моих людей, и признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!

– Ну да, ну да! Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп, – замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. – К лакею это как-то идет, – и даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случаях. Са-но-ви-тости в нем оттого как-то больше, торжественность какая-то в лице у него является; одним словом, благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от человека благовоспитанности. Вот у меня Те-рен-тий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Те-рен-тия? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фено-менально! смотрит, как баран на воду! Но какая са-но-витость, какая торжественность! Кадык такой, светло-розовый! Ну, а – ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет, – такой важный вид! одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный *comme il faut* для служащего человека!..

Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца: его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина.

– Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь! – восклицает Марья Александровна. – Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту!.. И исчезнуть из общества, запереться на целых пять лет! С таким талантом! Но вы бы могли писать, князь! Вы бы могли повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!..

– Ну да, ну да! – говорит вседовольный князь, – я могу повторить... и, знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены во-де-виль написал... Там было несколько вос-хи-ти-тельных куплетов! Впрочем, его никогда не играли...

– Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати! У нас же собираются составить театр, – для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых... вот бы ваш водевиль!

– Конечно! Я даже опять готов написать... впрочем, я его совершенно за-был. Но, помню, там было два-три каламбура та-

ких, что (и князь поцеловал свою ручку)... И вообще, когда я был за гра-ни-цей, я производил настоящий fu-ro-re*. Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской но-ге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.

– Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка, что вы?

– Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно, не лорд Байрон, а один поляк! Я теперь совершенно припоминаю. И пре-ори-гинальный был этот по-ляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только вос-хи-ти-тельно танцевал краковяк и, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил:

Наш поляк

Танцевал краковяк...

А там... а там, вот уж дальше и не припомню...

А как ногу сломал,

Танцевать перестал.

– Ну, уж верно, так, дядюшка? – восклицает Мозгляков, все более и более приходя в вдохновенье.

– Кажется, что так, друг мой, – отвечает дядюшка, – или что-нибудь по-добное. Впрочем, может быть, и не так, но только преудачные вышли стишки... Вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий.

– Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении? – интересуется Марья Александровна. – Я так часто думала о вас, mon cher prince, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее...

– Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много за-ня-тий. Когда – отдыхаешь; а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи...

– У вас, должно быть, чрезвычайно сильное воображение, дядюшка?

– Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом уд-див-ляюсь. Когда я был в Кадуеве... А proros!** ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был?

– Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! – восклицает Павел Александрович.

– Представь себе, мой друг! а я тебя все принимал за вице-губернатора, да и думаю: что это у него как будто бы вдруг стало

* Фурор (итал.).

** Кстати! (фр.).

совсем другое ли-цо?.. У того, знаешь, было лицо такое о-са-ни-стое, умное. Не-о-бык-новенно умный был человек и всё стихи со-чи-нял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового короля был похож...

– Нет, князь, – перебивает Марья Александровна, – клянусь, вы погубите себя такой жизнью! Затвориться на пять лет в уединение, никого не видеть, ничего не слышать! Но вы погибший человек, князь! Кого хотите спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы – погибший человек!

– Неужели? – восклицает князь.

– Уверяю вас; я говорю вам как друг, как сестра ваша! Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна! Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь, – иначе вы заболаете, вы истощите себя, вы умрете...

– Ах, боже мой! Неужели так скоро умру! – восклицает испуганный князь. – И представьте себе, вы угадали: меня чрезвычайно мучит геморрой, особенно с некоторого времени... И когда у меня бывают припадки, то вообще у-ди-ви-тельные при этом симптомы... (я вам подробнейшим образом их опишу). Во-первых...

– Дядюшка, это вы в другой раз расскажете, – подхватывает Павел Александрович, – а теперь... не пора ли нам ехать?

– Ну да! пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю... Но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды... Напомни мне, мой друг, я тебе уж вечером расскажу один случай в подробности...

– Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей, – перебивает еще раз Марья Александровна.

– За границей! Ну да, ну да! Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в двадцатых годах, там было у-ди-ви-тельно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой и восторжествовал, один немецкий барон; он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел.

– Но, cher prince, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики... и, сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время, ваше Духаново.

– Неп-ре-менно! Я уже давно решил и, знаете, намерен лечиться гид-ро-па-тией.

– Гидропатией?

– Гидропатией. Я уже лечился раз гид-ро-па-тией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня, я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вы-шел: свою дворовую девку, осердясь, убила и за то под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен; ну, пристали ко мне: «Лечись да лечись!» Я, из деликатности, и начал пить воду; думаю: и в самом деле легче сде-лается. Пил-пил, пил-пил, выпил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так что если б я наконец не забо-лел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров...

– Вот это совершенно справедливое заключение, дядюшка! Скажите, дядюшка, вы учились логике?

– Боже мой! какие вы вопросы задаете! – строго замечает скандализированная Марья Александровна.

– Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же все совершенно забыл. Но... признаюсь вам... вы меня так испугали этими болезнями, что я... весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь...

– Но куда же вы, князь? – вскрикивает удивленная Марья Александровна.

– Я сейчас, сейчас... Я только записать одну новую мысль... au revoir...*

– Каков? – вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом.

Марья Александровна теряет терпенье.

– Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь! – начинает она с горячности. – Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротой! Я краснела за вас, Павел Александрович! Но, скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного.

* До свидания (фр.).

– Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается?

– Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал; вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, вопиет! Его, решительно, надо спасти! Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту... торговку!

– Знаете ли что? его надо женить, Марья Александровна! – восклицает Павел Александрович.

– Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье Мозгляков!

– Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я говорю совершенно серьезно! Почему ж не женить? Это тоже идея! *C'est une idée comme une autre!** Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его! По закону, он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи (извините за выражение). Во-вторых, и главное, представьте себе, что он выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним, как дочь, и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой... бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?

– Да где же вы найдете такую невесту? – спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.

– Вот так сказали; да хоть бы вы, если только угодно! Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых – вы хорошенькая, во-вторых – вдова, в третьих – благородная, в-четвертых – бедная (потому что вы действительно небогатая), в-пятых – вы очень благоразумная дама, следственно, будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните ту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфетами, все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бранный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через два месяца с половиною. Тогда вы – княгиня, вдова, богачка и,

* Эта идея не хуже других! (фр.).

в награду за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта! C'est li,* не правда ли?

– Фу ты, боже мой! да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если б он только сделал мне предложение! – восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. – Только все это – вздор!

– Вздор? хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если же сегодня же не будете его невестою! Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку! Он на все говорит: «Ну да, ну да!» – сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим; да ведь для его же пользы, помилосердуйте!.. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна!

Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, потекли, однако же, слюнки.

– Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем замарашка, – отвечает она. – Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье... А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?

Все это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миною в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев... Наконец она опомнилась.

– Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость, а главное, совершенно некстати, – резко прерывает она Мозглякова.

– Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и некстати?

– По многим причинам, а главное, потому, что вы у меня в доме, что князь – мой гость и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Александрович. Но слава богу! вот и князь!

– Вот и я! – кричит князь, входя в комнату. – Удивительно, cher am, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты и не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сию целый день.

– Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот...

* Это блестяще (фр.).

– Я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже полезным; так что я решился простить моего Феофила. Знаешь что? мне кажется, он не покушался на мою жизнь; ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили.

– Бороду сбрили, дядюшка! Но у него борода с немецкое государство?

– Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих заключениях. Но это искусственная. И представьте себе, какой случай: вдруг присылают мне прейс-курант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бороды, равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее, и все это лучшего качества и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бороду, хоть поглядеть, – что такое? Вот и выписал я бороду кучерскую, – действительно, борода заглядение! Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал-думал и решил, что уж лучше носить искусственную.

– Вероятно, потому, что искусство выше природы, дядюшка!

– Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду сбрили! Как будто со всей своей карьерой, с бородой расставался... Но не пора ли нам ехать, мой милый?

– Я готов, дядюшка.

– Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору! – в волнении восклицает Марья Александровна. – Вы теперь мой, князь, и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать: к тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь, я трепещу за вас, князь! Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере, до времени!..

– Положитесь на меня, Марья Александровна. Все, как я вам обещал, так будет, – говорит Мозгляков.

– Уж вы, ветреник! положишься на вас! Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне! как бы рад он был вас увидеть! Он так вас уважает, так душевно вас любит!

– Ваш муж? А у вас есть и муж? – спрашивает князь.

– Ах, боже мой! как вы забывчивы, князь! Но вы совершенно, совершенно забыли все прежнее! Мой муж, Афанасий Матвейч, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь: Афанасий Матвейч?..

– Афанасий Матвейч! в деревне, представьте себе, *mais c'est délicieux!* Так у вас есть и муж? Какой странный, однако же, случай! Это точь-в-точь как есть один водевиль: муж в дверь, а жена в ... позвольте, вот и забыл! только куда-то и жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль, одним словом, выходит как-то очень смешно.

– Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка, – подсказывает Мозгляков.

– Ну-ну! да-да! благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь, *charmant, charmant!* так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый! То-то я помню: в Ярославль или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала! *Charmant, charmant!* Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить... да! итак, мы едем, друг мой. *Au revoir, madame, adieu, ma charmante demoiselle**, – прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев.

– Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! – кричит вслед Марья Александровна.

ГЛАВА V

– Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухне, – говорит она, проводив князя. – У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед! Я уверена, что он уже пьян...

Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно взглядывает на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того чтоб идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку, вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешана кой-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагиба-

* До свидания, мадам, прощайте, моя милая барышня (фр.).

ется, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь – одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, – всегда наглухо заперта и заколочена.

Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресло и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце.

– Зина!

Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные задумчивые глаза.

– Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.

Зина оборачивается совершенно к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть.

– Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе, сегодня, этот Мозгляков?

– Вы уже давно знаете, как я о нем думаю, – нехотя отвечает Зина.

– Да, *mon enfant*^{*}, но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым с своими... исканиями.

– Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна.

– Странно! Ты прежде не извиняла его так... охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю об нем.

– Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтоб я вышла за него замуж, а теперь первая на него нападаете.

– Почти. Я не запираюсь, Зина: я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою непрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять (что бы ты ни думала обо мне!) и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась, наконец, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя! И перемена эта должна быть – замужество. Мы небогаты и не можем ехать, например, за границу.

* Дитя мое (фр.).

Здесь ослы удивляются, что тебе двадцать три года и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича, нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтора ста душ; это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками да бог знает какими приключениями; потому я и бросила на него мои взгляды. Но, клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам всевышний предупреждал меня. И если бы бог послал, хоть теперь, что-нибудь лучше – о! как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь сегодня ничего не сказала ему наверное, Зина?

– К чему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах? – раздражительно проговорила Зина.

– Кривляться, Зина, кривляться! и ты могла сказать такое слово матери? Но что я! Ты давно уже не веришь своей матери! Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью.

– Э, полноте, маменька! Нам ли с вами за слово спорить! Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять!

– Но ты оскорбляешь меня, дитя мое! Ты не веришь, что я готова решительно на все, чтоб устроить судьбу твою!

Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою.

– Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтоб устроить судьбу мою? – спросила она с странной улыбкой.

– Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что если б случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием...

– А я нахожу, что это просто вздор! – запальчиво воскликнула Зина. – Вздор! вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого слова; вас здесь и называют так. У вас непрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши непрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни сло-

ва, слышите ли, маменька, – ни слова, и я бы желала, чтоб вы это запомнили! – Она задыхалась от гнева.

– Ты дитя, Зина, – раздраженное, болезненное дитя! – отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся голосом. – Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина: если б я и действительно мечтала об этом союзе, – почему именно ты считаешь все это вздором? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходима женитьба, конечно, не на этой чумичке Настасье. Тут уж он заврался.

– Послушайте, маменька! скажите прямо: вы это спрашиваете только так, из любопытства, или с намерением?

– Я спрашиваю только: почему это кажется тебе таким вздором?

– Ах, досада! ведь достанется же такая судьба! – восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения. – Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно: не говоря уже о всех других нелепостях, – воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтоб вытащить у него его деньги и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но сверх того, так низко, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька!

С минуту продолжалось молчание.

– Зина! А помнишь ли, что было два года назад? – спросила вдруг Марья Александровна.

Зина вздрогнула.

– Маменька! – сказала она строгим голосом, – вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом.

– А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина! пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны! Так не может продолжаться!.. Я готова на коленях молить тебя, чтоб ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина: родная мать умоляет тебя на коленях! Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое – слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах,

даже если б шло о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить об этом. Это будет в последний раз, но теперь – это необходимо!

Марья Александровна рассчитывала на полный эффект.

– Говорите, – сказала Зина, заметно бледнея.

– Благодарю тебя, Зина. Два года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель.

– Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька! К чему все это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы и которые нам обоим слишком известны? – с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина.

– К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобою! К тому, что я хочу представить тебе это же все дело совершенно с другой точки зрения, а не с той, ошибочной, точки, с которой ты привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтоб ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывести. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем! Нет, Зина, ты найдешь во мне настоящую мать и, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног низкой женщины, как ты сейчас назвала меня, сама будешь просить примирения, которое ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать все, Зина, все с самого начала; иначе я молчу!

– Говорите, – повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки.

– Я продолжаю, Зина: этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость и, главное, на его ничтожество (потому что надо же все говорить), чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж! Зина! Это был кинжал в мое сердце! Я вскрикнула и лишилась чувств. Но... ты все это помнишь! Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай: мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалованья, кропатель дрянных стишков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире, – этот мальчик – твой муж, муж Зинаиды Москалевой! Но это достойно Флориа-

на и его пастушков! Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя! Я отказала ему, но никакая власть не может остановить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, что я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже свидания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже распространяться слухи. Меня начинают колоть намеками; уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь; он оказывается самым недостойным тебя... мальчишкой (я никак не могу назвать его человеком!) и грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полная негодования, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, Зина, мне известно и это обстоятельство! Мне все, все известно! Несчастный, в тот же день, показывает одно из твоих писем негодяю Заушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший, в раскаянии, делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший! Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страшным известием: уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны; через два часа весь город будет знать о твоём позоре! Я пересилила себя, я не упала в обморок, – но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина. Эта бесстыдная, этот изверг Настасья требует двести рублей серебром и за это клянётся достать обратно письмо. Я сама, в легких башмаках, по снегу, бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар – память праведницы, моей матери! Через два часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и – честь твоя спасена, – доказательств нет! Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день! На другой же день я заметила, в первый раз в жизни, несколько седых волос на голове моей. Зина! ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчишка. Ты сама теперь соглашаешься, и, может быть, с горькою улыбкою, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься, ты мучишься, дитя мое; ты не можешь забыть его или, лучше сказать, не его, – он всегда был недостойн тебя, – а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты, – ангел доброты! – ты не хочешь при жизни его выходить

замуж, чтоб не растерзать его сердца, потому что он до сих пор еще мучится ревностью, хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом! Я знаю, что, услышав про искания Мозглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое, я угадала тебя, и, бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою!..

– Да оставьте все это, маменька! – прерывает Зина в невыразимой тоске. – Очень понадобилась тут ваша подушка, – прибавляет она с колкостью. – Нельзя без декламаций да вывертов!

– Ты не веришь мне, Зина! Не смотри на меня враждебно, дитя мое! Я не осушала глаз эти два года, но скрывала от тебя мои слезы, и, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время! Я давно поняла твои чувства и, каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно сует свой нос везде, где его не спрашивают. Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь, теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила, и, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала; у меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому кто может обвинить меня теперь, и прежде всего можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоём положении?

Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет в такой тон без причины. Но последнее, неожиданное заключение совершенно изумило ее.

– Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя? – вскричала она, с изумлением, чуть не с испугом смотря на мать свою. – Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение? Стало быть, я угадала? И... и... каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? И... и... каким образом все это вяжется с тем, что вы теперь наговорили, – со всей этой историей?.. Я решительно не понимаю вас, маменька!

– А я удивляюсь, mon ange*, как можно не понимать всего этого! – восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь. – Во-первых, – уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир! Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишко, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием...

– Но, позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем или по крайней мере князь сделал мне предложение?

– Не беспокойся об этом, мой ангел, я знаю, что я говорю. Но – позволь мне продолжать. Я уже сказала первое, теперь второе: я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову...

– Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою! – отвечала с горячностию Зина, и глаза ее засверкали.

– И если б ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем Божиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он потребует твоей любви; он для того и женится, я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково ж притворяться! Я сама двадцать пять лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высосал всю мою молодость, и сколько раз ты видела слезы мои!..

– Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста, – отвечала Зина.

– Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина! У меня все сердце замирало, когда я, из расчета, желала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе притворяться нечего. Само собою разумеется, что ты не можешь его любить... любовью, да и он сам не способен потребовать такой любви...

– Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном! Знайте, что я не хочу собою жертвовать неизвестно для чего! Знайте, что я вовсе не хочу замуж, ни за кого, и останусь в девках! Вы два года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж? придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только! Так и будет!

* Мой ангел (фр.).

– Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога, не выслушав! И что у тебя за головка горячая, право! Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его, – княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой, ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, – расчеты на смерть его! Но – я мать, а какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймет... то есть я просто хочу сказать, что, по смерти князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь...

– Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтоб выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне... Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю! Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств, даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: «Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласишься на нее!» Это по крайней мере было бы откровеннее.

– Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения, – с точки зрения обмана, коварства, корыстолюбия? Ты считаешь мои расчеты за низость, за обман? Но, ради всего святого, где же тут обман, какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало: ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство! И вдруг ты, – ты, красавица, жертвуешь старику свои лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости, ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностью сосет его соки! Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина!

– Верно, стоят, коли надо выходить за калеку! Обман – всегда обман, маменька, какие бы ни были цели.

– Напротив, друг мой, напротив! на это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! Ты сама однажды, в каком-то исступлении, сказала мне, что хочешь быть сестрою милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила (я знаю это), что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышенный предмет, обрати искренно, как дитя, со всею верою и святостию, – и бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал, он несчастен, его гонят; я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, – если уж все говорить! – но согрей его сердце, и ты сделаешь это для бога, для добродетели! Он смешон, – не смотри на это. Он получеловек, – пожалей его; ты христианка! Принудь себя; такие подвиги нудятся. На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы божии, исполняющие это и благословляющие бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг – и ты залечишь раны свои. Где же тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне не веришь! Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце, чувства, правила? Что ж? не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос... Тебя, главное, смущает, что все это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля? Так откажись, наконец, от денег, если деньги так для тебя ненавистны! Оставь себе необходимое и все раздай бедным. Помогли хоть, например, ему, этому несчастному, на смертном одре.

– Он не примет никакой помощи, – проговорила Зина тихо, как бы про себя.

– Он не примет, но мать его примет, – отвечала торжествующая Марья Александровна, – она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад; я это знаю. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтоб кормить своего несчастного сына.

– Ему скоро не нужна будет помощь!

– Знаю и это, на что ты намекаешь, – подхватила Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее, – знаю, про что ты говоришь. Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Каллиста Станиславича; я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Каллист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только, довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он наверное говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, – и это я еще прежде слышала, даже читала, – что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется Малага, – одним словом, похоже на какое-то вино, – где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах! – одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег, для этого путешествия? Так обмани его, если тебе жаль! Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою; скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдоеешь. Все на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому – все позволительно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, – все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его! Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием! Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему, и, если только он будет достоин тебя, – пожалуй, и выйди за него, когда овдоеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если б вы теперь решились на такое безумство? Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек, потому что это со-

пряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близкая, неминуемая смерть. Тогда как воскресив его, – ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели; простив ему, – ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собою, на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою, под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим небом! О Зина! все это в руках твоих! Все выгоды на твоей стороне – и все это чрез замужество с князем.

Марья Александровна кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении.

Мы не беремся описывать чувства Зины; мы не можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец, догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрогивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке, не могла обойтись без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не верит, – думала Марья Александровна, – только бы ее заставить задуматься! только бы ловчее намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить!» Так она думала и достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала. Щеки ее горели, грудь волновалась.

– Послушайте, маменька, – сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта решимость. – Послушайте, маменька...

Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивающий Марью Александровну, заставил Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места.

– Ах, боже мой! – вскричала она, – черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала две недели назад! – прибавила она чуть не в отчаянии. – Но... но невозможно теперь не принять ее! Невозможно! Она, наверно, с вестями, иначе не

посмела бы и явиться. Это важно, Зина! Мне надо знать... Ничем теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благодарна за ваш визит! – закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гостье. – Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой о-ча-ро-ва-тельный сюрприз!

Зина убежала из комнаты.

ГЛАВА VI

Полковница, Софья Петровна Фарпухина, только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая пятидесятилетняя дама, с остренькими глазками, в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком, иссохшем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких воробьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда шумевшее, потому что полковница двух секунд не могла пробыть в покое. Это была злоеца и мстительная сплетница. Она была помешана на том, что она полковница. С отставным полковником, своим мужем, она очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того, выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку же вечером и до помешательства ненавидела Анну Николаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Паскудину, тому способствовавшую.

– Я к вам только на минутку, *mon ange*, – защебетала она. – Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя! Наши пройдохи – *vous comprenez!** – его ловят, ищут, тащат его нарасхват, шампанским поят, – вы не поверите! не поверите! Да как это вы решились его отпустить от себя? Знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны?

– У Натальи Дмитриевны! – вскричала Марья Александровна, привскакнув на месте. – Да ведь он к губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго!

– Ну да, ненадолго; вот и ловите его теперь! Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обещать у ней, а Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь!

* Понимаете! (фр.).

– А что ж... Мозгляков? Ведь он обещался...

– Дался вам этот Мозгляков! хваленый-то ваш... Да и он с ними туда же! Посмотрите, если его в картишки там не засадят, – опять проиграется, как прошлый год проигрался! Да и князя тоже засадят; облупят как липку. А какие она вещи про вас распускает, Наташка-то! Вслух кричит, что вы увлекаете князя, ну там... для известных целей, – *vous comprenez*? Сама ему толкует об этом. Он, конечно ничего не понимает, сидит, как мокрый кот, да на всякое слово: «ну да! ну да!» А сама-то, сама-то! вывела свою Соньку – вообразите: пятнадцать лет, а все еще в коротеньком платье водит! все это только до колен, как можете себе представить... Послали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком платье, только еще выше колен, – я в лорнет смотрела... На голову им надели какие-то красные шапочки с перьями, – уж не знаю, что это изображает! – и под фортепьяно заставила обеих пигалиц перед князем плясать казачка! Ну, вы знаете слабость этого князя? Он так и растаял: «формы», говорит, «формы!» В лорнетку на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки! раскраснелись, ноги вывертывают, такой монплеzir пошел, что люли, да и только! тьфу! Это – танец! Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни, – так я благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! Там княжеские и графские дочери воспитывались! А ведь это просто канкан! Я сгорела со стыда, сгорела, сгорела! Я просто не высидела!...

– Но... разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? ведь вы...

– Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. *Mais, ma chere**, мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и приехала. А то где ж бы я его увидела? Поехала бы я к ней, кабы не этот скверный князишка! Представьте себе: всем шоколад подают, а мне нет, и все время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно... Кадушка этакая! Вот я ж ей теперь! Но прощайте, *mon ange*, я теперь спешу, спешу... Мне надо непременно застать Акулину Панфиловну и ей рассказать... Только вы теперь так и проститесь с князем! Он уж у вас больше не будет. Знаете – памяти-то у него нет, так Анна Николаевна непременно к себе его перетащит! Они все боятся, чтобы вы не того... понимаете? насчет Зины...

* Но, милая моя (фр.).

– Quelle horreur! *

– Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает, mon ange. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая там суетня: обед готовят, ножами стучат... за шампанским послали. Спешите, спешите и перехватите его на дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первой обещался обедать! Он ваш гость, а не ее! Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сопля! Да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась... тьфу! Mais adieu, mon ange!** У меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала...

Ходячая газета исчезла, Марья Александровна затрепетала от волнения, но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное затруднение. Марья Александровна бросилась в комнату Зины.

Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понуриив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы; но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на губах ее.

– Маменька, – сказала она, предупреждая Марью Александровну, – сейчас вы истратили со мною много вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целями – все это такое иезуитство, которое не могло обмануть меня. Слышите: это не могло меня обмануть, и я хочу, чтоб вы это непременно знали!

– Но, mon ange!.. – вскрикнула оробевшая Марья Александровна.

– Молчите, маменька! Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что все это только одно иезуитство; несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, – я принимаю ваше пред-

* Какой ужас! (фр.).

** Но прощайте, мой ангел! (фр.).

ложение вполне, слышите: вполне, и объявляю вам, что готова выйти за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его на мне жениться. Для чего я это делаю? – вам не надо знать. Довольно и того, что я решилась. Я решилась на все: я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтоб заглядить перед ним мою низость; я употреблю все на свете, чтоб он не раскаивался в том, что женился на мне! Но, взамен моего решения, я требую, чтоб вы откровенно сказали мне: каким образом вы все это устроите? Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то – я вас знаю – вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни; откровенность – неперемнное условие! Я не могу решиться, не зная положительно, как вы все это сделаете?

Марья Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней, немая и неподвижная от изумления, и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства которой она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на все, даже вопреки своим убеждениям! Следственно, дело принимало необыкновенную прочность, – и радость засверкала в глазах ее.

– Зиночка! – воскликнула она в увлечении, – Зиночка! ты плоть и кровь моя!

Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь.

– Ах, боже мой! я не прошу ваших объятий, маменька, – вскричала Зина с нетерпеливым отворачиванием, – мне не надо ваших восторгов! я требую от вас ответа на мой вопрос и больше ничего.

– Но, Зина, ведь я люблю тебя! Я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь... ведь я для твоего же счастья стараюсь...

И непритворные слезы заблестали в глазах ее. Марья Александровна действительно любила Зину, *по-своему*, а в этот раз, от удачи и от волнения, чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать ее любит, – и тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если б мать ее ненавидела...

– Ну, не сердитесь, маменька, я в таком волнении, – сказала она, чтоб успокоить ее.

– Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик! – защебетала Марья Александровна, мигом оживляясь. – Ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенности... Изволь, я буду откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только бы ты-то мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет, Зиночка, да и не может быть; ты, как умная головка, поймешь – почему. Я даже предвижу некоторые затруднения... Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячины... (Ах, боже мой! спешить бы надо!) Видишь, я вполне откровенна! Но, клянусь тебе, я достигну цели! – прибавила она в восторге. – Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел; она основана на деле. Она основана на совершенном слабоумии князя, – а ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно. Главное, чтоб не помешали! Да этим ли дурам перехитрить меня, – вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами, – уж это мое дело! А для этого – всего нужнее как можно скорей начинать, даже чтоб сегодня и кончить все главное, если только возможно.

– Хорошо, маменька, только послушайте еще одну... откровенность: знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость; но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и все брошу. Знаю, что это новая низость: решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так будет!..

– Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, mon ange? – робко возразила было Марья Александровна. – Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают! Только надобно с этой точкой взглянуть, и все очень благородно покажется...

– Ах, маменька, ради бога, не хитрите со мной! Вы видите, я на все, на все согласна! ну чего ж вам еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь единственное мое утешение!

И горькая улыбка показалась на губах ее.

– Ну, ну, хорошо, мой ангельчик, можно быть несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать друг друга. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь все эти хлопоты мне; клянусь, что на тебя не

брызнет ни капельки грязи. Я ли захочу тебя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и все превосходно, пре-
благородно уладится, главное – преблагородно! Скандалу не бу-
дет никакого, а если и будет какой-нибудь маленький, необхо-
дименький скандалчик, – так... как-нибудь! – так ведь мы уж
будем тогда далеко! ведь уж здесь не останемся! Пусть их кричат
во все горло, наплевать на них! Сами же будут завидовать. Да и
стоит того, чтоб о них заботиться! Я даже удивляюсь тебе, Зи-
ночка (но ты не сердись на меня), – как это ты, с твоей гордо-
стью, их боишься?

– Ах, маменька, я вовсе не их боюсь! вы совершенно меня не
понимаете! – отвечала раздражительно Зина.

– Ну, ну, душка, не сердись! Я только к тому, что они сами
каждый божий день пакости строят, а тут ты всего-то какой-ни-
будь один разочек в жизни... да и что я, дура! Вотсе не пакость!
Какая тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я реши-
тельно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все от-
того, с какой точки зрения смотреть...

– Да полноте, маменька, с вашими доказательствами! – с гне-
вом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою.

– Ну, душка, не буду, не буду! я опять завралась...

Наступило маленькое молчание. Марья Александровна сми-
ренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза,
как маленькая провинившаяся собачка смотрит в глаза своей
барыне.

– Я даже не понимаю, как вы возьметесь за дело, – с отвраще-
нием продолжала Зина. – Я уверена, что вы наткнетесь на один
только стыд. Я презираю их мнение, но для вас это будет позором.

– О, если только это тебя беспокоит, мой ангел, – пожалуйста,
не беспокойся! прошу тебя, умоляю тебя! Только бы мы согласи-
лись, а обо мне не беспокойся. Ох, если б ты только знала, из
каких я передрыг суха выходила? Такие ли дела мне случалось
обделывать! ну, да позволь хоть только попробовать! Во всяком
случае прежде всего нужно как можно скорее быть наедине с
князем. Это самое первое! а все остальное будет зависеть от это-
го! Но уж я предчувствую и остальное. Они все восстанут, но...
это ничего! я их сама отделаю! Пугает меня еще Мозгляков...

– Мозгляков? – с презрением проговорила Зина.

– Ну да, Мозгляков; только ты не бойся, Зиночка! клянусь
тебе, я его до того доведу, что он же будет нам помогать! Ты еще

не знаешь меня, Зиночка! ты еще не знаешь, какая я в деле! Ах! Зиночка, душенька! давеча, как я услышала об этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове! Меня как будто разом всю осветило. И кто ж, и кто ж мог ожидать, что он к нам придет? Да ведь в тысячу лет не будет такой оказии! Зиночка! ангельчик! Не в том бесчестие, что ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем действительно будешь женой его! А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт! Ведь ему ж, дураку, будет выгода, – ему ж, дураку, дают такое неоцененное счастье! Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка! раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если б была мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если б ты захотела! Ослы они все! Ну, как не поцеловать эту ручку? – И Марья Александровна горячо поцеловала руку у дочери. – Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь! да хоть насильно женить его, дурака! А как заживем-то мы с тобой, Зиночка! Ведь ты не разлучишься со мной, Зиночка? Ведь ты не прогонишь свою мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я; все-таки...

– Маменька! если уж вы решились, то, может быть, вам пора... что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете! – в нетерпении сказала Зина.

– Пора, пора, Зиночка, пора! ах! я заболталась! – схватилась Марья Александровна. – Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду! Подъеду, вызову Мозглякова, а там... Да я его силой увезу, если надо! Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти, главное – не грусти! все прекрасно, преблагородно обделается! Главное, с какой точки смотреть... ну, прощай, прощай!..

Марья Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через две минуты катилась по мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила en grand.*

«Нет, не вам перехитрить меня! – думала она, сидя в своей карете. – Зина согласна, значит, половина дела сделана, и тут – оборваться! вздор! Ай да Зина! Согласилась-таки наконец! Зна-

* На широкую ногу (фр.).

чит, и на твою головку действуют иные расчетцы! Перспективу-то я выставила ей заманчивую! Тронула! Но только ужас как она хороша сегодня! Да я бы, с ее красотой, пол-Европы перевернула по-своему! Ну, да подождем... Шекспир-то слетит, когда княгиней сделается да кой с чем познакомится. Что она знает? Мордасов да своего учителя! Гм... Только какая же она будет княгиня! Люблю я в ней эту гордость, смелость, недоступная какая! взглянет – королева взглянула. Ну как, ну как не понимать своей выгоды? Поняла ж наконец! Поймет и остальное... Я ведь все-таки буду при ней! Согласится же наконец со мной во всех пунктах! А без меня не обойдется! Я сама буду княгиня; меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишко! Умрет этот князь, умрет этот мальчишка, и тогда я ее за владетельного принца выдам! Одного боюсь: не слишком ли я ей доверилась? Не слишком ли откровенничала, не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох, пугает!»

И Марья Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать: они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пуще неволи.

Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом она передумала. Часто и почти бессознательно повторяла она: «Пора, пора, давно пора!» Что значило это отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала отирать их, – останавливать. Но напрасно беспокоилась ее маменька и старалась проникнуть в мысли своей дочери: Зина совершенно решилась и приготовилась ко всем последствиям...

«Постой же! – думала Настасья Петровна, выбираясь из своего чуланчика по отъезде полковницы. – А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого князишки! И поверила же, дура, что он на мне женится! Вот тебе и бантик! А, Марья Александровна! Я у вас чумичка, я нищая, я взятки по двести целковых беру. Еще бы с тебя упустить, не взять, франтиха ты этакая! Я взяла благородным образом; я взяла на сопряженные с делом расходы... Может, мне самой пришлось бы взятку дать! Тебе какое дело, что я не побрезгала, своими руками замок взломала? Для тебя же работала, белоручка ты этакая! Тебе бы только по канве вышивать! Погоди ж, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка! Узнаете Настасью Петровну и всю ее кротость!»

ГЛАВА VII

Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и незащищенностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марьи Александровны, – было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передрыг я суха выходила!» – говорила она Зине, и говорила справедливо. Не то какая ж бы она была героиня?

Бесспорно, что все это походило несколько на разбой на большой дороге; но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимание. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль: «Обвенчают, так уж не развенчаются», – мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну, от одного уже представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но план этот был составлен вчерне, вообще *en grand*^{*}, и еще как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояла бездна подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Марья Александровна была уверена в себе: она волновалась не страхом неудачи – нет! ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают всё из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала, по неоднократно печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного, в ее доме, который,

^{*} Здесь: в главных чертах (фр.).

случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они – неизвестно, но разошлись они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя свою Зину, свою бесприданную, двадцатитрехлетнюю Зину; что Мозгляков в отставке и что все это уже решено и подписано. Что было причиной таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марью Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обычновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, ни очевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось, – не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Марья Александровна приступила к своему давешнему разговору с Зиной об этом же самом предмете. Такого-то чутье провинциалов! Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим еще одно обстоятельство: Зину ненавидели почти еще больше Марьи Александровны, – за что? – неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиной. Может быть, и то,

что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, своего поля ягода. Исчезни она из города, и – кто знает? – об ней бы, может быть, пожалели. Она оживляла общество непрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня и, может быть, сама не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандальные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала; чего доброго – пожалуй еще за губернатора (а мордасовский губернатор, как нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу). Тогда она будет первая дама в губернии, и, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло; что старик не в своем уме; что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием; что старика надо спасти от кровожадных когтей; что это, наконец, разбой и безнравственность; что, наконец, чем же другие хуже Зины? и другие могли бы точно так же выйти за князя. Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все готовы будут употребить всё, что возможно и что даже невозможно, чтобы воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, весь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать? Откажи в дверь, войдут в окно: случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам, гроз-

ная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если б только представилась надобность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его, но зато она знала наверное, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов.

Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят: каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом? – то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой? Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех все оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и, по своему обыкновению, очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился окончательно. Тут уж подливала сама Марья Александровна. Обед был очень порядочный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был, видимо, не в своей тарелке и мало ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела угрюмая и даже, украдкой, делала Мозглякову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны.

А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднение: надо спешить,

торопиться, а этот «проклятый Мозгляков» сидит себе, как болван, которому мало заботы, и только мешает! Ведь нельзя же, в самом деле, начинать такое дело при нем! Марья Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление, радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встали из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему, – разумеется, к его величайшему сожалению, – необходимо сейчас же отправиться.

– Куда это? – спросила с необыкновенным соболезнованием Марья Александровна.

– Вот видите, Марья Александровна, – начал Мозгляков с беспокойством и даже несколько путаясь, – со мной случилась престранная история. Я уж и не знаю, как вам сказать... дайте мне, ради бога, совет!

– Что, что такое?

– Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете, – тот купец... встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. «Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет по-старинному, как проснется, в пятом часу. Что мне делать? Оно, Марья Александровна, конечно, – но подумайте! Ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня все-таки только полтора года душ. А ведь у него миллион, люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему – сто тысяч по духовной оставит. Семьдесят лет, – подумайте!

– Ах, боже мой! так что же это вы! что же вы медлите? – вскричала Марья Александровна, едва скрывая свою радость. – Поезжайте, поезжайте! этим нельзя шутить. То-то я смотрю, за обедом – вы такой скучный! Поезжайте, mon ami, поезжайте! Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, молодежь!

– Да ведь вы же сами, Марья Александровна, – в изумлении вскричал Мозгляков, – вы же сами нападали на меня за это знакомство! Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными да поверенными?

– Ах, mon ami! Мало ли мы что говорим необдуманного! Я тоже могу ошибиться, я – не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа... Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке... Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зрения, и – какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлите! Даже вечер у него посидите... да послушайте! Заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю, да этак половчее, получше! Ах, боже мой! И у меня ведь это из головы вышло! Мне бы надо самой догадаться вас надоумить!

– Воскресили вы меня, Марья Александровна! – вскричал восхищенный Мозгляков. – Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться! А то ведь я вам просто боялся сказать!.. Ну, прощайте, я и в путь! Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда...

– Благословляю вас, mon ami! Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним! Он действительно премилый старичок. Я давно уже переменяла о нем мои мысли... Я и всегда, впрочем, любила в нем все это старинное, русское, неподдельное... Au revoir, mon ami, au revoir!

«Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам бог помогает!» – подумала она, задыхаясь от радости.

Павел Александрович вышел в переднюю и надевал уже шубу, как вдруг, откуда ни возьмись, Настасья Петровна. Она поджидала его.

– Куда вы? – сказала она, удерживая его за руку.

– К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный отец мой; удостоился меня крестить... Богатый старик, оставит что-нибудь, надо польстить!..

Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа.

– К Бородуеву! ну так и проститесь с невестою, – резко сказала Настасья Петровна.

– Как так «проститесь»?

– Да так! Вы думали, она уж и ваша! А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала!

– За князя? помилосердуйте, Настасья Петровна!

– Да чего «помилосердуйте»! Вот не угодно ли самим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, подите-ка сюда!

Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала.

– Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю!..

– А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнется.

– Какая комедия?

– Тсс! не говорите громко! Комедия в том, что вас просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Марья Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя, говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться, и такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе честили! просто за дурака почитают, а Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура! Красный бантик приколоть хотела! Послушайте-ка, послушайте-ка!

– Да ведь это безбожнейшее коварство, если так! – прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасье Петровне.

– Да вы только послушайте, и не то еще услышите.

– Да где же слушать?

– Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку...

– Но, Настасья Петровна, я... я не способен подслушивать.

– Эх, когда хватились! Тут, батюшка, честь-то в карман; пришли, так уж слушайте!

– Но, однако же...

– А не способны, так и оставайтесь с носом! Вас же жалеют, а он куражится! Мне что! ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь!

Павел Александрович скрепя сердце нагнул к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти не понимал, что с ним происходит.

ГЛАВА VIII

– Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны? – спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания.

После обеда князя тотчас же перевели в «салон», в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марьи Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок, с шести бокалов, как-то весь раскис и некрепко держался на ногах. Зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости.

– Чрез-вы-чайно весело, – отвечал князь, – и, знаете, бесподобней-шая женщина, Наталья Дмитриевна, бесподобнейшая женщина!

Как ни занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала сопернице уколола ее в самое сердце.

– Помилуйте, князь! – вскричала она, сверкая глазами, – если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что после этого! Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества, совершенно не знаете! Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподымите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят!

– Неужели? – воскликнул князь. – Удивляюсь!

– Но я клянусь вам в этом! Ah, mon prince. Послушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей, на прошлой неделе, – помнишь? Да, князь, – это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которою вы так восхищаетесь. О милейший мой князь! Клянусь, я не сплетница! Но я непременно расскажу это, единственно для того, чтоб рассмешить, чтоб показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, что здесь за люди! Две недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахара в серебряной сахарнице: она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю: лежат на донышке только три кусточка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова! У ней свой каменный дом и денег бесчисленно! Этот

случай смешной, комический, но судите после этого о благородстве здешнего общества!

– Не-у-же-ли! – воскликнул князь, искренно удивляясь. – Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели ж она все одна съела?

– Так вот какая она бесподобнейшая женщина, князь! как вам нравится этот позорный случай? Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы решилась на такой отвратительный поступок!

– Ну да, да... Только, знаете, она все-таки такая *belle femme*...*

– Наталья-то Дмитриевна! помилуйте, князь, да это просто кадушка! Ах, князь, князь! что это вы сказали! Я ожидала в вас гораздо поболее вкусу...

– Ну да, кадушка... только, знаете, она так сложена... Ну, а эта девочка, которая тан-це-ва-ла, она тоже... сложена...

– Сонечка-то? да ведь она еще ребенок, князь! ей всего четырнадцать лет!

– Ну да... только, знаете, такая ловкая, и у ней тоже... такие формы... формируются. Ми-лень-кая такая! и другая, что с ней тан-це-ва-ла, тоже... формируется...

– Ах, это несчастная сирота, князь! Они ее часто берут.

– Си-ро-та. Грязная, впрочем, такая, хоть бы руки вымыла... А, впрочем, тоже за-ман-чи-вая...

Говоря это, князь с какою-то возрастающею жадностью рассматривал Зину в лорнет.

– *Mais quelle charmante personne!*** – бормотал он вполголоса, тая от наслаждения.

– Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой! Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка! И если б вы знали, князь, – продолжала Марья Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своею тихою, плавною поступью, от которой чуть не покорило бедного старичка, – если б вы знали, какая она дочь! Как она умеет любить, как нежна со мной! Какие чувства, какое сердце!

– Ну да... чувства... и, знаете ли, я только одну женщину знал, во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по кра-со-те, – перебил князь, глотая слюнки. – Это покойная

* Здесь: статная женщина (фр.).

** Но какое очаровательное существо! (фр.).

графиня Наинская, умерла лет тридцать тому назад. Восхитительная была женщина, неопи-сан-ной красоты, потом еще за своего повара вышла...

– За своего повара, князь!

– Ну да, за своего повара... за француза, за границу. Она ему за гра-ни-цей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими у-си-ка-ми.

– И... и... как же они жили, князь?

– Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились...

– Маменька, что мне играть? – спросила Зина.

– Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь! Вы любите музыку?

– О да! Charmant, charmant! Я очень люблю му-зы-ку. Я за границей с Бетховеном был знаком.

– С Бетховеном! Вообрази, Зина, князь был знаком с Бетховеном! – кричит в восторге Марья Александровна. – Ах, князь! неужели вы были знакомы с Бетховеном?

– Ну да... мы были с ним на дру-жес-кой но-ге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной!

– Бетховен?

– Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бет-хо-вен, а какой-нибудь другой не-мец. Там очень много нем-цев... Впрочем, я, кажется, сби-ва-юсь.

– Что же мне петь, маменька? – спросила Зина.

– Ах, Зина! спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур... Ах, князь! Как я люблю все это рыцарское! Эти замки, замки!.. Эта средневековая жизнь! Эти трубадуры, герольды, турниры... Я буду аккомпанировать тебе, Зина! Пересядьте сюда, князь, поближе! Ах, эти замки, замки!

– Ну да... замки. Я тоже люблю зам-ки, – бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. – Но... боже мой! – восклицает он, – это романс!.. Но.. я знаю этот романс! Я давно уже слышал этот романс... Это так мне на-по-ми-нает... Ах, боже мой!

Я не берусь описывать, что сделалось с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый,

звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная, – все это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями (а у кого нет любимых воспоминаний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно... Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила.

– *O ma charmante enfant!** – вскричал он, целуя ее пальчики. – *Vous me ravissez!*** Я теперь, теперь только вспомнил... Но... но... *o ma charmante enfant!*...

И князь даже не мог докончить.

Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута.

– Зачем же вы губите себя, князь? – воскликнула она торжественно. – Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединение! убежать от людей, от друзей! Но это непροститительно! Одумайтесь, князь! взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего, – воспоминания золотой вашей молодости, золотых беззаботных дней, – воскресите их, воскресите себя! Начните опять жить в обществе, меж людей! Поезжайте за границу, в Италию, в Испанию – в Испанию, князь!.. Вам нужен руководитель, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало? Но у вас есть друзья! Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу всё и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь; я брошу мужа и пойду за вами... и даже, если б я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если б вы того захотели!

– И я уверен, что вы были *une charmante personne* в свое время – проговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами.

* О мое прелестное дитя! (фр.)

** Вы меня восхищаете! (фр.).

– Мы живем в наших детях, князь, – с высоким чувством отвечала Марья Александровна. – У меня тоже есть свой ангел-хранитель! И это она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь! Она отвергла уже семь предложений, не желая расставаться со мною.

– Стало быть, она с вами поедет, когда вы будете сопровождать меня за границу? В таком случае я непременно поеду за границу! – вскричал князь, одушевляясь. – Непременно поеду! И если б я мог льстить себя надеждою... Но она очаровательное, очаровательное дитя! O ma charmante enfant!.. – И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось стать перед ней на колени.

– Но... но, князь, вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою? – подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия. – Но вы странны, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии! вы – представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств и... манер! Разве Мария не полюбила старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лозён, этот очаровательный маркиз двора Людовика... я забыла которого, – уже в преклонных летах, уже старик, – победил сердце одной из первейших придворных красавиц!.. И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому! Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер! Но появитесь где-нибудь теперь, за границей, на водах, с молодою женой, с такой же красавицей, как например моя Зина, – я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения, – и вы увидите, какой колоссальный будет эффект! Вы – обломок аристократии, она – красавица из красавиц! вы ведете ее торжественно под руку; она поет в блестящем обществе, вы, с своей стороны, сыплете остроумием, – да все воды сбегутся смотреть на вас! Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос... Князь, князь! И вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою?

– Фельетоны... ну да. ну да!.. Это в газетах... – бормочет князь, вполупонимая болтовню Марья Александровны и раскисая все более и более. – Но.. дитя мое, если вы не устали, – повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели!

– Ах, князь! Но у ней есть и другие романсы, еще лучше... Помните, князь, «L'hirondelle?»* Вы, вероятно, слышали?

– Да, помню... или, лучше сказать, я за-был. Нет, нет, прежний ро-манс, тот самый, который она сейчас пе-ла! Я не хочу «L'hirondelle»! Я хочу тот романс... – говорил князь, умоляя, как ребенок.

Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колена. Он плакал.

– O ma belle châtelaine! ** – воскликнул он своим дребезжащим от старости и волнения голосом. – O ma charmante châtelaine!*** О милое дитя мое! вы мне так много на-пом-нили... из того, что давно прошло... Я тогда пел дуэты... с виконтессой... этот самый романс... а теперь... Я не знаю, что уже те-перь...

Всю эту речь князь произнес задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масла в огонь.

– Князь! Но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! – вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная.

Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.

– Я до безумия влюблен в нее! – вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, все еще стоя на коленях и весь дрожа от волнения. – Я ей жизнь готов отдать! И если б я только мог на-де-яться... Но подымите меня, я не-мно-го ослаб... Я... если б только мог на-деяться предложить ей мое сердце, то... я... она бы мне каждый день пела ро-ман-сы, а я бы всё смотрел на нее... всё смотрел... Ах, боже мой!

– Князь, князь! вы предлагаете ей свою руку! вы хотите ее взять у меня, мою Зину! мою милую, моего ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери! – Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали... Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела

* Ласточку» (фр.).

** Здесь: моя прекрасная владычица! (фр.).

*** Здесь: моя очаровательная владычица! (фр.).

на всю комедию. Однако ж она молчала, а это – все, что было надо Марье Александровне.

– Она девять раз отказывала, чтоб только не разлучиться с своей матерью! – кричала она. – Но теперь – мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас... Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью!.. О! вы разлучите нас; я это предчувствую!..

– Я о-бо-жаю ее! – пробормотал князь, все еще дрожа как осинный листик.

– Итак, ты оставляешь мать свою! – воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери.

Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями.

– Я только теперь на-чи-наю жить, – бормотал он, захлебываясь от восторга.

– Зина! – торжественно проговорила Марья Александровна, – взгляни на этого человека! Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю! Это рыцарь средних веков! Но она это знает, князь; она знает, на горе моему сердцу... О! зачем вы приехали! Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь! Вас умоляет мать, и какая мать осудит меня за мою горесть!

– Маменька, довольно! – прошептала Зина.

– Вы защитите ее от обиды, князь? Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?

– Довольно, маменька, или я...

– Ну да, блеснет... – бормотал князь. – Я только теперь начинаю жить... Я хочу, чтоб сейчас же, сию ми-нуту была свадьба... я... Я хочу послать сейчас же в Ду-ха-но-во. Там у меня бриллианты. Я хочу положить их к ее ногам...

– Какой пыл! какой восторг! какое благородство чувств! – воскликнула Марья Александровна. – И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света? Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда вспомню об этой адской...

– Что же мне де-лать, я так бо-ялся! – бормотал князь, хныча и расчувствовавшись. – Они меня в су-мас-шед-ший дом посадить хо-те-ли... Я и испугался.

– В сумасшедший дом! О изверги! о бесчеловечные люди! О низкое коварство! Князь, я это слышала! Но это сумасшествие со стороны этих людей. Но за что же, за что?!

– А я и сам не знаю за что! – отвечал старичок, от слабости садясь на кресло. – Я, знаете, на ба-ле был и какой-то анекдот рас-сказал; а им не понра-ви-лось. Ну и вышла история!

– Неужели только за это, князь?

– Нет. Я еще по-том в карты иг-рал с князем Петром Демен-тью-чем и без шести ос-тал-ся. У меня было два ко-ро-ля и три дамы... или, лучше сказать, три дамы и два ко-ро-ля... Нет! один ко-ро-ль! а потом уж были и да-мы...

– И за это? за это! о адское бесчеловечие! вы плачете, князь! Но теперь этого не будет! Теперь я буду подле вас, мой князь; я не расстанусь с Зиной, и посмотрим, как они осмелятся сказать слово!.. И даже, знаете, князь, ваш брак поразит их. Он присты-дит их! Они увидят, что вы еще способны... то есть они поймут, что не вышла бы за сумасшедшего такая красавица! Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете смотреть им прямо в лицо...

– Ну да, я буду смотреть им пря-мо в ли-цо, – пробормотал князь, закрывая глаза.

«Однако он совсем раскис, – подумала Марья Александров-на. – Только слова терять!»

– Князь, вы встревожены, я вижу это; вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения, – сказала она, мате-рински нагибаясь к нему.

– Ну да, я бы хотел немно-го по-ле-жать, – сказал он.

– Да, да! Успокойтесь, князь! Эти волнения... Постоите, я сама провожу вас... Я уложу вас сама, если надо. Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери – это-го ангела, а не женщины! О, зачем ее нет теперь между нами! Это была праведница! князь, праведница! – иначе я не называю ее!

– Пра-вед-ни-ца? c'est joli... У меня тоже была мать... *princesse*...* и – вообразите – нео-бык-новенн-но полная была жен-щина... Впрочем, я не то хотел ска-зать... Я не-мно-го ос-лаб. *Adieu, ma charmante enfant!*.. Я с нас-лажде-нием... я сегод-ня... завтра... Ну, да все рав-но! *au revoir, au revoir!* – тут он хо-тел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на порог.

* Княгиня (фр.).

– Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку, – кричала Мария Александровна.

– Charmant! charmant! – бормотал он, уходя. – Я теперь только на-чи-наю жить...

Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. С сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатались из глаз ее... В эту минуту отворилась дверь, и Мозгляков вбежал в комнату.

ГЛАВА IX

Он слышал всё, всё!

Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением.

– Так-то вы! – вскричал он задыхаясь. – Наконец-то я узнал, кто вы такая!

– Кто я такая! – повторила Зина, смотря на него как на сумасшедшего, и вдруг глаза ее заблестали гневом.

– Как смели вы так говорить со мной! – вскричала она, подступая к нему.

– Я слышал все! – повторил Мозгляков торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад.

– Вы слышали? вы подслушивали? – сказала Зина, с презрением смотря на него.

– Да! я подслушивал! да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам... какая вы теперь выходите! – отвечал он, все более и более робея перед взглядом Зины.

– А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?

– Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права!.. да вы мне слово дали, вот что!

– Когда?

– Как когда?

– Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я действительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного.

– Однако же вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем; значит, вы удерживали меня про запас! значит, вы завлекали меня.

В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой, пронзительной внутренней боли; но она перемогла свое чувство.

– Если я вас не прогоняла, – отвечала она ясно и с расстановкой, хотя в голосе ее слышалось едва заметное дрожание, – то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам «нет», но разглядеть вас поближе, и «тогда, – сказали вы, – тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете». Это были ваши собственные слова, в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться! Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекла вас. Но вы сами видели мое отворачивание, когда я увиделась с вами сегодня, двумя неделями раньше, чем вы обещали, и это отворачивание я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня: не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали? Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут и не хотят скрыть своего к нему отворачивания. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не одарен умом, очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак, – мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!

Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.

Мозгляков, догадавшись, что все потеряно, закипел от ярости.

– А! так я дурак, – кричал он, – так я теперь уж дурак! Хорошо! Прощайте! Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова.

Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь.

В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догада-

лась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около князя, Мозгляков раззвонит по городу, а тайна, хотя бы на самое малое время, была необходима! У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан.

– Что с вами, mon ami? – сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку.

– Как: mon ami! – вскричал он в бешенстве, – после того, что вы натворили, да еще: mon ami. Морген-фри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз?

– Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в таком странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой.

– Перед дамой! Вы... вы всё, что хотите, а не дама! – вскричал Мозгляков. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое.

Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо.

– Сядьте! – грустно проговорила она, показывая ему на кресла, в которых, четверть часа тому, покоился князь.

– Но послушайте наконец, Марья Александровна! – вскричал озадаченный Мозгляков. – Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами! Ведь это нельзя же-с!.. такой тон!.. ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения... знаете ли вы это?

– Друг мой! – отвечала Марья Александровна, – вы позволите мне все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я; друг мой! вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце – и потому не удивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вас всё, всё мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.

Голос Марьи Александровны был болезненно мягкий.

В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресла.

– Вы подслушивали? – продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо.

– Да, я подслушивал! еще бы не подслушивать; вот бы олух-то был! По крайней мере узнал все, что вы против меня затеваете, – грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.

– И вы, и вы, с вашим воспитанием, с вашими правилами, могли решиться на такой поступок? О боже мой!

Мозгляков даже вскочил со стула.

– Но, Марья Александровна! – вскричал он, – это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились, с вашими правилами, а тогда осуждайте других!

– Еще вопрос, – сказала она, не отвечая на его вопросы, – кто вас надоумил подслушивать, кто рассказал, кто тут шпионил? – вот что я хочу знать.

– Ну уж извините, – этого не скажу-с.

– Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала, Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала возможно больше добра.

– Мне? добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!

И он повернулся в креслах так, что они затрещали.

– Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить всё, всё, и вы узнали бы от меня всё дело, до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилась с вами заранее, давеча, то единственно потому, что всё дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите: я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя.

– Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви до безумия, – иронически проговорил Мозгляков.

– Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее.

– Ну, не до тону теперь, Марья Александровна! А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня ну честить! Вы чернили меня, – вот что я вам говорю-с! Я это всё знаю, всё!

– И, верно, из того же грязного источника? – заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь. – Да, Павел Александрович, я чернила вас, я наговорила на вас и, признаюсь, нема-

ло билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас, – уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить! Недальновидный человек! Если б она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего! Я должна была употребить власть матери, чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и, после невероятных усилий, достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова; пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я, из жалости к ней, увела наконец отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы...

Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах.

– Но вы, вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна? – вскричал он. – За что вы чернили меня, клеветали на меня, – в чем сами признаетесь теперь?

– А, это другое дело! Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы! Все это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? отвечаю: во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, – может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, – тогда Зина – молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзала, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила.

– Гм! – промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги.

– Во-вторых, – и об этом я упомяну только вкратце, – продолжала Марья Александровна, – потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и *очень добры*,

но еще слишком молоды, – а я мать, Павел Александрович! Слушайте же: я выдаю Зину за князя отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей как дело высокохристианское, быть опорой, утешением, другом, дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние, закатные дни! Где же тут эгоизм, – скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм!

– Так вы... так вы сделали это только для князя, для подвига сестры милосердия? – промычал Мозгляков насмешливым голосом.

– Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович; он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами? Что ж? может быть, в голове моей и были эти расчеты, только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович: не мешайте в это дело Зину! Она чиста как голубь: она не рассчитывает; она только умеет любить, – милое дитя мое! Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна! Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших, рассчитываем не-приметно, невольно! Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать: я сознаюсь, что, при всем благородстве моих целей, я рассчитывала. Но, спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович! я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти, – и какая мать может обвинить меня в этом случае?

Слезы заблестали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами.

– Ну да, какая мать... – проговорил он наконец. – Вы хорошо поете, Марья Александровна, – но... но ведь вы мне дали слово! Вы обнадеживали и меня... Мне-то каково? подумайте! Ведь я теперь, знаете, с каким носом?

– Но неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, mon cher Paul! Напротив: во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня, главным образом, исполнить все это предприятие.

– Моя выгода! – вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный. – Это как?

– Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недалёковидным! – вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. – О молодость! молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем, – живя чужим умом и чужими мыслями! Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление: Зина вас любит, – это несомненно! Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удерживает себя и холодна с вами, – плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович?

– За-ме-чал; и даже сегодня... Однако что же вы хотите сказать, Марья Александровна?

– Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать – и мне ли не угадать сердца моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того чтоб вбежать в комнату с упреками и даже ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, – вообразите, что вы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души...

– Гм!..

– Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида! Я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастья, и я уже не смею восставать против них, Зинаида! я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь!» И тут бы вы устремили на нее взор, – взор закалаемого агнца, если можно так выразиться, – вообразите все это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце!

– Да, Марья Александровна, положим, все это так; я это все понимаю... но что же, – я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего...

– Нет, нет, нет, мой друг! Не перебивайте меня! Я непременно хочу изобразить всю картину, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, чрез несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин, и, среди всего этого праздника, вы одни, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну (но так, что вас видно), следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплется остроумие высшего общества, – а вы один, бледный и убитый вашею страстию! Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? «И я, – подумает она, – я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце!» Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою!

Марья Александровна остановилась перевести дух. Моцарт повернулся в креслах с такою силою, что они еще раз затрепали. Марья Александровна продолжала.

– Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию, – в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, – где страна любви, где нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе! Вы едете туда же, за ней; вы жертвуете службой, связями, всем! Там начинается ваша любовь с неудержимою силой; любовь, молодость. Испания, – боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая; но вы, наконец, томитесь, смотря друг на

друга. Вы меня понимаете, mon ami! Конечно, найдутся низкие, коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочною, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному!.. Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но – что до этого! Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите: за кого ж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную, – и в какое же время? – когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож! Через нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества; через нее вы получаете вдруг значительное место, входите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы богаты; князь устроит все в своем завещании; я берусь за это. И наконец, главное, она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения!.. И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода!» Павел Александрович, помилуйте!

– Марья Александровна! – вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении, – теперь я все понял! я поступил грубо, низко и подло!

Он вскочил со стула и схватил себя за волосы.

– И не расчетливо, – прибавила Марья Александровна, – главное: не расчетливо!

– Я осел, Марья Александровна! – вскричал он почти в отчаянии. – Теперь всё погибло, потому что я до безумия люблю ее!

– Может быть, и не всё погибло, – проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая.

– О, если б это было возможно! Помогите! научите! спасите!

И Мозгляков заплакал.

– Друг мой! – с состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку, – вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней! Вы были в

отчаянии, вы не помнили себя! ведь должна же она понять все это...

– Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать! – кричал Мозгляков.

– Послушайте, я оправдаю вас перед нею...

– Марья Александровна!

– Да, я берусь за это! Я сведу вас. Вы выскажете ей все, все, как я вам сейчас говорила!

– О боже! как вы добры, Марья Александровна!.. Но.. нельзя ли это сделать сейчас?

– Оборои бог! О, как вы неопытны, друг мой! Она такая гордая! Она примет это за новую грубость, за нахальность! Завтра же я устрою все, а теперь – уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу... пожалуй, приходите вечером; но я бы вам не советовала!

– Уйду, уйду! боже мой! вы меня воскрешаете! но еще один вопрос: ну, а если князь не так скоро умрет?

– Ах, боже мой, как вы наивны, mon cher Paul. Напротив, нам надобно молить бога о его здоровье. Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку! Я первая, со слезами, и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы! кажется, здоровье князя ненадежно! К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох боюсь, чтоб это окончательно не довершило его! Но – будем молиться, cher Paul, а остальное – в руке божией!.. Вы уже идете! Благословляю вас, mon ami! Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное – мужайтесь! Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших...

Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты.

– Ну, проводила одного дурака! – сказала она с торжеством. – Остались другие...

Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного. Глаза ее сверкали.

– Маменька! – сказала она, – кончайте скорее, или я не вынесу! Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня! Меня тошнит, слышите ли: меня тошнит от всей этой грязи!

– Зина! что с тобою, мой ангел? Ты... ты подслушивала! – вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством взглядываясь в Зину.

– Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость! Но... я не знала себя! Я задохнусь от этого смрада!.. – И она вышла, хлопнув дверями.

Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась.

– Спешить, спешить! – вскричала она, встрепенувшись. – В ней главная беда, главная опасность, и если все эти мерзавцы нас не оставят одних, развонят по городу, – что, уж верно, и сделано, – то все пропало! Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало и немедленно надо увезти князя в деревню! Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться! А там тот выспится – и отправимся! – Она позвонила.

– Что ж лошади? – спросила она вошедшего человека.

– Давно готовы-с, – отвечал лакей.

Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя.

Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтоб сообщить ей, в главных чертах, свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках; она обливалась слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы.

Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении, и чтоб вознаграждать себя с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть мочи.

«Скверно то, что Зина подслушивала! – думала она, сидя в карете. – Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась... Гм! Но главное, главное – успеть все обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, если на грех моего дурака нету дома!..»

И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвейчу; она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее во всю прыть.

ГЛАВА X

Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи Александровны еще утром, в то время когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была: в свою очередь конфисковать князя и, как можно скорее, увезти его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвейч. Не скроем, что на Марью Александровну все более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз в деревне, – рассуждала она, – так тут хоть весь город вверх ногами!» Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Все могло случиться, все, решительно все, хотя мы, конечно, не верим слухам, распространённым впоследствии про мою героиню ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра; в самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в два часа обдывались! Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое *comme il faut*; внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец, можно было все выставить как романическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае можно даже и напоить его или, еще лучше, держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней! Если же не обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, все это еще впереди; а во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных; что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Mémoires du Diable»*. Что, наконец,

* «Записок дьявола» (фр.).

стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно: вести князя в деревню значило везти его к Афанасию Матвеечу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвееч произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сановитого отца семейства, в белом галстуке и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться, думала Марья Александровна. Наконец, карета пролетела три версты, и кучер Сафрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни.

– Где болван? – закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты. – Зачем тут это полотенце? А! он утирался! Опять был в бане? И вечно-то хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?

Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеечем гораздо мягче, но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле: столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного кветизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвееча; такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и, в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою су-

пругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену.

– Да не даются, оттого и не стриг, – проговорил он ворчливым и осиплым голосом. – Десять раз с ножницами подходил, – вот, говорю, барыня уж-тка приедет, – нам обоим достанется, тогда чего станем делать? Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь; мне надо, чтоб волосы длинные были.

– Как? так он завивается! так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет? – кричала супруга, накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасья Матвеича.

– Ма-матушка! – пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу, – ма-ма-матушка!..

– Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!

– Да... да ведь ты, Марья Александровна, всё же законная жена моя, так вот я и говорю... по-супружески... – возразил было Афанасий Матвеич и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтоб защитить свои волосы.

– Ах ты, харя! ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно-низкое слово: «законная» – и как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души? Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы? совсем, совсем мокрые! В три часа не обсохнут! Как теперь везти его? Как теперь людям показать? Что теперь делать?

И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая; но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гне-

ва на Афанасья Матвейча, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот контраст. Афанасий Матвейч с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, на нее глядя.

– Гришка! – вскричала наконец она, – тотчас же барину одеваться! фрак, брюки, белый галстук, жилет, – живее! Да где его головная щетка, где щетка?

– Матушка! да ведь я из бани: простудиться могу, если в город ехать...

– Не простудишься!

– Да вот и волосы мокрые...

– А вот мы их сейчас высушим! Гришка, бери головную щетку, три его досуха; крепче! крепче! вот так! вот так!

Под эту команду усердный и преданный Гришка что есть силы начал оттирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвейч морщился и чуть не плакал.

– Теперь пошел сюда! подыми его, Гришка! где помада? Нагнись, нагнись, негодяй, нагнись, дармоед!

И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он, на беду свою, не остриг. Афанасий Матвейч кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностью выдержал всю операцию.

– Соки ты мои высосал, пачкун ты такой! – проговорила Марья Александровна. – Да нагнись еще больше, нагнись!

– Чем же я, матушка, высосал твои соки? – промямлил супруг, нагибая как только мог более голову.

– Болван! аллегории не понимает! Теперь причешишь; а ты одевай его, да живее!

Героиня наша уселась в кресла и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвейча. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстука, то даже осмелился изъяснить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.

– Куда ж это ты везешь меня, Марья Александровна? – проговорил он, охорашиваясь.

Марья Александровна не поверила было ушам своим.

– Слышите! ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя!

– Матушка, да ведь надо же знать...

– Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц просидишь без чаю.

Испуганный супруг умолк.

– Ишь! ни одного креста ведь не выслужил, чумичка ты этакая, – продолжала она, с презрением смотря на черный фрак Афанасия Матвеича.

Афанасий Матвеич наконец обиделся.

– Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка, – проговорил он в благородном негодовании.

– Что, что, что? Да ты здесь рассуждать научился! ах ты, мужик ты этакой! ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да потом припомню! Давай ему шляпу, Гришка! Давай ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты прибрать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов тоже, да чтоб через час все было готово. Да сам надень фрак, людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слышишь?

Сели в карету. Афанасий Матвеич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, – как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее.

– А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел, – возвестил он, совсем неожиданно, посреди обоюдного молчания.

– Тьфу ты, проклятое чучело! Я думала и бог знает что! Какой-то сон! да как ты смеешь лезть ко мне с своими мужицкими снами! Оригинальный! понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, говорю в последний раз, если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я, – я уж и не знаю, что с тобой сделаю! Слушай хорошенько: ко мне приехал князь К. Помнишь князя К.?

– Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?

– Молчи, не твое дело! Ты должен с особенною любезностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти! Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?

– Ну, а если что-нибудь спросят?

– Все равно молчи.

– Но ведь нельзя же все молчать, Марья Александровна.

– В таком случае отвечай односложно, что-нибудь этакое, например: «гм!» или что-нибудь такое же, чтоб показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.

– Гм.

– Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посещения, прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню; понимаешь?

– Гм.

– Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отвечай.

– Хорошо, матушка, все будет по-твоему; только зачем я приглашать-то буду князя?

– Что, что? опять рассуждать! А тебе какое дело: зачем? да как ты смеешь об этом спрашивать?

– Да я все к тому, Марья Александровна: как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?

– Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи. Понимаешь?

– Понимаю, мат... Марья Александровна.

– Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой, слышишь?

– Гм.

– Опять загумкал! Со мной не гумкать! Прямо и просто отвечай: слышишь или нет?

– Слышу, Марья Александровна, слышу, как не услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я все про то же, матушка; как же это: если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Ну, а все-таки если что меня спросит?

– Экой непонятливый балбес! Я уже сказала тебе: молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся.

– Да ведь он подумает, что я немой, – проворчал Афанасий Матвееч.

– Велика важность! пусть думает; зато скроешь, что ты дурак.

– Гм... Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут?

– Никто не спросит, никого не будет. А если, на случай, – чего боже сохрани! – кто и приедет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?

– Это остроумная, что ли, матушка?

– Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая улыбка, понимаешь, – насмешливая и презрительная.

– Гм.

«Ох, боюсь я за этого болвана! – шептала про себя Марья Александровна. – Решительно, он поклялся высосать все мои соки! Право бы, лучше было его совсем не брать!»

Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей всё казалось тихо. Афанасий Матвееч молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двухместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая – Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания:

– Марья Александровна! и вместе с Афанасием Матвеечем! приехали! откуда? Как кстати, а мы к вам, на весь вечер! Какой сюрприз!

Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим.

«Провалились бы вы! – подумала она про себя. – Это пахнет заговором! Надо исследовать! Но... не вам, сорокам, перехитрить меня!.. Подождите!..»

ГЛАВА XI

Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам; мимоходом под шумок, – внимание какой-нибудь графини из «высшего общества», в которое он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К., вице-губернаторское место, денежки, – одним словом, всё, так красноречиво расписанное Марьей Александровной, еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, лстя его самолюбия. Но вот – и не знаю, право, как это объяснить, – когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль: что ведь, во всяком случае, всё это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, вставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Все это, неизвестно почему, начало сердить Павла Александровича – признак очень дурной, потому что, при хорошем обороте дел, всё, напротив, кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове; очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли

его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми – в отставку! Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире! Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел наконец на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце: «Да правда ли это всё? Да сбудется ли это всё так, как Марья Александровна расписывала?» Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна – чрезвычайно хитрая дама, что она, как ни достойна всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера. Что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины и что, наконец, расписывать – всякий мастер. Думал он и о Зине; припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви; да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки, час тому, съел от нее дурака. При этом воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно, в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие: он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Покамест он барахтался в снегу, стоя собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович, с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе, добрел наконец до угла улицы и тут только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице; его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи! – говорил он про себя, плюя от злости. – А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами да с Гвадалквивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много экипажей – он удивился. «Неужели же гости, неужели званый вечер? – подумал он. – С какою же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья

Александровна была в деревне и привезла с собою Афанасия Матвейча, в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, из мщения, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться.

Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах, перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою головою, но уже в эспаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого, старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубококомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел, как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его.

– Как ваше здоровье, дядюшка? – спросил Мозгляков.

– Как... это ты? – проговорил наконец дядюшка. – А я, брат, немножко заснул. Ах, боже мой! – вскрикнул он, весь оживившись, – ведь я... без парика!

– Не беспокойтесь, дядюшка! я... я вам помогу, если вам угодно.

– А вот ты и узнал теперь мой секрет! Я ведь говорил, что надо дверь за-пи-рать. Ну, мой друг, ты должен не-мед-ленно дать мне свое честное сло-во, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы на-к-лад-ные.

– О, помилуйте, дядюшка! неужели вы меня считаете способным на такую низость! – вскричал Мозгляков, желая угодить старику для... дальнейших целей.

– Ну да, ну да! И так как я вижу, что ты благородный человек, то уж так и быть, я тебя уд-див-лю... и открою тебе все мои тай-ны. Как тебе нравятся, мой милый, мои у-сы?

– Превосходные, дядюшка! удивительные! как могли вы их сохранить так долго?

– Разуверься, мой друг, они на-к-лад-ные! – проговорил князь, с торжеством смотря на Павла Александровича.

– Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы, верно, черните их?

– Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные!

– Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю. Вы надо мною смеетесь!

– Parole d'honneur, mon ami!* – вскричал торжествующий князь, – и представь себе, все, решительно все, так же как и ты, обманываются! Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их накладывает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово...

– Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам: неужели вы меня считаете способным на такую низость?

– Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вывалил.

– Вывалил опять! когда же?

– А вот мы уже к монастырю подъезжали...

– Знаю, дядюшка, давеча.

– Нет, нет, два часа тому назад, не более. Я в монастырь поехал, а он меня взял да и вывалил; так напугал, – даже теперь сердце не на месте.

– Но, дядюшка, ведь вы почивали! – с изумлением проговорил Мозгляков.

– Ну да, почивал... а потом и поехал, впрочем, я... впрочем, я это, может быть... ах, как это странно!

– Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне! Вы преспокойно себе почивали, с самого послеобеда.

– Неужели? – И князь задумался. – Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я все помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то престрашный бык с рогами; а потом приснился какой-то прокурор, тоже как будто с рогами...

– Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.

– Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бонапарте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бонапарте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на папу?

– Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

– Ну да, это en face. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел, и, знаешь, какой разговорчивый, разбитной, вельсичак такой, так что он чрезвычайно меня позабавил.

* Честное слово, мой друг! (фр.).

– Это вы про Наполеона, дядюшка? – проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове, – мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета.

– Ну да, про На-по-леона. Мы с ним все про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили... анг-ли-чане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек! Но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не-о-би-таемый остров...

– Почему же на необитаемый? – спросил Мозгляков рассеянно.

– Ну, хоть и на о-би-таемый, только не иначе, как благоразумными жителями. Ну и разные разв-ле-чения для него устроить: театр, музыку, балет – и все на казенный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется, под присмотром, а то бы он сейчас у-лиз-нул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, о-те-чески со-держал. Он бы у меня и рас-ка-ялся...

Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу, – он еще сам не знал зачем; но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.

– Ах, mon ami! Я ведь тебе и забыл ска-зать. Представь себе, я ведь сделал сегодня пред-ло-жение.

– Предложение, дядюшка? – вскричал Мозгляков, оживляясь.

– Ну да, пред-ло-жение. Пахомыч, ты уж идешь? Ну, хорошо. *C'est une charmante personne...* Но, признаюсь тебе, милый мой, я поступил необ-ду-манно. Я только теперь это ви-жу. Ах, боже мой!

– Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение?

– Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю наверное когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, од-на-ко же, стран-но!

Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове.

– Но кому, когда вы сделали предложение, дядюшка? – повторил он в нетерпении.

– Хозяйской дочери, mon ami... cette belle personne...^{*} впрочем, я забыл, как ее зовут. Только, видишь ли, mon ami, я ведь никак не могу же-нить-ся. Что же мне теперь делать?

– Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?

– Ну да... я уверен.

– А если все это вы видели во сне, так же как и то, что вы другой раз вывалились из кареты?

– Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне! так что я теперь и не знаю, как туда по-ка-заться. Как бы это, друг мой, узнать на-вер-но, каким-нибудь по-сто-рон-ним образом: делал я предложение или нет? А то, представь, каково теперь мое положение?

– Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего.

– А что?

– Я наверно думаю, что вы видели это во сне.

– Я сам то же думаю, мой ми-лый, тем более что мне часто снятся по-доб-ные сны.

– Вот видите, дядюшка. Представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец...

– Ну да, мой друг; именно, может быть, от э-то-го.

– Тем более, дядюшка, что, как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрас-судного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и...

– Ну да, ну да.

– Представьте только одно: если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам, – что бы тогда было?

– Ах, боже мой! – вскрикнул испуганный князь. – А что бы тогда было?

– Помилуйте! да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор.

Мозгляков знал, чем можно было напугать старика.

– Ах, боже мой! – вскричал князь, дрожа как лист. – Неужели бы посадили?

^{*} Этой прелестной особе... (фр.).

– И потому рассудите, дядюшка: могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне.

– Непременно во сне, непременно во сне! – повторял напуганный князь. – Ах, как ты умно рассудил все это, мой милый! Я душевно тебе благодарен, что ты меня вра-зу-мил.

– А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе: без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно!

– Ну да... да, опасно!

– Вспомните только, что этой девице двадцать три года; ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом! да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете.

– Неужели?

– И наконец, вспомните, дядюшка: человек с вашими достоинствами...

– Ну да, с моими достоинствами...

– С вашим умом, с вашей любезностью...

– Ну да, с моим умом, да!..

– И наконец, вы – князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники?

– Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят! Я уж испытал от них столько коварства и злобы... Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в сумасшедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что б я там стал делать... в сумасшедшем-то доме?

– Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости.

– Гости? Ах, боже мой!

– Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.

– Но как я тебе благо-да-рен, мой милый, ты просто спаситель мой! Но знаешь ли что? Я лучше уеду.

– Завтра, дядюшка, завтра, утром, в семь часов. А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что уезжаете.

– Непременно уеду... к отцу Мисаилу... Но, мой друг, ну, как они меня там сос-ва-тают?

– Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне... так, как оно и действительно было.

– Ну да, непре-менно во сне! только, знаешь, мой друг, все-таки это был пре-оча-ро-ва-тельный сон! Она удивительно хороша собой и, знаешь, такие формы...

– Ну прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы...

– Как! так ты меня одного оставляешь! – вскричал князь в испуге.

– Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь: сначала я, а потом вы. Это будет лучше.

– Ну, хо-ро-шо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль.

– Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром...

– А завтра утром к иеромонаху, непре-менно к ие-ро-мо-наху! Charmant, charmant! А знаешь, мой друг, она уди-ви-тельно хороша собой... такие формы... и если б уж так мне надо было непременно жениться, то я...

– Боже вас сохрани, дядюшка!

– Ну да, боже сохрани!... Ну, прощай, мой милый, я сейчас... только вот за-пи-шу. А ргорос, я давно хотел тебя спросить: читал ты мемуары Казановы?

– Читал, дядюшка, а что?

– Ну да... Я вот теперь и за-был, что хотел сказать...

– После вспомните, дядюшка, – до свиданья!

– До свиданья, мой друг, до свиданья! Только все-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тельный сон!..

ГЛАВА XII

– А мы к вам все, все! И Прасковья Ильинишна тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть, – щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь, вместе с Зиной.

– И Катерина Петровна приедут-с, и Фелисата Михайловна тоже хотели быть-с, – прибавила Наталья Дмитриевна, колос-

сального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже три недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которую давно уже увивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком, вместе с косточками.

– Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня и еще вечером, – запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления, – но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?

– О боже мой, Марья Александровна, какие вы, право-с! – сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь, стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностью.

– Mais, ma charmante, – зашебетала Анна Николаевна, – ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще сегодня Петр Михайлович сказал Каллисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это нейдет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером да и думаем: поедем-ка к Марье Александровне да и решим всё разом! Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся, так ли, mon ange? – прибавила она игриво, целуя Марию Александровну. – Ах, боже мой! Зинаида Афанасьевна! но вы каждый день все более хорошеете! – Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине.

– Да им и нечего делать больше-с, как хорошесть-с, – сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи.

«Ах, черт бы их взял! я и не подумала об этом театре! изловчились, сороки!» – прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства.

– Тем более, мой ангел, – прибавила Анна Николаевна, – что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы знаете, в Духанове, у прежних помещиков, был театр. Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавесь и даже костюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь

мы нарочно заговорим о театре, вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то – кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться; ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет, – он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо.

– Конечно, возьмут ролю-с. Ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать-с, – многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна.

Анна Николаевна не обманула Марью Александровну: дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и комильфотностью.

Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрела с необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если б пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостью приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось, самые естественные; но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай; все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кой о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, видела все, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждою из посетительниц, хотя их было до десяти, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется, не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвевича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвевича можно было кой-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в

котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы «гм» с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство.

– Марья Александровна! Афанасий Матвееч с нами совсем говорить не хочет, – вскричала одна смелая востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. – Прикажите ему быть поучтивее с дамами.

– Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось, – отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь, – такой, право, неразговорчивый! Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь Фелисате Михайловне, Athanase? Что вы его спрашивали?

– Но... но... матушка, ведь ты же сама... – пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвееч. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет, в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятел от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю; но чай был слишком горячий. Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, все было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увезти от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание: дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.

Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.

– Ах, боже мой! Павел Александрович! – вскрикнуло несколько голосов.

– Ах, боже мой! да ведь это Павел Александрович! как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым-с? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуева-с, Павел Александрович, – пропищала Наталья Дмитриевна.

– Скрылся? – повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой. – Странное выражение! Извините, Наталья Дмитриевна! Я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать, – прибавил он, многозначительно взглянув на Марию Александровну.

Марья Александровна затрепетала.

«Как, неужели и этот болван бунтуется! – подумала она, пылливо всматриваясь в Мозглякова. – Нет, это уж будет хуже всего...»

– Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка... по службе, разумеется? – выскочила дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза.

– Отставка? какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге, – сухо отвечал Мозгляков.

– Ну, так поздравляю вас, – продолжала Фелисата Михайловна, – а мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тотчас слетишь.

– Разве одни учительские, в уездном училище; тут еще можно найти вакансию, – заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой.

– Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учительшки? – включила Фелисата Михайловна.

Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвейчем, который протягивал ему руку. Мозгляков преглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:

– Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам – дурак я иль нет?

– Зачем откладывать? Это и теперь видно, – громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха.

Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса.

– Вы от Бородуева? – решила наконец спросить Марья Александровна.

– Нет-с, я от дядюшки.

– От дядюшки? так вы, значит, были теперь у князя?

– Ах, боже мой! так, значит, князь уж проснулись; а нам скажали, что они все еще почивают-с, – прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито поглядывая на Марью Александровну.

– Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна, – отвечал Мозгляков, – он проснулся и, слава богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили, сначала у вас, а потом, уж окончательно, здесь, так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того некрепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за всё ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как, например, сегодня; а там уж его примет, с рук на руки, Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать, – за это я отвечаю.

Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью Александровну. Та сидела как будто онемевшая от изумления. С горестию признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила.

– Так они завтра чем свет уезжают? как же это-с? – проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне.

– Как же это так? – наивно раздалось между гостями. – А мы слышали, что... вот, право, странно!

Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг, неожиданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Карпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно, каждый вечер, ровно в семь часов, закусывала, – для желудка, как она выражалась, – и после закуски обыкновенно была в самом эманципированном состоянии духа, чтоб не сказать че-

го-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье Александровне.

– А, так вот вы как, Марья Александровна, – закричала она на всю комнату, – вот вы как со мной поступаете! Не беспокойтесь, я на минутку; я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать: верно ли то, что мне говорили? А! так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сиди себе дома да чулок вяжи! Весь город назвали, а меня нет! А давеча я вам и друг, и *mon ange*, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали и которая вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна! Не надо мне вашего шоколада *a la santé*^{*}, по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома! тьфу!

– Это видно-с, – заметила Наталья Дмитриевна.

– Но, помилуйте, Софья Петровна, – вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады, – что с вами? образумьтесь по крайней мере.

– Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна, я все знаю, всё, всё узнала! – кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. – Всё узнала! Ваша же Настасья прибежала ко мне и всё рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его допьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, – герцогиня в кружевах, – тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница! Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать! Я и почище вас людей видывала. Я у графини Залихватской обедала; за меня обер-комиссар Курочкин сватался! Очень надо мне ваше приглашение, тьфу!

– Видите ли, Софья Петровна, – отвечала Марья Александровна, выходя из себя, – уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в таком виде, и если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры.

– Знаю-с, вы прикажете меня вывести своим людишкам! Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте, выдавайте за-

^{*} Буквально: для здоровья (фр.).

муж кого хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной; мне наплевать на ваш шоколад! Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал; сейчас домой принесли, тьфу! А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой Матрешке вовремя вашу корову загонять, чтоб она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей Матрешке ноги перелломаю. Прощайте, Марья Александровна, счастливо оставаться, тьфу! – Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве.

– Я думаю, они выпили-с, – сладко произнесла Наталья Дмитриевна.

– Но только какая дерзость!

– *Quelle abominable femme!**

– Вот так уж насмешила!

– Ах, какие они неприличности говорили-с!

– Только что ж это она про сговор говорила? Какой же сговор? – насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна.

– Но это ужасно! – разразилась наконец Марья Александровна. – Вот эти-то чудовища и сеют пригорошнями все эти нелепые слухи! Удивительно не то, Фелисата Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества, – нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их...

– Князь! князь! – закричали вдруг все гости.

– Ах, боже мой! *se cher prince!*

– Ну, слава богу! мы теперь узнаем всю подноготную, – прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.

ГЛАВА XIII

Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своею осо-

* Какая отвратительная женщина! (фр.).

бою до невероятности. Фелисата Михайловна даже утверждала утром (конечно, не серьезно), что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно, – «потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности!» Марья Александровна впиалась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил ужасно и что всё дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеча, как и всегда.

– Ах, боже мой! вот и князь! а мы вас ждали, ждали, – закричали некоторые из дам.

– С нетерпеньем, князь, с нетерпеньем! – пропищали другие.

– Мне это чрезвычайно лестно, – шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Александровны остались только Анна Николаевна да Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвееч почтительно улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресла, близ камина.

– Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете? – пропищала Фелисата Михайловна.

– Ну да, mesdames, уезжаю. Я немедленно хочу ехать за границу.

– За границу, князь, за границу! – вскричали все хором. – Да что это вам вздумалось?

– За границу, – подтвердил князь, охорашиваясь, – и, знаете, я особенно хочу туда ехать для новых идей.

– Как это для новых идей? Это об чем же? – говорили дамы, переглядываясь одна с другой.

– Ну да, для новых идей, – повторил князь с видом глубочайшего убеждения. – все теперь едут для новых идей. Вот и я хочу получить новые идеи.

– Да уж не в масонскую ли ложу вы хотите поступить, любезнейший дядюшка? – включил Мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью.

– Ну да, мой друг, ты не ошибся, – неожиданно отвечал дядюшка. – Я, действительно, в старину к одной масонской ложе за границей принадлежал и даже имел, в свою очередь, очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда мно-

го сделать для современно-го прос-вещения и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю от-пус-тить. Но он, к удивлению моему, сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был че-ло-век, потом вдруг встречаю его в Па-ри-же, франтом таким, в бакенах, идет по буль-вару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул го-ло-вой. И мамзель с ним такая бойкая, остроглазая, такая за-ман-чи-вая...

– Ну, дядюшка! Да вы, после этого, всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете, – вскричал Мозгляков, хохоча во все горло.

– Ты совершенно уга-дал мои желания, мой милый, – отвечал князь без запинки. – Я именно хочу их отпустить всех на во-лю.

– Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же все убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить? – вскричала Фелисата Михайловна.

– Конечно, все разбегутся, – тревожно отозвалась Анна Николаевна.

– Ах, боже мой! Не-уже-ли они и в самом деле убегут? – вскричал князь с удивлением.

– Убегут-с, тотчас же все убегут-с и вас одного и оставят-с, – подтвердила Наталья Дмитриевна.

– Ах, боже мой! Ну так я их не от-пу-щу на волю. Впрочем, ведь это я только так.

– Эдак-то лучше, дядюшка, – скрепил Мозгляков.

До сих пор Марья Александровна слушала молча и наблюда-ла. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл и что это вовсе не натурально.

– Позвольте, князь, – начала она громко и с достоинством, – вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвейча. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остано-вились в моем доме.

Афанасий Матвейч улыбнулся и приосанился. Ему показало-сь, что его похвалили.

– Ах, я очень рад, – сказал князь, – А-фа-насий Матвейч! По-звольте, я что-то при-по-минаю. А-фа-насий Мат-ве-ич. Ну да, это тот, который в деревне. Charmant, charmant, очень рад. Друг мой! – вскричал князь, обращаясь к Мозглякову, – да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выхо-дило, Как бишь это? Муж в дверь, а жена... ну да, в какой-то город и жена тоже по-е-хала...

– Ах, князь, да это, верно, муж в дверь, а жена в Тверь, – тот самый водевиль, который у нас прошлого года актеры играли, – подхватила Фелисата Михайловна.

– Ну да, именно в Тверь; я всё за-бы-ваю. Charmant, charmant! Так это вы тот самый и есть? Чрезвычайно рад с вами поз-на-ко-миться, – говорил князь, не вставая с кресел и протяги-вая руку улыбающемуся Афанасию Матвейчу. – Ну, как ваше здоровье?

– Гм...

– Он здоров, князь, здоров, – торопливо ответила Марья Александровна.

– Ну да, это и видно, что он здо-ров. И вы все в де-ревне? Ну, я очень рад. Да какой он крас-но-щекий, и все смеется...

Афанасий Матвейч улыбался, кланялся и даже расшарки-вался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг, ни с того ни с сего, самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхну-ла и сверкающими глазами посмотрела на Марью Александров-ну, которая, в свою очередь, разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.

– Как вы почивали, князь? – спросила она медоточивым го-лосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвейчу, чтоб он немедленно убирался на свое место.

– Ах, я очень хорошо спал, – отозвался князь, – и, знаете, видел один очарова-тельный сон, о-ча-ро-ва-тель-ный сон!

– Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны, – вскричала Фелисата Михайловна.

– И я тоже-с, люблю-с очень-с! – прибавила Наталья Дмитри-евна.

– О-ча-ро-вательный сон, – повторял князь с сладкой улыб-кой, – но зато этот сон вели-чайший секрет!

– Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да это, долж-но быть, удивительный какой-нибудь сон? – заметила Анна Ни-колаевна.

– Ве-ли-чайший секрет, – повторял князь, с наслаждением подзадоривая любопытство дам.

– Так это, должно быть, ужасно интересно! – кричали дамы.

– Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви! – вскричала Фе-лисата Михайловна. – Ну, признайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, признайтесь!

– Признайтесь, князь, признайтесь! – подхватили со всех сторон. Князь торжественно и с упоением внимал всем этим крикам. Предложения дам чрезвычайно льстили его самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.

– Хотя я и сказал, что мой сон – величайший секрет, – отвечал он наконец, – но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совершенно его от-га-дали.

– Отгадала! – с восторгом вскричала Фелисата Михайловна. – Ну, князь! Теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица?

– Непременно откройте!

– Здешняя иль нет?

– Миленький князь, откройте!

– Душенька князь, откройте! хоть умрите, да откройте! – кричали со всех сторон.

– Mesdames, mesdames!.. если вы уж хотите так на-сто-ятельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это – самая очаровательная и, можно сказать, самая не-по-рочная девица из всех, которых я знаю, – проямлил совершенно растаявший князь.

– Самая очаровательная! и... здешняя! кто ж бы это? – спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой.

– Разумеется, те-с, которые здесь первые красавицы считаются-с, – проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину.

– Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему ж бы вам наяву не жениться? – спросила Фелисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом.

– А как бы мы славно женили вас! – подхватила другая дама.

– Миленький князь, женитесь! – пропищала третья.

– Женитесь, женитесь! – закричали со всех сторон. – Почему ж не жениться?

– Ну да... почему ж не жениться? – поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками.

– Дядюшка! – вскричал Мозгляков.

– Ну да, мой друг, я тебя по-ни-маю! Я именно хотел вам сказать, mesdames, что я уже не в состоянии более жениться, и, проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки,

я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за европейским просвещением.

Зина побледнела и с невыразимой тоскою посмотрела на мать свою. Но Марья Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала, испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла всё и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих. Огонь вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяя Мозглякова как таракана и одним решительным, смелым ударом завоевать вновь всё свое потерянное влияние над идиотом князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная; но за дерзостью не в карман было ходить Марье Александровне!

— Mesdames, — начала она торжественно и с достоинством (Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность), — mesdames, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам и нахожу, что пора мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе — совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)... Никогда бы я, первая, не решилась высказать важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя; но мне показалось, что он сам, отдаленными намеками на то же самое обстоятельство, подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения... Не правда ли, князь, я не ошиблась?

— Ну да, вы не ошиблись... и я очень рад... — проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.

Марья Александровна, для большего эффекта, остановилась перевести дух и оглядела все общество. Все гости с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул; Зина покраснела и привстала с кресел; Афанасий Матвеев в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался.

— Да, mesdames, я с радостью готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный кра-

сотою и... достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь! – заключила она дрожащим от слез и от волнения голосом, – милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность! Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну, и... какая мать может обвинить меня в этом случае?

Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произведенный неожиданною выходкой Марьи Александровны. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гости, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними намеками, были ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. «Стало быть, князь действительно, своею собственною волею, женится на Зине? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться? Стало быть, Марья Александровна никого не боится? Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится?» Послышался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марью Александровну Наталья Дмитриевна; за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину; уцепились даже за Афанасия Матвевича. Марья Александровна живописно простерла руки и, почти насильно, заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. При объятиях матери с дочерью он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились к нему с поздравлениями.

– Поздравляем, князь! поздравляем! – кричали со всех сторон.

– Так вы женитесь?

– Так вы действительно женитесь?

– Миленький князь, так вы женитесь?

– Ну да, ну да, – отвечал князь, чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами, – и признаюсь вам, что мне всего более нравится ваше милое участие ко мне, которое я никогда не забуду, ни-когда не забуду. Charmant! charmant! вы даже про-сле-зили меня...

– Поцелуйте меня, князь! – громче всех кричала Фелисата Михайловна.

– И, признаюсь вам, – продолжал князь, прерываемый со всех сторон, – я наиболее удивляюсь тому, что Марья Ивановна, наша почтенная хозяйка, с такою необыкновенною проницательностью угадала мой сон. Точно как будто она вместо меня его видела. Необыкновенная проницательность! Необыкновенная проницательность!

– Ах, князь, вы опять за сон?

– Да уж признайтесь, князь, признайтесь! – кричали все, обступив его.

– Да, князь, скрывать нечего, пора обнаружить эту тайну, – решительно и строго сказала Марья Александровна. – Я поняла вашу тонкую аллегорическую, вашу очаровательную деликатность, с которою вы старались мне намекнуть о желании вашем огласить ваше сватовство. Да, mesdames, это правда: сегодня князь стоял на коленях перед моею дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение.

– Совершенно как будто наяву и даже с теми самыми обстоятельствами, – подтвердил князь. – Мадмуазель, – продолжал он, с необыкновенною вежливостью обращаясь к Зине, которая все еще не пришла в себя от изумления, – мадмуазель! Клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если бы другие раньше меня не произнесли его. Это был очаровательный сон, очаровательный сон, и я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это высказать. Charmant! charmant!..

– Но, помилуйте, как же это? Ведь он все говорит про сон, – прошептала Анна Николаевна встревоженной и слегка побледневшей Марье Александровне. Увы! У Марьи Александровны, и без этих предостережений, давно уже ныло и трепетало сердце.

– Как же это? – шептали дамы, переглядываясь одна с другой.

– Помилуйте, князь, – начала Марья Александровна с болезненно искривившеюся улыбкою, – уверяю вас, что вы меня удивляете. Что за странная у вас идея про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но... Если это шутка, то это довольно неуместная шутка... Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но...

– В самом деле, это, может быть, у них от рассеянности-с, – прошипела Наталья Дмитриевна.

– Ну да... может быть, это и от рассеянности, – подтвердил князь, все еще не совсем понимая, чего от него добиваются. – И вообразите, я вам расскажу сейчас один анекдот. Зовут меня, в Петербурге, на похороны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais honnête*, а я и смешал, что на именины. Именины-то еще на прошлой неделе прош-ли. Букет из камелий имениннице приготовил. Вхожу, и что ж вижу? Человек почтенный, солидный – лежит на столе, так что я удивился. Я просто не знал, куда деваться с букетом.

– Но, князь, дело не в анекдотах! – с досадою перебила Марья Александровна. – Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но давеча вы сами здесь, у этого рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это... Это меня, можно сказать, фразировало... Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила это все до вашего пробуждения. Но я – мать; она – дочь моя... Вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы, под видом аллегии, хотите рассказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас, может быть, сбивают... я даже подозреваю, кто именно... но... объяснитесь, князь, объяснитесь, скорее, удовлетворительнее. Так нельзя шутить с благородным домом.

– Ну да, так нельзя шутить с благородным домом, – поддакнул князь бессознательно, но уже начиная понемногу беспокоиться.

– Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно; подтвердите, сейчас же подтвердите здесь, при всех, что вы делали давеча предложение моей дочери.

– Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я все это уже рассказывал, и Фелисата Яковлевна совершенно угадала мой сон.

– Не сон! не сон! – закричала в ярости Марья Александровна, – не сон, а это было наяву, князь, наяву, слышите ли, наяву!

– Наяву! – вскричал князь, в удивлении подымаясь с кресел. – Ну, друг мой! как ты давеча напрозорил, так и вышло! – прибавил он, обращаясь к Мозглякову. – Но уверяю вас, почтенная Марья Степановна, что вы заблуждаетесь! Я совершенно уверен, что я это видел только во сне!

– Господи помилуй! – вскрикнула Марья Александровна.

* Мещанское, но порядочное семейство (фр.).

– Не убивайтесь, Марья Александровна, – вступилась Наталья Дмитриевна. – Князь, может быть, как-нибудь позабыли-с. Они вспомнят-с.

– Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна, – с негодованием возразила Марья Александровна, – разве такие вещи забываются? разве это можно забывать? Помилуйте, князь! Вы смеетесь над нами иль нет? Или вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма? какого-нибудь Ферлакура, Лозёна? Но, кроме того, что это вам не по летам, уверяю вас, что это вам не удастся! моя дочь не французская виконтесса. Давеча здесь, вот здесь, она вам пела романс, и вы, увлеченные ее пеньем, опустили на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь: сплю я иль нет?

– Ну да... а, впрочем, может быть, нет... – отвечал растерявшийся князь. – Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне...

– Фу ты, боже мой, что это такое: не во сне – во сне, во сне – не во сне! да это черт знает что такое! Вы бредите, князь, или нет?

– Ну да, черт знает... впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился... – проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды.

– Но как же вы могли видеть во сне, – убивалась Марья Александровна, – когда я, вам же, с такими подробностями, рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали?

– Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывали-с, – проговорила Наталья Дмитриевна.

– Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказывал, – подтвердил совершенно потерявшийся князь.

– Вот комедия-то! – шепнула Фелисата Михайловна своей соседке.

– Ах ты, боже мой! да тут всякое терпенье лопнет! – кричала Марья Александровна, в исступлении ломая руки. – Она вам пела романс, романс пела! Неужели вы и это во сне видели?

– Ну да, и в самом деле как будто пела романс, – пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его.

– Друг мой! – вскричал он, обращаясь к Мозглякову. – Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то ро-

манс и в этом романсе были все какие-то замки, все замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур! Ну да, я это все помню... так что я и заплакал... А теперь вот и затрудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне...

– Признаюсь вам, дядюшка, – отвечал Мозгляков сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги, – признаюсь вам, мне кажется, все это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна спела романс. Меня тогда не было, но вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину; может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о которой вы же сами нам утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать, вам, вследствие приятных впечатлений, и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение...

Марья Александровна была просто оглушена такою дерзостью.

– Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было, – закричал князь в восторге. – Именно вследствие приятных впечатлений! Я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и хотел жениться. И виконтесса тоже была... Ах, как ты умно это распутал, мой милый! Ну! я теперь совершенно уверен, что все это видел во сне! Марья Васильевна! Уверю вас, что вы ошибаетесь! Это было во сне, иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами...

– А! теперь я вижу ясно, кто тут нагадил! – закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозглякову. – Это вы, сударь, вы, бесчестный человек, вы все это наделали! вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду! Заплатишь, заплатишь, заплатишь!

– Марья Александровна, – кричал Мозгляков в свою очередь, покраснев как рак, – ваши слова до такой степени... Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова... Ни одна светская дама не позволит себе... я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать...

– Ну да, так завлекать... – поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова.

– Афанасий Матвеич! – взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. – Неужели вы не слышите, как

нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле не отец семейства, а отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства!

– Жена! – с важностью начал Афанасий Матвеич, гордясь тем, что и в нем настала нужда, – жена! Да уж не видала ль ты и в самом деле все это во сне, а потом, как проспалась, так и перепутала все, по-свойски...

Но Афанасию Матвеичу не суждено было докончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гости удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности. Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выцарапать ему глаза. Но ее удержали силою. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку, да подлила еще яду.

– Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь, – проговорила она самым медоточивым голосом.

– Как было? что такое было? – кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько.

– Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает-с...

– Да что такое бывает? Жилы вы из меня, что ли, тянуть хотите?

– Может быть, вы и в самом деле видели это во сне-с.

– Во сне? я? во сне? И вы смеете мне это говорить прямо в глаза?

– Что ж, может быть, и в самом деле так было, – отозвалась Фелисата Михайловна.

– Ну да, может быть, и в самом деле так было, – пробормотал тоже князь.

– И он, и он туда же! Господи боже мой! – вскричала Марья Александровна, всплеснув руками.

– Как вы убиваетесь, Марья Александровна! Вспомните-с, что сны ниспосылаются богом-с. Уж коли бог захочет-с, так уж никто как бог-с, и на всем его святая воля-с лежит-с. Сердиться тут уж нечего-с.

– Ну да, сердиться нечего, – поддакивал князь.

– Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли? – едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха.

– Это они из приличия-с в обморок упали-с, – шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне.

Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены, вдруг выступило одно, безмолвное доселе, лицо – и вся сцена немедленно изменилась в своем характере...

ГЛАВА XIV

Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком читалась «этого дурака» Шекспира с «своим учительшкой», но никогда, во всю мордасовскую жизнь свою, Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романтической или, лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать.

Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза.

– Маменька! – сказала Зина. – К чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что, право, не стоит унижительного труда прикрывать эту грязь!

– Зина! Зина! что с тобою? Опомнись! – вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив со своих кресел...

– Я вам сказала, я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора, – продолжала Зина. – Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я, я своим согласием дала ход этой гадкой... интриге! Вы – мать; вы меня любите; вы думали по-своему, по своим понятиям, устроить мне счастье. Вас еще можно простить; но меня, меня – никогда!

– Зина, неужели ты хочешь рассказывать?.. О боже! я почувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца!

– Да, маменька, все расскажу! Я опозорена, вы... мы все опозорены!..

– Ты преувеличиваешь, Зина! ты вне себя и не помнишь, что говоришь! и к чему же рассказывать? Тут смысла нет... Стыд не на нас... Я докажу сейчас, что стыд не на нас...

– Нет, маменька, – вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе, – я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю и которые приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них обид; ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы сейчас же сделать в тридцать раз хуже, чем я или вы! Смеют ли, могут ли они быть нашими судьями?

– Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же! Это нас обижают! – слышалось со всех сторон.

– Да они и впрямь сами не понимают, что говорят-с, – проговорила Наталья Дмитриевна.

Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такою огласкою, с такими признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопились. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Все бы могло быть исправлено! Все бы могло быть улажено! Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своею поспешностью и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом-старикашкой, да и выгнать его вон! Но Зина, как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю.

– Князь, – сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула, – так поразила она его в эту минуту. – Князь! простите меня, простите нас! мы обманули, мы завлекли вас...

– Да замолчишь ли ты, несчастная! – в исступлении вскричала Марья Александровна.

– Сударыня! сударыня! *ma charmante enfant...** – бормотал пораженный князь.

Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний.

* Милое дитя (фр.).

– Да, мы обманули вас обе, князь: маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас – слабого, беззащитного, облапошили, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Все это было ужасно низко, и я каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела... Но что я! двойная низость оправдывать себя в таком деле! Но я объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плюсуньей, рабой...я поклялась и свято бы сдержала клятву мою!..

Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гости как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина.

– Но я женюсь на вас, *mabelle enfant**, если уж вы так хотите, – бормотал он, – и это для меня будет большая честь! Только уверяю вас, что это было действительно как будто бы сон... Ну, мало ли что я увижу во сне? К чему же так беспокоиться? Я даже как будто ничего и не понял, *mon ami*, – продолжал он, обращаясь к Мозглякову, – объясни мне хоть ты, пожалуйста...

– А вы, Павел Александрович, – подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, – вы, на которого я одно время решилась было смотреть как на моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, – неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня! Но не мне читать вам нравоучения! Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетения! Я вас никогда не любила, и если решилась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада... Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой... Вы жестоко отомстили мне, и, если это льстит вашей гордости...

– Зинаида Афанасьевна! – вскричал Мозгляков.

* Прелестное дитя (фр.).

– Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть...

– Зинаида Афанасьевна!!

– Если когда-нибудь, – продолжала Зина, давая в себе слезы, – если когда-нибудь вы любили меня...

– Зинаида Афанасьевна!!!

– Зина, Зина! дочь моя! – вопила Марья Александровна.

– Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и больше ничего! – скрепил Мозгляков, и всё пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голоса...

Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся наконец взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, – близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до иступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмутив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это такое я наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее!.. Почти то же самое случилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе; насытив свое негодование и самолюбие и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью, перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добились его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты.

– Я – осел, Зинаида Афанасьевна! – вскричал он в порыве иступленного раскаяния. – Нет! что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком!.. Дядюшка! я обманул вас! Я, я обманул вас! Вы не спали; вы действительно, наяву, делали предложение, а я, я, подлец, из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне.

– Удивительно любопытные вещи-с открываются-с, – прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне.

– Друг мой, – отвечал князь, – ус-по-койся, по-жа-луйста; ты меня, право, испугал своим кри-ком. Уверяю тебя, что ты о-шиба-ешься... Я, пожалуй, готов жениться, если уж так на-до; но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне...

– О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь! Дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело! Сообразите! подумайте!

– Друг мой, изволь, я по-ду-маю. Постою, дай же мне вспомнить все по поряд-ку. Сначала я видел кучера Фе-о-фи-ла...

– Э! не до Феофила теперь, дядюшка!

– Ну да, положим, что теперь не до не-го. Потом был На-по-ле-он, а потом как будто мы чай пили и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела...

– Но, дядюшка, – брякнул Мозгляков в затмении ума своего, – ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь я тут же был, я сам это слышал! Я спрятался и смотрел на вас в дырочку...

– Как, Марья Александровна, – подхватила Наталья Дмитриевна, – так вы уж и князю рассказывали-с, что я у вас сахар украла из сахарницы! Так я к вам сахар воровать езжу-с!

– Прочь от меня! – закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния.

– Нет, не прочь, Марья Александровна, вы этак не смеете говорить-с, а стало быть, я у вас сахар краду-с? Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаете-с. Мне Софья Петровна подробно рассказывала-с... Так я у вас сахар краду-с?..

– Но, mesdames, – закричал князь, – ведь это было только во сне! Ну, мало ли что я увижу во сне?..

– Кадушка проклятая, – пробормотала вполголоса Марья Александровна.

– Как, я и кадушка-с! – взвизгнула Наталья Дмитриевна. – А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете-с! У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас-то дурак-с...

– Ну да, я помню, была и ка-ду-шка, – пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной.

– Как, и вы туда же дворянку бранить-с? Как вы смеете, князь дворянку бранить-с? Коли я кадушка, так вы безногие-с...

– Кто, я безногий?

– Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!

– Да еще и одноглазый! – закричала Марья Александровна.
– У вас корсет вместо ребер-с! – прибавила Наталья Дмитриевна.

– Лицо на пружинах!

– Волос своих нет-с!..

– И усишки-то, у дурака, накладные, – скрепила Марья Александровна.

– Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий! – вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. – Друг мой! Это ты меня продал! Это ты рассказал, что волосы у меня накладные...

– Дядюшка!

– Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оставаться. Уведи меня куда-нибудь... *quelle société!** Куда это ты завел меня, боже мой?

– Идиот! подлец! – кричала Марья Александровна.

– Боже ты мой! – говорил бедный князь. – Я вот только немного забыл, зачем я сюда приехал, но я сейчас вспомню. Уведи ты меня, братец, куда-нибудь, а то меня растерзают! Притом же... мне немедленно надо записать одну новую мысль...

– Пойдемте, дядюшка, еще не поздно; я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами...

– Ну да, в гостиницу. *Adieu, ma charmante enfant...* вы одна... вы только одна... добродетельны. Вы благородная девушка! Пойдем же, мой милый. О боже мой!

Но не стану описывать окончания неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась наконец одна, среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы! сила, слава, значение – все исчезло в один этот вечер! Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? – философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обещена, сплетни пойдут бесконечные! Ужас!

Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвейчу, который забился наконец куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило наконец и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не приходит...

* Какое общество! (фр.).

ГЛАВА XV

Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударам ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны! Нет! судьба ей готовила побольше и получше.

Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самою злобною и ожесточенною радостью, – как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени потерять стыд и совесть! – кричали со всех сторон, – до такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы!» и проч. и проч. Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная, жалкая старуха, в отчаянии и в слезах, прибежала в дом Марьи Александровны и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживет. Старуха говорила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке, о скандальном ее поведении и проч. Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишко, с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снега со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлою комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал

он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. Его старуха мать, которая целый год, чуть не до последнего часу, ждала воскресения своего Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагладелась и все-таки не могла понять, хоть и знала это, что чрез несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там, под сугробами снегу, на бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту минуту. Всё лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему как ангел божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами, и – и все прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею.

– Зина, – говорил он, – Зиночка! Не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя, – вот так, как теперь смотрю, – буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня, буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть не приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь! А помнишь, как ты прежде смеялась? помнишь... Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было, – потому, Зиночка, потому, что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал и думал, долго, много передумал, и давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше!.. Я не годился жить, Зиночка!

Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его.

– Что ты плачешь, мой ангел? – продолжал больной. – О том, что я умираю, об этом только? Но ведь все прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты умнее меня, ты чище сердцем и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще

любить меня? И чего мне стоило перенести эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то сколько тут было, может быть и благородного... не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь все это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств...

– Полно, – говорила Зина, – полно!.. все это не так, напрасно... ты убиваешь себя!

– Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты простила меня, и давно, может быть, простила; но ты судила меня и поняла – кто я таков; вот это-то меня и мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А, я! Когда дошло до дела... Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта (за будущего то есть), не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло наконец до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянный человек! О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, – куда! – может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше! Теперь, по крайней мере, горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила! Хоть в этот последний час... Я ведь знаю, что я недостоин любви твоей, но... но... о ангел ты мой!

Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала. Но он не слушал ее; его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, душливым голосом.

– Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить! – сказала Зина. – Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе!

– Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я умираю, – продолжал больной. – Во всем я один виноват! Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день... ну, знаешь, после записки-то... и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, – но все мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени... Я прощаю тебя, умирая на руках твоих... Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

– Не поминай об этом! – сказала Зина, – не говори этого! ты не такой... будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом!

– Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил! Ведь все то время, с тех пор, я был один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру; ведь меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений! мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я всё бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься наконец и скажешь: «Нет! он не такой дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

– Нет, нет, Вася, нет! – говорила Зина.

Она припала к нему на грудь и целовала его руки.

– А как я ревновал тебя все это время! Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе! Я подсылал к тебе, караул-лил, шпионил... вот она все ходила (и он кивнул на мать). – Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О ангел мой? Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет, настанет холод, зима на душе, и забудешь ты меня, Зиночка!..

– Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!.. ты мой первый... всегдашний...

– Всё умирает, Зиночка, всё, даже и воспоминания!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Пользуйся жизнью, Зина, живи долго, живи счастливо. Полюби и другого, коль полюбится, – не мертвеца же любить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка! О золотые, невозвратные дни... Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний, закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни, вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас... А теперь! Посмотри, посмотри!

И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое, тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.

И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его, как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее «отстранить этот последний и главный кинжал от ее сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла наконец

в отчаянии, потому что Зина решила ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели. Но больному становилось все хуже и хуже. Настал и еще день, но уже не было и надежды, что страдалец переживет его. Старуха мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он все смотрел на Зину, все искал ее глазами, и когда уже свет начал меркнуть в его глазах, он все еще блуждающею, неверною рукою искал руку ее, чтоб сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда наконец последний, прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу.

– Это ты, змея подколодная, извела его! – закричала она в отчаянии Зине. – Ты, разлучница проклятая, ты, злодейка, его погубила!

Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над мертвым как обезумевшая. Наконец наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вышла из комнаты. Глаза ее горели, голова кружилась. Мучительные ощущения, две почти бессонные ночи чуть-чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувствовала, что всё ее прошедшее как бы оторвалось от ее сердца и началась новая жизнь, мрачная и угрожающая. Но не прошла она десяти шагов, как Мозгляков как будто вырос перед нею из-под земли; казалось, он нарочно поджидал на этом месте.

– Зинаида Афанасьевна, – начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще было довольно светло, – Зинаида Афанасьевна, я, конечно, осел! То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел... Я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна, но... вы извините, это от разных причин...

Зина почти бессознательно посмотрела на него и молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее внизу, беспрепятственно заглядывая ей в лицо.

– Зинаида Афанасьевна, – продолжал он, – я рассудил, и если вы сами захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть всё, Зинаида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но только с одним условием: покамест мы здесь, всё останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно скорее; я, потихоньку, вслед за вами; обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так, чтоб с вами был только маленький чемоданчик... а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее! Мне нельзя дожидаться; нас могут увидеть вместе.

Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же всё понял, снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок.

«Как же это? – подумал он. – Третьего дня еще вечером она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла? Видно, день на день не приходит!»

А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь, и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом наутро. Каллист Станиславич почти не отходил от больного. К вечеру составил консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения им посланы были по-латыни. Но, несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, просил Каллиста Станиславича спеть ему какой-то романс, говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге) в голову. Не отвергали и некоторого нравственного потрясения. Заключение же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрет. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок, на третий же день к вечеру, помер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьезного оборота дела. Бросились толпами в гостиницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное, судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили «убийц несчастного князя», подразумевая под этим, конечно, Марию Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история, уже по одной своей скандальности, может получить неприятную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и – чего-чего не было переговорено и пересказано. Все это время Мозгляков суетился,

кидался во все стороны, и наконец голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завез князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником, как и где хоронить, кому дать знать? везти ли тело в Духаново? К тому же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не обвинили его в смерти почтенного старца. «Пожалуй, еще дело отзовется в Петербурге, в высшем обществе!» – думал он с содроганием. От мордасовцев нельзя было добиться никакого совета; все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мертвого тела и оставили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день, рано утром, в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заговорил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по Большой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович немного как будто бы струсил и не знал, как быть с приезжим гостем. Гость был довольно известный князь Щепетилов, родственник покойнику, человек еще почти молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих эполетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицейместер, например, совсем потерялся; разумеется, только нравственно; физически же он явился налицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали, что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого, полетел вслед за дядей в Мордасов, где как громом поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи об обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже немного потерялся, давая нужные объяснения; да и все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми. К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое недовольное лицо, хотя, казалось бы, нельзя быть недовольну наследством. Он тотчас же взялся за дело сам, лично. Мозгляков же немедленно и постыдно ступшевался перед настоящим, не самозванным племянником и исчез – неизвестно куда. Решено было немедленно перенести тело покойника в монастырь, где и назначено было отпевание. Все распоряжения приезжего отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и приличием. Назавтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Марья Александровна лично явится в церковь и, на коленях перед

гробом, будет громко испрашивать себе прощения и что всё это должно быть так по закону. Разумеется, всё это оказалось вздором, и Марья Александровна не явилась в церковь. Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины домой ее маменька в тот же вечер решила перебраться в деревню, считая более невозможным оставаться в городе. Там тревожно прислушивалась она из своего угла к городским слухам, посылала на разведки узнавать о приезде лице и все время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек ее деревенского дома – и потому Марья Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах; за ним тянулась длинная вереница экипажей, провожавших покойника до поворота в город. И долго еще чернели на белоснежном поле эти мрачные дроги, везомые тихо, с подобающим величием. Но Марья Александровна не могла смотреть долго и отошла от окна.

Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и Афанасием Матвейчем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвейчем... Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвейч... Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; все это очень неверно.

Прошло три года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспе-

диции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного отечества для ревизии или для какой-то другой цели, наверное не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и наконец после долгого странствия, явилась в главном городе «отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составляющих ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на кого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже два года как женился, когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша «ужасно хороши из себя-с, даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»; что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, девять, включая в то число и действительных статских советников; что, наконец, «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька-с приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с» – но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвейче, но в «отдаленном краю» об нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марию Алек-

сандровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одною из особ 4-го класса. Кругом нее теснилось несколько припадавших к покровительству дам, и Марья Александровна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми, Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же, почти мгновенно, оправилась. Она с любезностью благоволила узнать Павла Александровича; спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему, считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но увы! все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и проч. и проч. пропало даром. Зина совершенно не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный, потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего, воротился он на квартиру, совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса.

Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.

Впервые опубликовано: «Русское слово», март 1859 г.

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смиреннее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довел; он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с белыми, как слоновою костью, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вы-

шедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожителства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсионера. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыха-

ли, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имяние, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем – генеральша.

В доме у ней была своя половина, где всё время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, – словом, она извлекла из своего генеральства всё, что могла извлечь. Генерал во всё это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой прозвище»? – и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй и становились всё реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и зло-

сти, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя – объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможно разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба – ни более, ни менее. Откуда он взялся – покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутком, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; что это был человек великий, непонятный и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутком, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил – трудно представить неспециалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, – за что? неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных Иван-Яковличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барыня-

ми, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец все переменялось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, – одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для непрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, – подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные – разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими

слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подавание под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово нога, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти ежедневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

– Каково же будет вам, – говорил Фома, – если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подавания? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой – но ведь это может случиться – под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то – позвольте это вам сказать откровенно, полковник, – всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарпортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось

тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только попробует жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у такого отца, глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвергивался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, – прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подыметя бегодня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

– Жестокий сын! – кричит генеральша, очнувшись, – ты растерзал мои внутренности... *mes entrailles, mes entrailles!* *

– Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? – робко возражает полковник.

– Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

* Мои внутренности (фр.).

– Ну, да ведь она, братец, *grande dame*^{*}, генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

– Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

– Это, брат, девица Перепелицына, – замечает полковник своему слушателю, – превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но заматавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фо-

* Светская дама (фр.).

мич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича – разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалования или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действи-

тельно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса [псевдоним О.И. Сенковского, русского журналиста, беллетриста, критика, редактора журнала «Библиотека для чтения»]. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутках составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться – вот была главная потребность его! Его не хвалили – так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами, – говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, – не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда – горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастья отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в

самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы – огорченного литератора, из Фомы – шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на всё предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали – и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались – и он сам стал над другими ломаться. Он был шутком и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только рассказы, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности – это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жерт-

воватъ собою интересамъ другихъ – ихъ призваніе. Иной бы назвалъ его и малодушнымъ, и бесхарактернымъ, и слабымъ. Конечно, онъ былъ слабъ и даже ужъ слишкомъ мягокъ характеромъ, но не отъ недостатка твердости, а изъ боязни оскорбить, поступить жестоко, изъ излишняго уваженія къ другимъ и къ человеку вообще. Впрочемъ, бесхарактеренъ и малодушенъ онъ былъ единственно, когда дело шло о его собственныхъ выгодахъ, которыми онъ пренебрегалъ въ высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкамъ, и даже нередко отъ техъ, для которыхъ жертвовалъ этими выгодами. Впрочемъ, онъ никогда не верилъ, чтобъ у него были враги; они, однако жъ, у него бывали, но онъ ихъ какъ-то не замечалъ. Шуму и крику въ домѣ онъ боялся какъ огня и тотчасъ же всемъ уступалъ и всему подчинялся. Уступалъ онъ изъ какого-то застенчиваго добродушія, изъ какой-то стыдливой деликатности, «чтобъ уже такъ», говорилъ онъ скороговоркою, отдавая отъ себя все посторонніе упреки въ поворствѣ и слабости – «чтобъ ужъ такъ ... чтобъ ужъ все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что онъ готовъ былъ подчиниться всякому благородному вліянію. Мало того, ловкій подлецъ могъ совершенно имъ овладѣть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировавъ это дурное дело въ благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другимъ и въ этомъ случаѣ былъ далеко не безъ ошибокъ. Когда же, послѣ многихъ страданій, онъ рѣшался наконецъ увериться, что обманувшій его человекъ бесчестенъ, то прежде всехъ обвинялъ себя, а нередко и одного себя. Представьте же себѣ теперь вдругъ воцарившуюся въ его тихомъ домѣ капризную, выживавшую изъ ума идиотку неразлучно съ другимъ идиотомъ – ее идоломъ, боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаграждать себя за всё прошлое, – идиотку, передъ которой дядя считалъ своею обязанностью благоговѣть уже потому только, что она была мать его. Начали съ того, что тотчасъ же доказали дядѣ, что онъ грубъ, нетерпеливъ, невежественъ и, главное, эгоистъ въ высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповѣдовала. Да я думаю, и Фома Фомичъ также, по крайней мерѣ отчасти. Убедили дядю и въ томъ, что Фома ниспосланъ ему самимъ богомъ для спасенія души его и для усмиренія его необузданныхъ страстей, что онъ гордъ, тщеславится своимъ богатствомъ и способенъ попрекнуть Фому Фомича кускомъ хлеба. Бѣдный дядя очень скоро уверовалъ въ глубину своего паденія, готовъ былъ врать на себѣ волосы, просить прощенья...

– Я, братец, сам виноват, – говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, – во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось – у меня часто с языка срывается... Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: все это требует награды! ну, наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо – словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутках у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписывал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью утешать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его – сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок – и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

– Сочинение пишет! – говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. – Не знаю, что именно, – прибавлял он с гордым и таинственным видом, – но уж, верно, брат, такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет – сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблй, что папеньку любит государь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

– А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? – спросил его вдруг один седенький старичок. Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.

– А тебе какое дело, пехтерь [толстяк, обжора]? – отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. – Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

– Отец ты наш... – подхватил другой мужичок, – ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, – как и величать-то тебя не ведаем.

– Пехтерь! – повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. – Жалованье жалованью рознь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, – значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, ког-

да у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.

– Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? – продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

– Ну да, и моя там есть доля, – отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил такого человека таким разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

– Прежде кто вы были? – говорит, например, Фома, развась после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. – На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

– Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнетя, жметя и не знает, что предпринять.

– Позвольте вам заметить, что я жду, – замечает Фома обидчивым голосом.

– Mais répondez donc*, Егорушка! – подхватывает генеральша, пожимая плечами.

– Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? – снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.

– Ей-богу, не знаю, Фома, – отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах, – должно быть, что-нибудь есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

– Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, – вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

– Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?

* Да отвечайте же (фр.).

– Нет, вы именно это хотели сказать.

– Да клянусь же, что нет!

– Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это – я все перенесу...

– Mais, mon fils... * – вскрикивает испуганная генеральша.

– Фома Фомич! маменька! – восклицает дядя в отчаянии, – ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп – сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, все знаю! ты уж и не говори! – продолжает он, махая рукой. – Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек... ну и все там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

– Да, вы-таки эгоист! – замечает удовлетворенный Фома Фомич.

– Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

– Дай-то бог! – заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собой отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя

* Но, сын мой (фр.).

я ненадолго свиделся с дядей в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевика, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романтическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка —

прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в село Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупно, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решил ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, – так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придиричливой выдумкой Фомы Фомича, – осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее надеть разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою,

чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, – словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревающим хлебом... А я так долго сидел закуренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!

II. ГОСПОДИН БАХЧЕЕВ

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещицкой жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело повернулся ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

– Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. – закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыжав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между бариним и слугой немедленно произошло объяснение.

– Выпорешь! ори еще больше! – проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске.

– Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! – закричал толстяк, весь побагровев.

– Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

– Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

– Да за что я буду ворчать?

– За что ворчать... А то, небось, нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, – вот за что.

– А мне что! По мне хошь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

– Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

– А не на них, так на экипаж ворчу.

– А на экипаж чего ворчать?

– А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

– На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

– Да что вы, сударь, в самом деле, пристали? Отстаньте, пожалуйста!

– А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, – а? Говоришь же в другие разы!

– Муха в рот лезла – оттого и молчал и сидел сычом. Что я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностью обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастерами всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец, стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Grimасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольно и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

– Да это Васильев? – спросил он с участием. – Да как он туда попал?

– Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! – закричали со всех сторон.

– Загулял, сударь, – прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, – загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

– Эх, Архипушка! деньги – голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного создателя, – молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

– Да сиди ты, идол, блага попал – сурово отвечал Архип. – Глаза-то еще с третьява дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили: моли бога – спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».

Смех раздался вторично.

– Да стамеска-то где?

– Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.

– Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! – прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа.

– А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, – прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. – Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

– Народу-то, народу-то! – проговорил он, качая головой, – и все, чай, тре...звые, – протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. – Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

– С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

– Ври, Емеля, – твоя неделя!

– По-нашему, хоть на час, да вскачь!

– Хе-хе-хе! Ишь краснобай! – вскричал толстяк, еще раз качавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. – И не стыдно тебе, Васильев?

– С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, – отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

– С какого же горя, дурак?

– А с такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас записывают.

– Кого? когда? – закричал толстяк, весь вострепнувшись.

Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно неожиданно кослось и до меня.

– Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, – дай бог ему здравия – всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые семьдесят душ ему выде-

ляет. «На тебе, Фома! вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят – только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой, – продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, – потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

– Этого недоставало! – проговорил он задыхаясь, – ракаля, Фома, приживальщик, в помещики! Тьфу! пропадите вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

– Позвольте спросить вас, – сказал я, нерешительно выступая вперед, – сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я...

– А позвольте и вас спросить, – прервал толстый господин, – с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракалей анафемской – вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дядей, а сам я – Сергей Александрович такой-то.

– Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! – вскричал толстяк, нелicenseмерно обрадовавшись. – Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от обеда уехал, из-за

пудинга встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич Бахчев и вас вот эдаким от полу помню... Ну, кто бы сказал?... А позвольте вас...

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам: случай был превосходный.

– Но кто же этот Фома? – спросил я, – как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами? Признаюсь...

– Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот настолечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит!

– Я слышал это, но, признаюсь...

– Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь всё рассказать, так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Все-му она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется – за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клохчет как курица – надоела мне совсем – ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок – всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фоме; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюш-

ка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, – тьфу!

– Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь вам... позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

– Фома-то? писанный красавец! – отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно.) – Писанный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж всё хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, – ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово иль нет?

– Воронка еще перековать надо, – промолвил мрачно Григорий.

– Воронка. Я тебе такого задам воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да так и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток разнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет

болтать, все будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся, как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте. Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый – больше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат – больше ничего! А по-моему, графин водки выпил – вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось, и вы по-французски: «та-та-та! та-та-та! вышла кошка за кота!» – прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. – Вы, батюшка, чело-век ученый – а? по ученой части пошли?

– Да... я отчасти интересуюсь...

– Чай, тоже все науки произошли?

– Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке...

– А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

– Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я все еще не понимаю, – отвечал я, теряясь все более и более.

– То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке прыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться – непотребный народ! Всё фармазоны; неверие распро-страняют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его – тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича...

– Да я б его, Видоплясова, – ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, – да я б его, Видо-

плясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.

– Молчать! – крикнул барин, – держи язык за зубами; не с тобой говорят!

– Видоплясов, – сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить, – Видоплясов... скажите, какая странная фамилия?

– А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый! Я потерял терпение.

– Извините, – сказал я, – но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело...

– Да вы, батюшка, чего обижаетесь? – отвечал толстяк, – нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня – откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь, – продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, – ну тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем – вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возь-

ми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то), он мне друг; он меня благодарию учит. Ну, думаю, против благодарию не пойдешь! Уж коли благодарию зачал учить – значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает – превосходная вещь! (теперь уж не подарю, морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравить – обидеться может, а поздравь – пожалуй, и в насмешку примет. Тьфу ты, пропасть! Сели мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?

– Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал... и... признаюсь...

– То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь?

– Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

– То есть как это, батюшка, записать? – спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

– Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.

– Да ты, верно, как-нибудь оболестишь меня хочешь?

– То есть как это оболестишь? – спросил я с удивлением.

– Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня.

– То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

– Позвольте спросить, – прервал я, отчасти желая переменить разговор, – скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

– Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачуло; не это скверно, а другое скверно... – прибавил господин Бахчеев в задумчивости. – Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на все село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщут! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую... Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится...

Я извинился.

– Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придирааться, благодарию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек:

зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это так уж бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагого провидения смертному восставать невозможно». Благоразумно ведь – как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь; надо служить, а ты все дома сидишь да на гармонии играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту-то мою затыну? Надену мундир, затынусь, неравно чихну – все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут – что тогда?» Ну, скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон» [свинья (франц. cochon)] говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», – сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудинга: пудинг тогда обносили. «Ну вас и с пудингом-то!..»

– Извините меня, – сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, – я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

– Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? – недоверчиво спросил господин Бахчеев.

– Видите ли, – начал я, несколько путаясь, – оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую – кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. По-

нимаете: человек благородный... сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и... и, может быть, если примирить его с человечеством... то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная... может быть, даже очень замечательная, и... и... и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарাপортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

– Это Фомка-то такой особенный человек? – спросил он отрывисто.

– Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорю. Я это так только, в виде догадки...

– А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии или нет?

– То есть в каком смысле? – спросил я с недоумением.

– Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смысла отвечайте: обучались вы философии или нет?

– Признаюсь, я намерен изучать, но...

– Ну, так и есть! – вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. – Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тьфу! прокисай все на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! – закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправленного экипажа. – Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, подойдя к коляске, – вы уж более не приедете к дядюшке?

– К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я опять туда полетусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять

буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки...

Мы, однако ж, расстались по-дружески; он даже пригласил меня к себе обедать.

– Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисайловну сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонись ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили... Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...

Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, – подумал я, – он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки всё, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу... Гм! Женюсь я или нет?» В этот раз я крепко задумался.

III. ДЯДЯ

Признаюсь, я даже немного струсил. Романические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выспросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой стеклянную дверью прямо

входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два года назад, в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

– Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? – спросил я старика.

– Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, – печально отвечал Гаврила.

– Сам Фома учит?

– Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

– Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

– По китрадке, батюшка.

– Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами – ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки даётся – не стыдно ли, Гаврила? – вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

– Где же, батюшка, – отвечал старик, – где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

– Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, – пробормотал я, приостановленный этим замечанием. – Веди же меня к дядюшке!

– Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сажу, горе мычу, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит.

– Да чего же ты боишься?

– Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоём же образовании заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

– Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

– Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой челoveк.

– Гм! Подожди, Гаврила; все это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но... где же дядюшка?

– А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

– Да зачем же за конюшнями?

– Опасается, батюшка...

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки... Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга он вдруг так захлопотал, что наконец совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что

в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

– Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! – говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. – Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну, да наконец, и торговля, промышленность – эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно – не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

– Вот подожди, друг мой, подожди, – начал он, потирая руки и скороговоркою, – увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил... Подожди, я тебя познакомлю.

– Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

– Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он... Но это я про Коровкина теперь говорил, – прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

– Какими же он науками занимается, дядюшка?

– Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, – прибавил дядя полупшепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, – немного, эдак, вольных идей! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе все как по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

– Послушайте, дядюшка, – прервал я его, – я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать...

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

– Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними делать? Выдумали, – и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, – выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, – ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, – всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»

– Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? – вскричал я почти в восторге.

– И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, – прибавил он, робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. – Это, брат, такой человек...

– Не хотим, oprичь тебя, никого не хотим! – завопили вдруг мужики целым хором. – Вы отцы, а мы ваши дети!

– Послушайте, дядюшка, – отвечал я, – Фому Фомича я еще не видал, но... видите ли... я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и приехал...

– Именно, именно, – подхватил дядя, – именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак, приятельски, дружески, основательно! Ну, – продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, – теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.

– Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! – закричали еще раз мужики.

– Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

– А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь, совсем заучил.

– Так неужели он и вас по-французски учит? – вскричал я почти в испуге.

– Нет, батюшка, покамест еще миловал бог! – отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой клинообразной

бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. – Нет, сударь, покамест еще миловал бог.

– Да чему ж он вас учит?

– А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

– То есть как это медный грош?

– Сережа! ты в заблуждении; это клевета! – вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. – Это они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про все поминать, горло драть, – продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, – тебе же, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь да и кричишь!

– Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

– Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, – проговорил дядя каким-то просительным голосом. – Он сам это говорил, что для произношения... Притом же тут случилась одна особенная история – ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять... Обвинять-то легко!

– Да вы-то чего! – закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. – Вы бы ему так все прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

– Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.

– А вот анамедни на гумно пришел, – заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хоронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и все время не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горько-лукавой усмешки. – На гумно пришел: «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука эта не нашенская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все божии планиды узнал».

– Ну, а сказал тебе сколько до солнца верст? – вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

– Да, сказал сколько-то много, – нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

– Ну, а сколько сказал, сколько именно?

– Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

– Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

– Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

– То-то, помни, братец! А ты думал, небось, с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля – это, видишь, как шар круглый, – понимаешь?.. – продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

– Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это все капитан Кук, мореход... А черт его знает, кто и открыл, – прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. – Сам-то я, брат, ничего не знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?

– Знаю, дядюшка, – отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, – только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество; но, с другой стороны... учить крестьян астрономии...

– Именно, именно, именно неряшество! – подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. – Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите, – закричал он мужикам, – необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить – это ничего. Это, брат, уж все равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад... будьте покойны, я вас не оставлю.

– Защити, отец родной!

– Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

– Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку... ну и там всё...

Знаешь, – сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то сияя от радости, – любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, – а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?

– Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек, как я погляжу.

– Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, – прибавил он, как бы извиняясь. – А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет... как-то эдак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал...

– Ну вот, дядюшка, я и приехал! – начал я, переменяя разговор и желая добраться поскорее до главного дела. – Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я...

– Друг мой, ни слова об этом! – перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос, – после, после это все объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но...

– Передо мной виноваты, дядюшка?

– После, после, мой друг, после! все это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! Хотел излить, так сказать... ты ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

– На меня? – спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. – На меня?

– На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен...

– Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

– Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат, Сережа, как это все меня беспоко-

ит! И как бы это все могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

– Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает...

– Эх, брат! все это только дрызги и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...

– Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, – перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. – Во-первых, он был шутком: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству... Но если примирить его с человеком, если вернуть его самому себе...

– Именно, именно! – вскричал дядя в восторге, – именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

– Дядюшка, если так... – начал было я, смутясь от такого признания.

– Ни-ни-ни! ни за что в свете! – закричал он, схватив меня за руки. – Ты мой гость, и я так хочу!

Все это чрезвычайно меня удивляло.

– Дядюшка, скажите мне сейчас же, – начал я настойчиво, – для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

– Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек, и... и... и ты на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! – прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. – Но довольно, ни слова больше! Все сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузья.

– Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...

– Что, немножко трусишь? – прервал дядя с улыбкою. – Э, ничего! все свои, ободришь! главное, ободришь, не бойся! Я все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша, – начал он торопливо. – Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий – это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну, наконец, она ведь что называется *grande dame* [гранд-дама, т. е. важная дама], генеральша... превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом – стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну эта... не знаю... в последнее время она как-то того... характер такой... А, впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое! – ты, главное, на сердце смотри – пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иванович Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слыхал ли от него здесь кто и слово? все молчит. Фома, в насмешку, прозвал его « молчаливый незнакомец » – ничего: не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой... Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразить-

ся; и, вдобавок, превосходной нравственности; строгая мораль! Ну, и наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница – ты ее не знаешь, – девица, немолодая – в этом можно признаться, но... с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикову купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь, что-то фантазмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души – понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.

– Послушайте, дядюшка, – сказал я, – я вас так люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

– Да ты от кого слышал? – отвечал он, покраснев, как ребенок. – Вот видишь, друг мой, я тебе все расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает, – и за дело, за дело: он много для нее сделал, – все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают – я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь – я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина... хотел излить, так сказать...

– Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

– Поможет, друг мой, поможет, – это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их уре-

зонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват – я понимаю все это; я не бесчувственный. Ну, да все же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь – вот что!..

– Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там...

– В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заранее велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! А я покамест там всех понемногу приготавливаю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно, знаешь, и лучше... Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то... Да! постой! вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, – а? разве уж потом, если захочешь, что заметить, так, наедине, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся...

– Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы...

– Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! – перебил он меня совсем неожиданно. – Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты приедешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя на верх, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя все еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же особу сам, – неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, – думал я, – нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки: с чего это вражда против меня целого семейства? Почему именно все

они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Признаюсь, что все это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Только теперь, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и я сам, прискакав сюда сломя голову, по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

– Аделаидина цвета [т. е. красного или красно-лилового] изволите галстух надеть или этот, с мелкими клетками? – спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена на показ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и на помажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву р, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами.

Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан деликатностью, subtilностью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Последнее обстоятельство, неизвестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

– Так этот галстух аделаидина цвета? – спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

– Аделаидина-с, – отвечал он с невозмутимой деликатностью.

– А аграфенина цвета нет?

– Нет-с. Такого и быть не может-с.

– Это почему?

– Неприличное имя Аграфена-с.

– Как неприличное? почему?

– Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

– Да ты с ума сошел или нет?

– Никак нет-с, я при своем уме-с. Все – конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

– Да тебя как зовут?

– Видоплясов.

– А! так это ты Видоплясов?

– Точно так-с.

– Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.

«Однако здесь что-то похоже на бедлам», – подумал я про себя, сходя вниз.

IV. ЗА ЧАЕМ

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Тайнственные предвещения дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и,

спасая равновесие, неожиданно вылетел на середину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следовательно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не dokonчил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

– Здравствуйте, дядюшка, – проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но, совсем неожиданно, сказав только «Здравствуйте».

– Здравствуй, здравствуй, братец, – отвечал страдавший за меня дядя, – ведь мы уж здоровались. Да не конфузьяся, пожалуйста, – прибавил он шепотом, – это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, – добавил он, – обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно все общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, – которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, – не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: все в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря

на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во все время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень прилично – на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, – о которой будет особая речь впоследствии, – но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки; однако ж, не мешало ей пицать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством, – моя кузина Саша. Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо у

ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она непрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантазмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь [волчок]. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливym, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка... Помню тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познакомить ее со мной, но та только привстала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас

же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаєте-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, – злая, впрочем, больше от старости и от потери последних (и прежде еще небогатых) умственных способностей; прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней не поставили. Другая манера была совершенно противоположная: красноречивая. Начиналось обыкновенно тем, что бабушка – она ведь была мне бабушка – погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она все давно уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т.д. и т.д.; все это немедленно поддакивалось стаяй приживалок, девицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которой спускалось решительно все, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

– Это тот вол-ти-жёр? – проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольтижёром? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и пошептала

ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось.

– Она, брат, иногда заговаривается, – шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся, – но это ничего, она это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

– Да, сердце! сердце! – раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая все время не сводила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть на месте: вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на ухо, и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами.

– Вы правду сказали, дядюшка, – начал я, – предостерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь – к чему скрывать? – продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, – что до сих пор совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком, – не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? – заключил я, теряясь все более и более, краснея за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы до ног.

– Именно, именно, именно! – вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что разговор кое-как завязался и я поправляюсь. – Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал – веришь или нет? Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это, я вам скажу, интересно послушать. Только что поступил в юн-

кера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом – то есть надменнойшей женщи-на была, но, в сущности, право, предобрая, что б ни говорили. Вхожу – принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть ни курицы не было, – что отвечать? Сконфузился в прах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!). Ну, почему бы не сказать: нет ничего; и благородно бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы круглым числом – не правда ли? Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и, вдобавок, соврал! Ну, что было делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь у меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь: триста душ от дядюшки Афанасья Матвейча да двести душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны, итого пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор закаялся врать и не вру.

– Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает что может случиться, – заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь.

– Ну, да, это правда, правда! Бог знает что может случиться, – простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла; его маменька улыбнулась; как-то особенно гадко захихикала и девица Перепелицына; захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши, – словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.

– А что? что случилось? – повторил он, с недоумением озирая всех нас.

Во все это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порывался за-свистать, вероятно, по старой привычке, но вовремя останавливался. Обноскин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал

на меня, и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек.

– Я уверена, – защебетала вдруг мадам Обноскина, – я совершенно уверена, monsieur Serge, – ведь так, кажется? – что вы, в вашем Петербурге, были небольшим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это всё вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой человек, просто удивляет!..

– Совершенно не был в обществе, – отвечал я с необыкновенным одушевлением. – Но это... я по крайней мере думаю, ничего-с... Я жил, то есть я вообще нанимал квартиру... но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор я всё сидел дома...

– Занимался науками, – заметил, приосанившись, дядя.

– Ах, дядюшка, вы всё с своими науками!.. Вообразите, – продолжал я с необыкновенною развязностью, любезно осклабляясь и обращаясь снова к Обноскиной, – мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, практического философа, господина Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением... из любви к науке, разумеется...

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию.

– Кто такой? про кого он? – резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной.

– Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, – с наслаждением пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.

– Ах, да! я и забыл! – вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор, – жду Коровкина. Человек науки, человек останется в столетии...

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

– Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол, – шептал мне сконфуженный дядя. – Но это толь-

ко – когда рассердится... Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону... Зачем ты об Коровкине-то заговорил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек; что-то даже презрительное; румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

– А я с вами все о Петербурге, – залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. – Я с таким, можно сказать, нас-лаж-дением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице... Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом – помнишь, Польша? генерал Половицын... Ах, какое очаровательное, о-ча-ро-вательное существо было генеральша! Ну, знаете, этот аристократизм, beau monde!..* Скажите: вы, вероятно, встречались... Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших...

– Мне очень жаль, что я не могу... извините... Я уже сказал, что очень редко был в обществе, и совершенно не знаю генерала Половицына; даже не слыхивал, – отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа.

– Занимался минералогией! – с гордостью подхватил неисправимый дядя. – Это, брат, что камушки там разные рассматривает, минералогия-то?

– Да, дядюшка, камни...

– Гм... Много есть наук, и все полезных! А я ведь, брат, по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом – еще так и сям, а в науках глуп – откровенно каюсь!

– Откровенно каетесь? – подхватил, ухмыляясь Обноскин.

– Папочка! – вскрикнула Саша, с укоризной смотря на отца.

– Что, душка? Ах, боже мой, я ведь все прерываю вас, Анфиса Петровна, – спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. – Извините, ради Христа!

* Высший свет (фр.).

– О, не беспокойтесь! – отвечала с кисленькою улыбочкой Анфиса Петровна. – Впрочем, я уже все сказала вашему племяннику и заключу разве тем, monsieur Serge, – так, кажется? – что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусства... ваяние, например... ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой человек, формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, не-воз-можно!

– Невозможно, невозможно! – раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. – Послушайте, – начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, – послушайте, я хочу вас спросить...

– Что прикажете-с? – отвечал я, внимательно в нее взглядываясь.

– Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?

– Ей-богу, не знаю-с; как дела...

– Дела! Какие у него могут быть дела?.. О безумец!..

И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захолопала в ладоши.

– Пойдите! пойдите! – вскричала она, отрываясь от своей конфидантки [наперсницы] и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел, – послушайте, знаете ли, что я вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, о-ча-ро-ва-тельного молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца – помнишь, Сашенька! еще мы катались и встретили... верхом и в белом жилете... еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему: «бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет... Помнишь, Настенька?

И полупомешанная на амурах девица вся в волнении закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели! В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была не удивлена, но как будто чем-то вдруг озабочена, и с тоской посмотрела на своего сына; барышни покраснели, а Поль

Обноскин, с какою-то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание.

– А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! – закричал дядя, неліцемерно обрадовавшись. – Что, брат, из города?

«Ну, чудачки! их как будто нарочно собирали сюда!» – подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудачков, являясь между ними.

V. ЕЖЕВИКИН

В комнату вошла, или, лучше сказать, как-то протеснилась (хотя двери были очень широкие), фигурка, которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвычайным любопытством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной и с какою-то неопределенной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее.

– Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец родной! все расскажу, только позвольте сначала честь заявить, – проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде:

– Вы уж извольте знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий подлец! Ведь я, как вхожу, так уж тотчас же главную особу в доме ищущу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким образом, с первого шагу, милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую замажаю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно.

– И вам, раскрасавица наша, поклон, – продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. – Что делать, сударыня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот сорок первом году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал: ассессора дали; его в ассессоры, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, – продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке, – позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение; лук и стрелу вам, батюшка, привез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот уж и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турке голову срубите. Татьяна Ивановна... ах, да их нет, благодетельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал – вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас бога молил, благодетельница, на коленках, со слезами, бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам господь все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие такие-с... Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высокородие, прямехонько из города. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйста ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, покраснела и хмурилась. Я было отдернул руку: того только, кажется, и ждал старикашка.

– Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать. Вы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете? – проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

– Н... нет, помилуйте, я...

– То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я – раб, моя жена – рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко. Сахару, сахару-то побольше во все подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю; может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

– Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он рассмешит! – пропищала Анфиса Петровна.

– Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молоду в дураки б записался, авось теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

– Скажите, пожалуйста, – ввязался Обноскин (которому, верно, не понравилось замечание про таланты), как-то особенно независимо развалился в кресле и рассматривая старика в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку, – скажите, пожалуйста-ста... все я забываю вашу фамилию... как бишь вас?..

– Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что и Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без места сижу – так и живу себе, по законам природы. А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно как по пословице: у богатого – телята, а у бедного – ребята...

– Ну, да... телята... это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

– Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки.

– Это, брат, знаешь кто? – шепнул мне дядя, – ведь это ее отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикин совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю дорогу мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала.

– Как отец? – отвечал тоже шепотом. – Да ведь, я думал, она сирота?

– Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шуга строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой – ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, – не берет! Озлобленный человек!

– Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там у вас нового? – спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

– А что нового, благодетель? Валентин Игнатъич вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунтах недоевс муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, извольте помнить? Вот Валентин-то Игнатъич и пишет про Тришина: «Уж если, – говорит он, – часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, – а та с офицером прошлого года сбежала, – так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и поместил – ей-богу, не вру-с.

– Фи! Какие вы истории рассказываете! – закричала Анфиса Петровна.

– Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф, – поддакнул дядя. – Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный – могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые...

– Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь! – вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевигину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает! может быть,

мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, – слышали вы про иезуитов?

– Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-нибудь... да где нам! А что-с?

– Так... я было, кстати, хотел рассказать... Впрочем, напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас понимаю и ... умею ценить...

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку.

– Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном, табачном платке.

– Евграф Ларионыч, берите чаю, – сказала Прасковья Ильична.

– Тотчас, красавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексеича Бахчеева встретил дорогой, сударыня. Такой развеселый, что на тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти! – проговорил он полусшепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. – А что же благодетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не придут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу.

– Уж я, право, не знаю, – отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. – Звали его, да он... Не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова и... разве, впрочем, мне самому сходить?

– Заходил я к ним сейчас, – таинственно проговорил Ежевикин.

– Может ли быть? – вскрикнул дядя в испуге. – Ну, что ж?

– Наперед всего заходил-с, почтение свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты, да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.

– Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б рассказал, – проговорил наконец дядя, смотря на старика с тоской и упрямком.

– Говорил-с, говорил-с.

– Ну?

– Долго не изволили мне отвечать-с. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, головомная задача была. Пифагоровы штаны при мне начертили – сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только подняли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там теперь ученый приехал, так уж где нам быть подле такого светила». Так и изволили выразиться, что подле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.

– Ну, так я и ждал! – вскричал дядя, всплеснув руками, – так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что «ученый». Ну, что теперь делать?

– Признаюсь, дядюшка, – отвечал я с достоинством пожимая плечами, – по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь вашему смущению.

– Ох, братец, не знаешь ты ничего! – вскрикнул он, энергичски махнув рукой.

– Да уж теперь нечего горевать-с, – ввязалась вдруг девица Перепелицына, – коли все причины злые от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.

– Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь бога! – проговорил дядя умоляющим голосом, как будто напрашиваясь на объяснение.

– Я бога боюсь, Егор Ильич; а происходит все оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, – с достоинством отвечала девица Перепелицына. – Отчего вам было, спервоначалу, воли их не уважать-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целию, чтоб объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

– Оттого, что он оскорбляет мать свою, – грозно проговорила наконец сама генеральша.

– Маменька, помилосердуйте! Где же я вас оскорбляю?

– Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, – продолжала генеральша, все более и более одушевляясь.

– Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? – вскричал дядя почти в отчаянии, – пять дней, целых пять дней вы сер-

дитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня, пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить...

– Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, – вскрикнула Анфиса Петровна, – не убивайте маменьку!

– Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь моя разите! – продолжал дядя, разгоряченный до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы, – я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший человек и, вдобавок, человек высших качеств, но ... но он был несправедлив ко мне в этом случае.

– Гм! – промычал Обноскин, как будто желая подразнить еще более дядю.

– Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви его ко мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я все расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, – прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во все продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, – выслушай и ты меня, и реши: прав я или нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неделю назад – да, именно не больше недели, – проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блестит добродетелями и, вдобавок, вельможа! Свояченицу свою облагодетельствовал;

одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове; еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием!) – словом, из генералов генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи; музыку выписываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом – помню еще, подавали его любимый киселек со сливками, – молчал-молчал да как вскочит: «Обижают меня, обижают!» – «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фомич, обижают?» – «Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь все это вкратце тебе передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты знал, что он еще говорил... словом, потряс всю мою душу! Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фрапировало [неприятно удивило, поразило (от франц. *frapper*)] меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может: извиняется – значит, не будет. Я к Фоме: «Ну, Фома, успокойся! Не будет!» Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает – он это сам говорит, – он ревнует меня к генералу, расположение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для вас все равно, что генерал, я сам для вас ваше превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». – «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» – «А называйте, говорит, меня целый день: ваше превосходительство; тогда и докажете уважение». Упадаю с облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да послужит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались вперед генералами, когда и другие люди, может, еще почище ваших всех генералов! «Ну, тут уж я не вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосхо-

дительство? Да ведь это, так сказать, посягновение на величие судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не унимается, да и только! «Что хочешь, говорю, Фома, все для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма, – я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю все, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана!» – «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!» – говорит. И вот теперь уж неделе, целую неделю говорить не хочет со мной; на всех, кто ни придет, сердится. Про тебя услышал, что ученый, – это я виноват: погорячился, разболтал! – так сказал, что нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну помилуй, ну посуди, ну чем же я тут виноват? Ну неужели ж решиться сказать ему «ваше превосходительство»? Ну можно ли жить в таком положении? Ну за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да ведь и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил астрономии... Ну за что, за что?

– А за то, что ты завистлив, Егорушка, – проямлила опять генеральша.

– Маменька! – вскричал дядя в совершенном отчаянии, – вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!

– Я слышал, дядюшка, – перебил я, изумленный до последней степени рассказом, – я слышал от Бахчеева – не знаю, впрочем, справедливо или нет, – что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта так меня изумила, что я ...

– Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! – скороговоркою перебил меня дядя. – Он не так только выразился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде всего...

– Совсем не рожденье! – крикнула Сашенька.

– Как не рожденье? – крикнул дядя, оторопев.

– Все не рожденье, папочка! Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить.

А рождение его в марте было, – еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: все кричал, что ему бок раздавила подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул! А потом, когда в рождение мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать». И целый день киснул да куксился, с нами говорить не хотел...

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание – и кого же? – девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.

– Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! – крикнула Перепелицына.

– Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? – кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.

– Не хочу молчать, папочка! – закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками, – не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попури какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич скушал всё, что перед ним ни поставили, да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка ... Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума! ...

– Ах!.. – вскрикнула генеральша и покатила в изнеможении на диван.

– Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! – кричала Анфиса Петровна, – возьмите мой флакон! Воды, скорее воды!

– Воды, воды! – кричал дядя, – маменька, маменька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

– На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной комнаты не выпускать-с... человекоубийцы вы эдакие! – прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.

– И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! – кричала Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение. – Я папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест да папочку же унижает, неблагодарный! Да я б его разорвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов...

– Саша! Саша! – кричал в отчаянии дядя. – Еще одно слово – и я погиб, безвозвратно погиб!

– Папочка! – вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его своими ручками, – папочка! ну вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя выставить? Папочка, золотой мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица Перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом.

– Вон! – крикнула она, притопнув на меня ногою.

Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.

– Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу его не было! вон!

– Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, – бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. – Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.

– Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и выписали для этого. Мое сердце предчувствует... Вон, негодяй!

– Дядюшка, если так, – сказал я, захлебываясь от благородного негодования, – если так, то я... извините меня... – И я схватился за шляпу.

– Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот... Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! – кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу, – ты мой гость, ты останешься – я хочу! Ведь это она только так, – прибавил он шепотом, – ведь это она только когда рассердится... Ты только теперь, первое время, спрячься куда-нибудь... побудь где-нибудь – и ничего, все пройдет. Она тебя простит – уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговаривается... Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя... Ты чего? – закричал он дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его.

– Это еще что? – вскричал дядя, – что случилось? Да говори же разбойник!

– Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, – отвечал скорбный Гаврила, – мне на экзамент, а он...

– А он?

– Плясал-с, – отвечал Гаврила плачевным голосом.

– Плясал! – вскрикнул в ужасе дядя.

– Пля-сал! – проревел Фалалей всхлипывая.

– Комаринского?

– Ко-ма-ринского!

– А Фома Фомич застал?

– Зас-тал!

– Дорезали! – вскрикнул дядя, – пропала моя голова! – и обеими руками схватил себя за голову.

– Фома Фомич! – возвестил Видоплясов, входя в комнату.

Дверь отворилась, и Фома Фомич сам, своею собственною особою, предстал перед озадаченной публикой.

VI. ПРО БЕЛОГО БЫКА И ПРО КОМАРИНСКОГО МУЖИКА

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду – он все считал за обиду – и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неизвестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курчавенькую собачку Ами или Фалалея? Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забранят его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась, –

и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решил быть благодетелем Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как! – говорил он, защищая свою нелепую мысль (мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелем пишуший эти строки), – как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне муа мон мушуар [подайте мне мой платок (франц.)] – он должен и тут найтись и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за все это прежде всех доставалось дяде.

– Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? – кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав время, когда все в сборе. – Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше системати-

ческое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!..

Фалалей подходит плача, утирая обеими руками глаза.

– Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

– Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Нагрескался пирога, как Мартын мыла!» Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

– Ска-зал!.. – подтверждает Фалалей, всхлипывая.

– Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

– Я тебя спрашиваю, – пристает Фома, – кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек – кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

– Дво-ро-вый че-ло-век, – отвечает наконец Фалалей, продолжая плакать.

– Чей? чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и все вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще не доставало! Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, – говорил Фома, – кроме того, что он по-на-

стоящему не должен бы сметь и подумать лезть ко мне со своими снами, тем более с белым быком; кроме этого – согласитесь сами, полковник, – что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, – продолжал он, обращаясь к Фалалею, – разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фалалей обещал непременно увидеть в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божью ночь, Фалалей постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать: просто – сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой Фомичом; тем более что солгать, в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же

мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым. Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало!

– Да пусто б его взяло, треклятого! – рассказывал Фалалей, – каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь: «Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка: у него случились другие дела, другие заботы; другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фалалею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя все еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это было его главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и во всяком случае необъяснимые поступки этого ветреного мужика – нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать комаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок, где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы и под конец торжественно вступал в свои права и комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым от-

лично управлялся форейтор Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимую силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения; и все бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг наконец Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

– Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, – начал Фома, – совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я ...

– Да что такое? что случилось? – вскричал испуганный дядя.

– Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

– Ну ... ну что ж?

– Как ну что ж? – взвизгнул Фома. – И говорите это вы – вы, их барин и даже, в некотором смысле, отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это иль нет?

– Но, Фома ... Да ведь это только песня, Фома ...

– Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню – вы, член благородного общества, отец благонаправленных и невинных детей и, вдобавок, полковник! Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истинного события! Только песня! Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

– Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, – отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

– Как! я знаю? я... я... то есть я!.. Обидели! – вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и ненаходчивость своего ответа. Но с тех пор Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступления Фалалея, танцующего комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец неусыпные труды его увенчались успехом: он застал комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственною особою.

VII. ФОМА ФОМИЧ

Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке и, вдобавок, в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен à l'enfant* это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, все волнение, бывшие за минуту назад. Всё притихло так, что можно было слышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец.

* По фасону детских рубашек (фр.).

Все подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое нещечко, впилась в него глазами. Девушка Перепелицына, ослабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал.

– Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

– Не до чаю мне теперь! – проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. – Вам бы всё, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдет наконец наглость этого зазнавшегося господинчика.

– Фома! – крикнул дядя, – рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

– Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, – проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. – Вам о деле говорят, а вы – бог знает о чем... *трактуете*... Видели вы Фалалея?

– Видел, Фома...

– А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение... в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

– С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, – заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину, – да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться, смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Скажите – беру вас судьей, – находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием.

– В нем прекрасное? – отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. – Мне кажется, это просто порядочный кусок ростбифа – и ничего больше...

– Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, – продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение я. – Далекое не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сословии. Теперь, как вы думаете: может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом живом бифстексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семеныч, как у этих людей, совершенно лишенных мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул? кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?

– Прек-ра-сен! – отвечал Фалалей с заглушенными рыданиями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.

– Вы слышали? – продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. – То ли еще услышите! Я пришел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семеныч, люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте. Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай немедленно – слышишь?

– Пля-сал... – проговорил Фалалей, усиливая рыдания.

– Что же ты плясал? какой танец? говори же!

– Комаринского...

– Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

– Му-жик...

– Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечательный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заигрывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит, хнычет и не понимает вопроса.

– Отвечай же! – настаивает Фома, – тебя спрашивают: какой это мужик? говори же!.. господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический? Много есть мужиков...

– Э-ко-но-ми-ческий...

– А, экономический! Слышите, Павел Семеныч? новый исторический факт: комаринский мужик – экономический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие подвиги его так воспевают и... выплясывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею, то и опасный.

– Ну... вы... однако ж... – заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы Фомича считались законами.

– Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-нибудь соврёт, уверяю вас... – шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.

– Ты бы, однако ж, Фома... – начал он, – вот я рекомендую тебе, Фома, мой племянник, молодой человек, занимался минералогией...

– Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не знаете, а может быть, и другие тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь, он теперь знает, что ему отвечать. Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?

Несчастный Фалалей в тоске озирается кругом и в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытасченный из воды на песок.

– Стыдно ска-зать! – промычал он, наконец, в совершенном отчаянии.

– А! стыдно сказать! – подхватил Фома, торжествуя. – Вот этого-то я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь... поливаете. Но нечего терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике; но сегодня же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

– Ну уж вы, кажется, строго... – промямлил Обноскин.

– Именно, именно, именно! – крикнул было дядя, но оборвал-ся и замолчал. Фома мрачно на него покосился.

– Удивляюсь я, Павел Семеныч, – продолжал он, – что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки? Это социальный вопрос! Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях – я и на это согласен, – но преисполненного добродетелями, которым – я это смело говорю – может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душевной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач, в умилении души, принесет ему наконец свое золото; пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродете-

лями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разьединенные на ступенях общества, соединяются, наконец, в добродетелях – это высокая мысль! А то что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с другой – выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

– Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова! – проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

– А ведь черта лысого с меня и получит, – прошептал он мне потихоньку. – Польсти, польсти!

– Ну, да ... это вы хорошо изобразили, – проямлил Обноскин.

– Именно, именно, именно! – вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством.

– Тема-то какая завязалась! – шепнул он, потирая руки. – Многосторонний разговор, черт возьми! Фома Фомич, вот мой племянник, – прибавил он от избытка чувств. – Он тоже занимался литературой, – рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

– Ради бога, не рекомендую меня более! я вас серьезно прошу, – шепнул я дяде с решительным видом.

– Иван Иванович! – начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, – вот мы теперь говорили: какого вы мнения?

– Я? вы меня спрашиваете? – с удивлением отозвался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только что разбудили.

– Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их *беспременно рекомендуют* за умников, за ученых, а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однако ж, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я, по крайней мере, не сомневался в этом.

– Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с вашим мнением согласен, – отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

– Вы все со мной согласны! даже тошно становится, – заметил Фома. – Скажу вам откровенно, Павел Семеныч, – продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину, – если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»: это высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!

– Именно, именно, именно! высокая эпоха! Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; еще выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, – поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал.

– Впрочем, и теперь пишут занимательно, – осторожно вмешалась Анфиса Петровна. – Вот, например, «Брюссельские тайны».

– Не скажу-с, – заметил Фома, как бы с сожалением. – Читал я недавно одну из поэм... Ну, что! «Незабудочки»! А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик» – легкое перо!

– «Переписчик»! – вскрикнула Анфиса Петровна, – это тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! какая игра слов!

– Именно, игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера!

– Да; но он педант, – небрежно заметил Обноскин.

– Педант, педант – не спорю; но милый педант, но грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пустослов – согласен; но милый пустослов! Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья?

– Поместья? – подхватил дядя, – это хорошо! Которой губернии?

Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном:

– Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместья? Есть – так поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо описано! Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это какой-то Нарзан

остроумия! Да, вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах...

– Может, и лучше еще-с, – почтительно заметил Ежевикин.

– Даже что-то мелодическое в слоге! – поддакнул дядя.

Фома Фомич, наконец, не вытерпел.

– Полковник, – сказал он, – нельзя ли вас попросить – конечно, со всевозможною деликатностью – не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но... оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости! Я не знал, что подумать.

– Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, – с тоскою произнес сконфуженный дядя.

– Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил кстати; а вы?

– Да-с, мы-то с умом говорили-с, – подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. – Ума-то у нас так немножко-с, занимать приходится, разве-разве что на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, – вот как у нас!

– Ну, значит, опять соврал! – заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою.

– По крайней мере, сознаетесь, – заметил Фома.

– Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты, как друг, меня останавливаешь, как родной брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! Это для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел все сам, на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковверного добродушия – с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью. Это было видно... Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему поазартнее, – а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня.

– Правду, правду ты говоришь, Фома, – продолжал дядя, всеми силами стараясь понравиться и хоть чем-нибудь замаять неприятность предыдущего разговора. – Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал... Вы смеетесь! Ну вот, подите! Ей-богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом – ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще превосходно отвечали; потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомичи и Обноскин покатались со смеху.

– Да я и сам потом смеялся, – крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. – Нет, Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался... Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске...

– Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рассказывать вашу историю? – перебил Фома.

– Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история; просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо, ей-богу хорошо. Я расскажу, как я срезался.

– Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, – проговорил Обноскин, зевая.

– Нечего делать, приходится слушать, – решил Фома.

– Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске (начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили ... То есть бестия был этот Зверков, и попить и в картины заняться, и не то чтобы пьяни-

ца, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, так уж тут всё забыл: где живет, в каком государстве, как самого зовут? – словом, решительно всё; но в сущности превосходнейший малый ... Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым... Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, – уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился... Ну, разумеется, обрадовались. То да сё. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил... После узнал: превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?» – «Которая это?» – «Да эта». – «Да это моя двоюродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эк у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» – «Это моя сестра». Тьфу ты пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, – словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь все это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот. «Да нет! – кричу, а сам не знаю, куда провалиться, – не эта!» – «Вот в середине-то которая?» – «Да, в середине». – «Ну, брат, это жена моя» ... Между нами: объединение, а не дамочка! то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия ... «Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же: руби, не жалеи!» Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

– Кончили ль вы? – спросил он наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.

– Кончил, Фома.

– И рады?

– То есть как это рад, Фома? – с тоскою отвечал бедный дядя.

– Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?

– Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты ...

– Развеселить? – вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, – но вы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична, – это само собой ... Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущерб прямоту и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

– Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!

– Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недостижимую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы ...

– Да полно же, Фома, ради бога! Постыдитесь хоть людей!...

– Да ведь грустно же видеть все это, полковник, а видя, – невозможно молчать. Я беден, я *проживаю* у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я лъщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь молокосос мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед незнакомыми, тогда как я вам равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу

у вас, а не вы мне. Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить – это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вам и досадно, вам и нейдет: «Дай же и я свои познания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько – извините меня, полковник, – сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо – сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

– Эх, Фома!

– То-то: «эх, Фома!» Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не все же вам одним отличатся. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съест меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина.

– Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. – Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! – Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. – Ну, француз, мусью шематон, – терпеть не может, когда говорят ему: мусью шематон, – знаешь урок?

– Вытвердил, – отвечал, повесив голову, Гаврила.

– А парле-ву-франсе? [А говоришь ты по-французски?]

– Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе... [Да, сударь, немного.]

Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так и покатались со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзаме́н, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!»

Фома Фомич встрепенулся.

– Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?

– Нет. Фома Фомич, – с достоинством отвечал Гаврила, – не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, – дай бог им царство небесное – Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!

И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

– Ну, полно, полно, Гаврила! – вскричал он, – нечего распространяться; полно!

– Ничего, ничего, – проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. – Пусть поговорит; это ведь все ваши плоды ...

– Всё расскажу, – продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением, – ничего не потаю! Руки свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услугой и подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать, для того – это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, – с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться! Да я в людскую теперь не могу сойти: «француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами все одно, что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как то есть должен быть настоящей фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гав-

рилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассердиться? Наконец воспоследовал взрыв.

– Как! он смел обругать меня, – меня! да это бунт! – завизжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу.

– В кандалы его, в кандалы! – кричала генеральша. – Сейчас же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай!

– Как, – кричал Фома, – раб! халдей! хамлет! осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!

Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.

– Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы, – сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим.

– Это еще что? – вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в иступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. – Да ты кто такой?

– Фома Фомич ... – заговорил было совершенно потерявшийся дядя, – это Сережа, мой племянник ...

– Ученый! – завопил Фома, – так это он-то ученый? Либерте-эгалите-фратерните! [Свобода-равенство-братство! (франц.)] Журналь де деба [«Газета мнений» (франц.)]! Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь! Да плевать мне на твой де деба [мнений (франц.)]! У тебя де деба, а по-нашему выходит: «Нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь, я всемерно столько забыл! вот какой ты ученый!

Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками.

– Да он пьян, – проговорил я, с недоумением озираясь кругом.

– Кто? Я? – прикрикнул Фома не своим голосом.

– Да, вы!

– Пьян?

– Пьян.

Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, ка-

жется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевика. Он улыбался и потирал себе руки.

– Про иезуитика-то давеча обещались, – проговорил он вкрадчивым голосом.

– Что? – спросил я, не понимая, в чем дело.

– Про иезуитика давеча рассказать обещались ... анекдотец-с ...

Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом ...

VIII. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их.

– Я вас искала, – сказала она.

– А я вас, – отвечал я ей. – Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

– Во все не в сумасшедшем доме, – проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

– Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

– Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

– Да где они?

– А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, – проговорила она раздражительно.

– В какой огород?

– Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали

раз поблажку – вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

– И вы... и вы рассказываете это так хладнокровно! – вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

– Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?

– Н...нет, – отвечала она, закрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.

– Вы извините меня, – продолжал я, – я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом... особенно с вами... Но все равно! По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь... то есть я хотел сказать... вы знаете намерения дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...

– О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! – сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув.

Я был озадачен.

– Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

– Так он-таки вам писал? – спросила она с живостью. – Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

– Простите меня, – проворчал я, не зная, что говорить, – может быть, я поступил неосторожно, грубо... но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает чем...

– Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь... Ах, какая досада! так он-таки вам писал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было непривлекательно.

– Признаюсь, я не ожидал, – проговорил я в самом полном смущении, – такой оборот... я, напротив, думал...

– А, так вы думали? – произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. – А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал?

– Хорошо-с.

– Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь; и без того много горя! – сказала она просящим голосом, а между

тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.

– Ох, пожалуйста, не принимайте меня за дурака! – вскричал я с горячностью. – Но, может быть, вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насказал? может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего – уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю, что говорю ... А все это оттого, что мне эти проклятые двадцать два года!

– О боже мой! Так что ж?

– Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это на лбу написано, как у меня например, когда я давеча на середину комнаты выскочил или как теперь перед вами ... Распроклятый возраст!

– Ох, нет, нет! – отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. – Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но ... вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться.

– Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.

– Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились – и отчего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту – вот вам!

– Это правда! Я был болван! Даже больше: я сделал подлость! Вы заметили ее – и я уже наказан! Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы перемените наконец ваше мнение, – прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством, – вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда ... может быть ...

– Ради бога, оставим этот разговор! – вскричала Настенька с видимым нетерпением.

– Хорошо, хорошо, оставимте! Но... где я могу вас видеть?

– Как где видеть?

– Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога, назначьте мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно велю

себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.

– Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим.

– Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь должен же он наконец мне все рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное ...

– Нет, нет! не надо, не надо! – вскричала Настенька, – кончимте все разом теперь, так чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор – я серьезно прошу вас ...

– Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший! – вскричал я в припадке нестерпимой досады. – Зачем же он вызывал меня после этого?.. Но слышите, что это за шум?

Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визги и какие-то необыкновенные крики.

– Боже мой! – сказала она побледнев, – опять! Я так и предчувствовала!

– Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите – и это умрет во мне – скажите откровенно: дядя влюблен в вас или нет?

– Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! – вскричала она, вспыхнув от гнева. – И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, – прибавила она с горькою улыбкою. – И с чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

– Но... это Фома Фомич...

– Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыслицу; тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фомича разорвать готов. Вот они теперь и кричат об этом; уж я предчувствую, что об этом.

– Так это все правда! Так, значит, он непременно женится на этой Татьяне?

– На какой Татьяне?

– Ну, да на этой дуре.

– Вовсе не дуре! Она добрая. Не имеете вы права так говорить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.

– Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь если б они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

– А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шутком перед ними вертится! Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутком, так ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек! Он думает, бог знает почему – и вовсе не потому, что я здесь жалованье хорошее получаю – уверяю вас; он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло: они меня съесть хотят, и я знаю наверное, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают его из-за меня, они погубят его! А он мне все равно, что отец, – слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отложат хоть на время и свадьбу его с Татьяной Ивановной... Вот я вам все теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына. Скажите, чтоб он не беспокоился обо мне, что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною его здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная. Но, боже мой, какой шум! какой крик! Что там делается? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу им всем всё это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть,

и совершенно недоумевая, чем всё это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он все еще держал свою тетрадку в руке.

– Пожалуйте к дяденьке! – проговорил он унылым голосом.

Я очнулся.

– К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?

– В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.

– Кто с ним?

– Одни. Дожидаются.

– Кого? меня?

– За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные деньки! – прибавил он, глубоко вздыхая.

– За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?

– На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.

Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате, где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая дрожь пробежала, временем, по всему его телу.

IX. ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

– Друг мой! все кончено, все решено! – проговорил он каким-то трагическим полусшепотом.

– Дядюшка, – сказал я, – я слышал какие-то крики.

– Крики, братец, крики; всякие были крики! Маменька в обмороке, и всё это теперь вверх ногами. Но я решился и настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, – и покажу! И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать... Сердце мое разбито, Сережа... но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

– Но что же такое случилось, дядюшка?

– Я расстаюсь с Фомой, – произнес дядя решительным голосом.

– Дядюшка! – закричал я в восторге, – ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то... располагайте мною во веки веков.

– Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж все решено. Жду Фому; я уже послал за ним. Или он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю всё и поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь всё по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? – с яростию закричал он, обращаясь к Гавриле. – Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви! Я твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич!..

– Слава те господи! – пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку.

– Друг мой! – продолжал дядя с глубоким чувством, – они требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, ты не знаешь, чего они от меня требовали, и, наконец, формально потребовали, всё высказали! Но это противно человеколюбию, благородству, чести... Я всё расскажу тебе, но сперва...

– Я уж все знаю, дядюшка! – вскричал я, перебивая его, – я угадываю... Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной.

– Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! – торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. – Потом я всё сам расскажу тебе, но покамест... Что ж? – закричал он вошедшему Видоплясову, – где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не желают прийти и находят требование явиться до несовместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с».

– Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! – закричал дядя, топая ногами.

Видоплясов, никогда не выдавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.

«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, – подумал я, если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою.

– Ты, впрочем, не рви тетрадку, – сказал он наконец Гавриле. – Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще понадобишься. – Друг мой! – прибавил он, обращаясь ко мне, – я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда? Тебе все равно. Я тебе потом всё сам расскажу – а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.

– Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь? – сказал я, пристально смотря на него.

– Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! – вскричал он с удвоенным одушевлением. – Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал: Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а всё-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. Все же он для меня много сделал... Уйди, мой друг... Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе все потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не ушел; я решил остаться на террасе, где было очень темно и, следовательно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решил подслушивать!

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. Теперь я прошу вообразить Фому Фомича, которому приказали явиться, угрожая силою в случае отказа.

– Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? – возопил Фома, входя в комнату. – Так ли мне передано?

– Твои, твои, Фома, успокойся, – храбро отвечал дядя. – Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома.

Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно, затрудняясь, с чего начать речь.

– Именно братски, – повторил он. – Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький – словом, мы оба в летах... Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах... да, именно в некоторых пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это всё, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб, своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить! Тут всё почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за всё, что ты для меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь, в главнейшем-то пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра... или когда тебе угодно... разведемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, премиленький домик вдовы-попадьи; как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками: приобретешь славу... Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные; протопоп ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам – и мы заживем, как в раю! Желаешь или нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! – подумал я, – дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда.

– Деньги! – проговорил наконец Фома каким-то выделанно-слабым голосом, – где же они, где эти деньги? Давайте их, давайте сюда скорее!

– Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, все, что было. Тут и кредитными и ломбардными – сам увидишь... вот!

– Гаврила! возьми себе эти деньги, – кротко проговорил Фома, – они, старик, могут тебе пригодиться. – Но нет! – вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного визга и вскаки-

вая с кресла, – нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне предлагают деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого последнего бесчестия? Вот, вот, они, ваши миллионы! Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!

И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения.

– Ты возвышенный человек, Фома! – вскричал наконец дядя, очнувшись, – ты благороднейший из людей!

– Это я знаю, – отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством.

– Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!

– Да, передо мной, – поддакнул Фома.

– Фома! не твоему благородству я удивляюсь, – продолжал дядя в восторге, – но тому, как я мог быть до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени... если только хочешь...

– Не надо мне ваших колен, полковник!..

– Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен, фразирован [неприятно удивлен], я был вне себя... Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки...

– Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе, бросился его снова усаживать.

– Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! – кричал дядя. – Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и всё буду идти за тобой до тех пор, покамест ты не простишь меня... Клянусь, Фома, я так сделаю!

– Вас простить? вы виноваты? – сказал Фома. – Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною; вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца, думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом, еще прежде, одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то... ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесением яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу иль брату деньгами – и за что же? главное, за что же? «На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: на тебе несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно, полковник, я уже предвидел всё это, – вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили

ваши перины, давили, а не лелеяли! вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайеннским перцем, а не конфетами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так и будет, полковник!

– Нет, Фома, нет! так не будет, так не может быть! – простонал совершенно уничтоженный дядя.

– Да, полковник, да! именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же уйду от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами – и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Прощай-те, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.

– Прости, прости, Фома! забудь!.. – повторял дядя умоляющим голосом.

– «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!

– Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообразно!

– Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унижительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

– Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя...

– И это тот самый человек, – продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, – тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам! Сколько раз, бывало, в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные

ночи, полковник! и вот как заплатил ему этот полковник! Но довольно, довольно!

– Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу – клянусь тебе!

– Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я прощу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благородный, я поневоле буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать; я обязан во имя нравственности, потому что – повторяю вам это – вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну, кто из ваших сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однако ж, нищий, презираемый всеми Фома, из любви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне вы, как своему равне, а говорите ты, как слуге?

– Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе ты! – возопил дядя. – Я не знал, что тебе неприятно... Боже мой! но если б я только знал...

– Вы, – продолжал Фома, – вы, который не могли или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, «ваше превосходительство»...

– Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягнувие, Фома.

– Высшее посягнувие! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома! Ну неужели я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б захотел именоваться превосходительством, я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освящаются добродетелью? За миллион не возьму генеральского чина без добродетели! А между тем вы считали меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши ученые! Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решил я требовать от вас генеральского титула.

Я именно хотел, чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин – ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди, озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне «ваше превосходительство». Вот где причина! вот где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома...

– Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто Фома... я почитаю...

– Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению: достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин или нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

– За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души – достоин! – с гордостью проговорил дядя.

– А если достоин, так для чего же вы не скажете мне «ваше превосходительство»?

– Фома, я, пожалуй, скажу...

– А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что – не забудьте это – вы должны сделать целый ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверю в вашу искренность...

– Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходительство»!

– Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали же, сказали мне «ваше превосходительство».

– Изволь, Фома, я готов... Только как же это так, сейчас, Фома?..

– Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно.

– Ну, да пожалуй, Фома, я готов... я даже горжусь... Только как же это, Фома, ни с того ни с сего: «здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь это нельзя ...

– Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!

– Да ты не шутишь, Фома?

– Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы – не забудьте это; и не Фома, а Фома Фомич.

– Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами рад... Только что ж я скажу!

– Вы затрудняетесь, что прибавить к слову «ваше превосходительство» – это понятно. Давно бы вы объяснились! Это даже извинительно, особенно если человек не сочинитель, если выразиться поучтивее. Ну, я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство!..»

– Ну, «ваше превосходительство».

– Нет, не: «ну, ваше превосходительство», а просто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и все знаю... Ну-с: «ваше превосходительство».

– Ваше превосходительство...

– Как я несказанно обрадован, что имею наконец случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую... Ну, довольно с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галиматью, фразу за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня.

– Ну, не чувствуете ли вы теперь, – проговорил истязатель, – что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел ангел?... Чувствуете ли вы присутствие этого ангела?... отвечайте мне!

– Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось, – отвечал дядя.

– Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?

– Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло.

– Как будто по маслу? Гм... Я, впрочем, не про масло вам говорил... Ну, да всё равно! Вот что значит, полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы!

- Самолюбив, Фома, вижу, – со вздохом отвечал дядя.
- Вы эгоист и даже мрачный эгоист...
- Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор, как тебя узнал, так и это узнал.
- Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать... вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет.
- Правда и это, Фома!
- Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что порядочный человек от вас за тридевять земель убежать готов!
- Дядя еще раз глубоко вздохнул.
- Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим, забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и жить давай другим – вот мое правило! Терпи, трудись, молись и надейся – вот истины, которые бы я желал внушить разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей... если понадобится... А то я да я, да милость моя! Да ведь надоест же наконец, ваша милость, с позволения сказать.
- Сладкогласный человек! – проговорил в благоговении Гаврила.
- Это правда, Фома; я всё это чувствую, – поддакнул растроганный дядя. – Но не всем же и я виноват, Фома: так уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!.. Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший.
- Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на самолюбии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы чем; а было бы, может быть, чем.
- Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил старое хорошее время.
- Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхопльсам, ученым, которых не щажу и не хочу щадить. Не люблю дураков! И

что такое эти ученые? «Человек науки!» – да наука-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну что он давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых! Всё могу опровергнуть; все положения их могу опровергнуть! Я уж не говорю о благородстве души...

– Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?

– Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур; я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж? Оценили кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности... Нет, это им не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

– Это, Фома, человек умный, человек науки... Я его жду. Это, верно, уж будет хороший, Фома!

– Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

– Нет, Фома, нет! Как о семейном счастье говорил! так сердце и вникает само собою, Фома!

– Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но довольно, – заключил Фома, подымаясь с кресла. – Я не могу еще вас совершенно простить, полковник: обида была кровавая; но я помолюсь, и, может быть, бог ниспошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб...

– Ах, Фома! – захолоптал дядя, – ведь ты в самом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.

– Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! – отвечал Фома с презрительным хохотом. – Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибами или мочеными яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

– Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца...

– Ну, хорошо. Довольно об этом. Я уйду, а вы немедленно идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте,

плачьте, но вымолите у нее прощение, – это ваш долг, ваша обязанность!

– Ах, Фома, я все время об этом только и думал; даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома, чего от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай, реши – и тогда... тогда... клянусь!..

– Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, – отвечал Фома. – Вы знаете, что я во всё это нимало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра... Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем! а я ... а я буду всю ночь за вас молиться. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич! Прощайте! Прощаю и тебя, старик, – прибавил он, обращаясь к Гавриле. – Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя... Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.

– Ты подслушивал? – вскричал дядя.

– Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать ему «ваше превосходительство»!..

– Что ж делать, братец? Я даже горжусь... Это ничего для высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей – ты ведь слышал... И как мог я тут соваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подозревал, обвинял... но нет! он не мог быть моим противником – это я теперь вижу... А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег?

– Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если всё кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду!

– Друг мой... – засуетился по обыкновению своему дядя, – погоди только две минуты: я, брат, иду теперь к маменьке... там надо кончить ... важное, великое, громадное дело!.. А ты пока-

мест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело – я теперь уж знаю, как сделать, – и тогда мигом к тебе, и тогда всё, всё, всё до последней черты расскажу, всю душу выложу пред тобою. И...и... и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.

Х. МИЗИНЧИКОВ

Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «новым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький, деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома, в самом саду. С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами [инициалами] и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, – все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине моего просвещения» и, в заключение, просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.

– Надеюсь, что вы позволите с вами познакомиться, – сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. – Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

– Что это у вас? – сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. – Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист, с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и вероятно, заранее приготавлился. Вы не удивляйтесь: здесь много странного, и, право, есть над чем посмеяться.

– Только посмеяться?

– Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.

– Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, – отвечал я с досадою.

Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова и любезный его разговор – всё это предпринято им с какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

– Проклятый Фома! – сказал я, со злостью стукнув кулаком по столу. – Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

– Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, – заметил Мизинчиков.

– Слишком рассердился! – вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. – Конечно, я давеча слишком увлекся и, таким образом, дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и, я думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! и... и... наконец... я просто уеду отсюда – вот что!

– Вы курите? – спокойно спросил Мизинчиков.

– Да.

– Так, вероятно, позволите и мне закурить. Там не позволяють, и я почти стосковался. Я согласен, – продолжал он, закурив

папироску, – что всё это похоже на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас, именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более разгорячился и вышел из себя, чем вы.

– А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоминаю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать... всем и каждому!

– Ваша правда: он многим благодетельствовал; но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным: во-первых, это и для него бесполезно и даже унизительно как-то; а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А вам откровенно скажу: мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством.

– Но я нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств... Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете...

– Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, – торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

– Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках, – я видел это собственными глазами.

– Как это? Неужели? – вскрикнул Мизинчиков. – Расскажите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

– Ловко! – сказал он, выслушав рассказ. – Я даже не ожидал от Фомы.

– Однако ж отказался от денег! Чем это объяснить? Неужели благородством души?

– Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом тридцать. Впрочем, знаете что? – прибавил он, подумав, – я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая размазня, и всё это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством вглядывался в него.

– Гм! Надо ожидать больших перемен, – прибавил он, задумываясь. – Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, – прибавил он сквозь зубы.

– Так вы думаете, что непременно состоится – этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливо взглянул на меня.

– Подлецы! – вскричал я запальчиво.

– Впрочем, у них идея довольно основательная: они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства.

– Мало он для них сделал! – вскричал я в негодовании. – И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль – жениться на пошлой дуре!

– Конечно, и я согласен с вами, что она дура... Гм! Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочувствую... хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впрочем, у них и другие резоны: они боятся, чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке... помните, еще такая интересная девушка?

– А разве... разве это вероятно? – спросил я в волнении. – Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня это крайне интересует...

– О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.

– Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его любит?

– Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: она очень бедна.

– Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга?

– Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

– Возможно ли этому поверить? – вскричал я, – и вы, и вы признаетесь, что этому верите?

– Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем, очень может и быть.

– Как может быть! Вспомните благородство, честь дяди!

– Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются. Впрочем, повторяю, я нисколько не стою за совершенную достоверность этих известий, тем более что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым.

– Ну, вот видите! – вскричал я, – с Видоплясовым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ль даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?

– Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, – спокойно отвечал Мизинчиков, – а впрочем, могло и случиться. На свете всё может случиться. Я же там не был, и притом я считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи с Видоплясовым. Это всё проделки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи, из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича – ей-богу! – на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж всё рассказал вам об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой.

– С просьбой? Помилуйте, всё, чем могу быть полезен...

– Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе насчет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предварительную.

– Какую же?

– А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить мою главную просьбу, может быть и нет, но во всяком случае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что всё, услышанное вами от меня, останется между нами в глубочайшей тайне и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны или нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.

– Ну-с?.. – сказал я.

– Дело в сущности очень простое, – начал Мизинчиков. – Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин – понимаете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и некоторое время не мог выговорить слова.

– Признаюсь вам, ничего не понимаю, – проговорил я наконец, – и кроме того, – продолжал я, – ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я, с своей стороны, никак не ожидал...

– Ожидая не ожидали, – перебил Мизинчиков, – в переводе это будет, что я и намерение мое глупы, – не правда ли?

– Вовсе нет-с... но...

– О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что эдак ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что всё это с первого взгляда может показаться даже несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете так добры, выслушайте все обстоятельства...

– О, помилуйте! я с жадностью слушаю.

– Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцова, играл, пил – словом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что всё это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры... ну, конечно, и для себя...

– Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?

– Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-нибудь романтическое и эффектное. Разумеется, всё это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить-то ее отсюда!

– Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит?

– О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительное честное слово, чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах.

– Так, стало быть, она совсем сумасшедшая... ах! извините, – прибавил я, спохватившись. – Так как вы теперь имеете на нее виды, то...

– Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой мании к амурным делам я, право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил – ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц – всё это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про франта в белом жилете: это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и

на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней всё, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени. Но дня через четыре надо ее увезти, непременно. Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать; я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут никакого риска: она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уж если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства... Привезу я ее в благородный, но бедный дом – здесь есть, в сорока верстах, – где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее не допустят; а между тем я времени терять не буду: свадьбу уладим в три дня – это можно. Разумеется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не более пятисот серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли?

– Понимаю, – сказал я, поняв, наконец, все в совершенстве. – Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

– Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук.

– Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?

– Вопрос ваш, – отвечал Мизинчиков с самою любезною улыбкою, – вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение.

– О, много чести!

– Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки и... и... ну и молоды; но вот в чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдержите. Вы не Обноскин – это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мной в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов

ревностно помогать в похищении, но с условием: через месяц после свадьбы получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма, без процентов.

– Как? – вскричал я, – так вы ее уж и мне предлагаете?

– Естественно, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но... идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро успешный пост, и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?

– Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно.

– Почему же?

– Как почему ж? – вскричал я, давая наконец волю накопившимся во мне чувствам. – Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и должно было бы удерживать вас, как благородного человека! Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непременно ее покинете... Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники!

– Фу ты, боже мой, какой романтизм! – вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. – Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне... Рассудите только!

– Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женись на Татьяне Ивановне, – отвечал я с саркастической улыбкой.

– А то как же? именно так, именно самое великодушное дело! – вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. – Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, – ведь это же стоит чего-нибудь? Во-вторых,

несмотря на то что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, — это опять чего-нибудь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, обретет ее дочиста и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спекулируют на ее денешки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня — все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство — это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра; за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями: на это можно, знаете, как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит? Натурально, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врознь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру: ну способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходима непрерывная перемена; она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вконец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год или чаще, и не за деньгами — уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном отношении я поступаю с

ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо.

– Вспомнили ли вы, – сказал я, – что она уже почти невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы и, сверх того, у него же возьмете взаимы для совершения этого подвига!

– А вот тут-то я вас и ловлю! – с жаром вскричал Мизинчиков. – Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых и главное: дядя еще предложения не делал; следовательно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; притом же, прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой – заметьте это – я уж имел тайное ночное свидание в беседе. Наконец, позвольте: не вы ли сами были в исступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступаете за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение: спасаю его – вы должны это понять! Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна? да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить

такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно подействовало.

– А что если он завтра сделает предложение? – сказал я, – ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная невеста его.

– Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

– Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу.

– Признаюсь вам, – отвечал он, – этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль... словом, свалял ужаснейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он все здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину... Непростительно, непростительно!

– Ну, что ж Обноскин?

– С восторгом согласился, а на другой же день, рано утром, исчез. Дня через три является опять, с своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощельга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей всё рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении... Оттого-то я и тороплюсь.

– Чего ж именно вы от них опасаетесь?

– Многого, конечно, не сделают, а что напакостят – так это наверное. Потребуют денег за молчание и за помощь: я того и жду... Только я много не могу им дать, и не дам – я уж решил: больше трех тысяч ассигнациями невозможно. Рассудите сами:

три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде всё сполна нужно отдать; потом старые долги; ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обноскины, впрочем, уехали.

– Уехали? – спросил я с любопытством.

– Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра увидите, опять явятся. Ну, так как же, согласны?

– Признаюсь, – отвечал я, съезживаясь, – не знаю, как и сказать. Дело щекотливое... Конечно, я сохраню все в тайне; я не Обноскин; но ... кажется, вам на меня надеяться нечего.

– Я вижу, – сказал Мизинчиков, вставая со стула, – что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый ... Но терпение! Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал – понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня решиться!

– Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать ... не знаю как-то ...

– Знаем! Ну, подождем до завтра, – решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. – *La nuit porte conseil**. До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте...

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.

Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не восходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то восходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

XI. КРАЙНЕЕ НЕДОУМЕНИЕ

– Дядюшка! – сказал я, – наконец-то я вас дождался.

– Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать.

* Утро вечера мудреней (фр.).

– Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.
– Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.

– Да он, верно, с глупостями, – проговорил я с досадою.

– Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мочи моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.

– Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка...

– Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда...

И дядя опять махнул рукой.

– Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я помогу. Взойдите наверх. Что он такое? чего ему? – сказал я, когда мы вошли в комнаты.

– Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это покажется?

– Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса, – проговорил я, расставив руки от изумления.

– Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то мало! – с досадою проговорил дядя. – Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне...

– Неосновательная фамилия-с! – отозвался Видоплясов.

– Да почему ж неосновательная? – спросил я его с удивлением.

– Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.

– Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии?

– Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?

– Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, – продолжал я в совершенном недоумении, – но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

– Это подлинно-с, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти-с, – отвечал Видоплясов.

– Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича! – вскричал я с досадою.

– Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари; в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже, в некотором отношении, прозрел... Вот видишь, я тебе всё расскажу...

– Это точно-с, – перебил Видоплясов, – что Фома Фомич мои истинные благодетели-с, и, бывши истинные мне благодетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою судьбу предузнал-с.

– Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем всё дело, – продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. – Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать: и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит, – словом, артист! Илюша у него учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же пишет стихи.

– Стихи! Этого еще недоставало!

– Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоящие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маменьке к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там у него, и музы летают, так что даже, знаешь, видна эта... как бишь ее? Округленность форм, – словом, совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего и даже рад, с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь, как отец, говорю. Проведал об этом Фома, посмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, – словом, образовал. Это он правду говорит, что благодетельствовал. Ну, эдак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился и чувство независимости, – мне всё это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл;

только я, признаюсь, хотел и без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!.. Да Фома против этого; говорит, что он ему нужен, полюбил он его; да сверх того говорит: «Мне же, барину, больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и что это en grand»*. Ну, en grand, так en grand! Я, братец, уж стал его уважать – понимаешь?.. Только бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе, как отец, говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, честная, работающая, веселая. Так вот нет же теперь: не хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки...

– Более по совету Фомы Фомича-с, – заметил Видоплясов, – так как они истинные мои доброжелатели-с...

– Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! – вскричал я невольно.

– Эх, братец, не в том дело! – поспешно прервал меня дядя, – только видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают...

– Более через Матрену-с, – заметил Видоплясов, – потому что Матрена истинная дура-с и, бывши истинная дура-с, притом же невоздержная характером женщина, через нее я таким манером-с пошел жизнью моею претерпевать-с.

– Эх, брат Григорий, говорил я тебе, – продолжал дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова, – сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия ...

– Необлагороженная фамилия-с, – ввернул Видоплясов.

– Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил ... то есть не то чтоб одобрил, а видишь, какое соображение: что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, – не правда ли?

– Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?

* На широкую ногу (фр.).

– Печатать, братец. Это уж решено – на мой счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе будет написано: «Сочинения Видоплясова»...

– «Вопли Видоплясова-с», – поправил Видоплясов.

– Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные, насмешники; Брамбеус, например ... Им ведь все нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся, – не правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах – псевдоним, что ли, называется – уж не помню: какой-то ним. Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная ...

– Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.

– Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить: пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия, и все такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов... Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли «Верный» – «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный». Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию – сколько ты их перебрал, – наконец надумался, пришел просить, чтоб тебя звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился, вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только, братец, – прибавил дядя, обращаясь ко мне, – чтоб уж только отвязаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркивая карандашом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десть [24 листа] голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов, проба пера». Наконец, и тут неудача: прибрали тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова – опять перемена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

– Танцев-с, – отвечал Видоплясов. – Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

– Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя! Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

– Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с.

– Какое?

– Эссбукетов.

– И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия с помадной банки! А еще умный человек называешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах написано.

– Помилуйте, дядюшка, – сказал я полушепотом, – да ведь это просто дурак, набитый дурак!

– Что ж делать, братец? – отвечал тоже шепотом дядя, – уверяют кругом, что умен и что это все в нем благородные свойства igraют ...

– Да развяжитесь вы с ним, ради бога!

– Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, помилуй! – начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Видоплясова. – Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра все разберу, а теперь ступай с богом... Постой! что Фома Фомич?

– Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены-с.

– Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он всё о них Фоме переносит. Вот теперь ушел, а пожалуй, завтра и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец, там всё так уладил, даже спокоен теперь... К тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! – проговорил он с чувством, пожимая мне руку. – А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то какво? да и Фалалей, и ты – всё одно к одному! Ну, слава богу! наконец-то наговорюсь

с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня, ты и Коровкин...

– Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!

– А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя! Но, слава богу! теперь всё уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то... горячее сердечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я горжусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдашнее благословение божие. Тебя тоже простили, и даже, знаешь как? Можешь делать всё, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях, – словом, всё, что угодно; но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче, – это неперемное условие, то есть решительно ни полслова, – я уж обещался за тебя, – а только будешь слушать, что старшие... то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще молод... Так и Анна Ниловна говорит...

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.

– Послушайте, дядюшка, – вскричал я, чуть не задыхаясь, – скажите мне только одно и успокойте меня: я в настоящем сумасшедшем доме или нет?

– Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не можешь никак утерпеть, – отвечал опечаленный дядя. – Вовсе не в сумасшедшем, а так только, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмочил, – человеку, так сказать, почтенных лет?

– Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.

– Ну уж это ты, брат, перескакнул! это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей.

– Не сердитесь, дядюшка, я виноват, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича ...

– Ну, вот уж и вашего! Эх, брат Сергей, не суди его строго: мизантропический человек – и больше ничего, болезненный!

С него нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей! Да ведь ты сам давеча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не случается?

– Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?

– Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа; простить не умеешь!..

– Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?

– Эх, брат, о ней-то всё дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, – словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел ... Наидостойнейший человек!

– Дядюшка! дядюшка! – вскричал я, теряя последнее терпение, – я с вами о деле хочу говорить, а вы ... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовой?

– Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение... Ну, да слава богу! теперь всё это уладилось. Они, видишь ли, – уж признаюсь тебе во всем, – думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяснили... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Всё это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только для пробы, но всё-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По край-

ней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна всё еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?

– Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться, – знаете ли вы это, иль нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, – словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных мер, – и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.

– Где она, не знаешь ли? где она теперь? – проговорил он наконец, побледнев от испуга. – А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал всё уж уладилось, – прибавил он в отчаянии.

– Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам: она хотела все это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.

– Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты стоишь?

– Помилосердствуйте, дядюшка! да разве можно задавать такие вопросы?

– Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, – не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет,

чем дома жить? У старика их девятеро на плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она, и отец. Да и каково таким образом выйти – ужас! Здесь уж будет скандал – я знаю. А жалованье ее уж давно вперед забрано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и благородную фамилию... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? к тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями! Они оскорбят ее; она гордая, и тогда... да уж что тогда? А что если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется?.. Она плюнет на него, – я знаю, что плюнет, – но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда... Голова трещит на плечах! Ах ты, боже мой!

– Дядюшка! простите меня за один вопрос, – сказал я торжественно, – не сердитесь на меня, поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка!

– Что, что такое? Какой вопрос?

– Скажите, как перед богом, откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергичный жест самого судорожного нетерпения.

– Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтоб доказать им всем, что они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и только!

– А если так, дядюшка, то позвольте уж мне всё высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и – дай бог этого! дай вам бог любовь и совет!

– Но, помилуй, что ты говоришь! – вскричал дядя почти с ужасом. – Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокров-

но... и... вообще ты, брат, всё куда-то торопишься, – я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно! Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством! Она, пожалуй, из благодарности и не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Всё равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал: и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и всё... Улыбочка какая у ней! заметил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит... Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли... я бы вас так любил, так любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди всё злятся, всё сердятся, ненавидят друг друга? Так бы, так бы взял да и растолковал бы им всё! Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже мой!

– Да, дядюшка, да, это всё так, а только она вот отказала мне...

– Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, – сказал он в задумчивости. – Но нет! – вскрикнул он, – я не верю! это невозможно! Но ведь в таком случае всё расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустил-ся отмачивать... Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!

Я повторил еще раз всё в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

– Спасти! – сказал он, – спасти до завтрашнего утра!

– Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? – вскричал я в испуге.

– А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение; формально обещался.

– И вы решились, дядюшка?

– Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все же тунеядцем сидеть!

– Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! – вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

– Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастья... Что ж делать, братец, и рад бы с умом... А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая!

– Но, боже мой! он уж и мирится с этою мыслью! – сказал я в отчаянии.

– А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертись: заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, всё откровенно скажу: я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, – спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в выигрыше то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут она сама бежать хочет! Да не будет же этого! – вскрикнул дядя, топнув ногою. – Послушай, Сергей, – прибавил он с решительным видом, – подожди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

– Куда вы, дядюшка?

– Может быть, я ее увижу, Сергей: всё объяснится, поверь, что всё объяснится, и... и... и женишься же ты на ней – даю тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и повернул в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.

ХII. КАТАСТРОФА

Я остался один. Положение мое было нестерпимое: мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему всё. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь... Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокаивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же вслед за этим – пронзительный женский крик. В то же мгновение женщина в белом платье убежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнанной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере я узнал Обноскина, – Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: всё нахальство его исчезло.

– Извините меня, но... я никак не ожидал с вами встретиться, – проговорил он, улыбаясь и заикаясь.

– А я с вами, – отвечал я насмешливо, – тем более что я слышал, вы уж уехали.

– Нет-с... это так... я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам как к благороднейшему человеку в мире?

– С чем это?

– Есть случаи, – и вы сами согласитесь с этим, – когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека... Надеюсь, вы понимаете меня...

– Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.

– Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседе?

– Видел, но не узнал.

– А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею женою.

– Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?

– Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой.

«Кто ж бы это? – подумал я, – уж не...»

– Право, не знаю-с, – отвечал я Обноскину. – Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слова...

– Нет, ради бога, пожалуйста, – умолял Обноскин. – Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны...

– Тс! кто-то идет!

– Где?

Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно, промелькнула тень проходившего человека.

– Это... это, верно, Фома Фомич! – прошептал Обноскин, трепеща всем телом. – Я узнаю его по походке. Боже мой! и еще шаги, с другой стороны! Слышите... Прощайте! благодарю вас и... умоляю вас...

Обноскин скрылся. Через минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли.

– Это ты? – окрикнул он меня. – Всё пропало, Сережа! Всё пропало!

Я заметил, что он дрожал всем телом.

– Что пропало, дядюшка?

– Пойдем! – сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно sprysнул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, – думал я, – когда с таким человеком делается обморок».

– Дядюшка, что с вами? – спросил я наконец.

– Всё пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее!

– Поцеловали! в саду! – вскричал я, смотря в изумлении на дядю.

– В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее увидеть. Хотел ей все высказать, урезонить ее, насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной скамейки, за прудом... Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной.

– Часто, дядюшка?

– Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно и выследили, – уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна всё работала. Мы на время и прервали; дня четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо было кое-что сообщить...

– Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за вами следят?

– Да ведь критический случай, Сережа; многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею: она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся...

– Ну, что ж, дядюшка?

– Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать, чтоб за тебя вышла; а она мне: «Верно, вы меня не любите, верно, вы ничего не видите», и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уж давно люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь пойду».

– Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше, дальше, дядюшка?

– Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?

– Подлец!

– Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич молча прошел мимо нас, да пальцем мне и пригрозил, – понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?

– Ну, да уж как не понять!

– Понимаешь ли ты, – вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, – понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее вклепать и за это выгнать ее; а вот теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым имеет! Это всё Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

– Непременно расскажет, дядюшка.

– А если расскажет, если только расскажет... – проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки, – но нет, не верю! он не расскажет, он поймет... это человек высочайшего благородства! Он пощадит ее...

– Пощадит иль не пощадит, – отвечал я решительно, – но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.

– Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее; что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее?

– Друг мой! – вскричал дядя, – я об этом думал, идя сюда!

– И как же решили?

– Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал тебе рассказывать!

– Bravo, дядюшка!

И я бросился обнимать его.

Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более

подстрекнуть и направить его и работал со всею юношескою горячностью.

– Тем более, тем более, – говорил я, – что теперь уже всё решено и последние сомнения ваши исчезли! Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас заметили: Настасья Евграфовна вас любит! Неужели же вы попустите, – кричал я, – чтоб эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор?

– Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду наконец так счастлив? – вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. – И как это она полюбила меня, и за что? за что? кажется, во мне нет ничего такого... Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее: имел ты какую-нибудь идею?

– Я видел только, дядюшка, что вы ее любите, как больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня на ней, единственно для того, чтоб она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе...

– А ты... а ты прощаешь меня, Сергей!

– Э, дядюшка!..

И он снова обнял меня.

– Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра.

– Да... да, завтра! – повторил он несколько задумчиво, – и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера... именно с силой характера!

– Не сробейте, дядюшка!

– Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как приступить!

– Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день всё решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит – немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок.

– А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же пойду к нему, чем свет, всё расскажу, вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благороден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспокоит: что если маменька предупредила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!

– Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.

И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове.

– Фантазмагорическое лицо! истинно фантазмагорическое лицо! – вскричал он. – Бедная! Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою! Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал... Странно, ужасно странно! Я поражен, Сережа... Это завтра же надо исследовать и принять меры... Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна?

Я отвечал, что хотя и не видел в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

– Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила... Да нет же, однако! Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! Странно!

Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. «Завтра, завтра, – повторял он, – всё решится, – прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему всё, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты устал; а я уж, верно, во всю ночь глаз не сомкну».

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный донельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и, прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

1. ПОГОНЯ

Я спал, крепко без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека.

– Он еще и смотрит! – вскричал толстяк. – Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! полчаса бужу; продирай глаза-то!

– Да что случилось? который час?

– Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!

– Какая Февронья?

– Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! – прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе.

– Да про кого и про что вы говорите? – сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. – Уж не Татьяна ль Ивановна?

– А как же? она и есть! Я говорил, предрекал – не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

– Неужели с Мизинчиковым?

– Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника! Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иваныч Мизинчиков человек благонравный и теперь с нами же в погоню собирается.

– Что вы говорите? – вскричал я, даже привскакнув на постели, – неужели с Обноскиным?

– Тьфу ты, досадный человек! – отвечал толстяк, вскакивая с места, – я к нему как к образованному человеку пришел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое время с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.

Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре или шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях.

– Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? – торопливо спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная.

– Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим в погоню.

– О! привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите.

– Но где же дядюшка?

– Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Всё погибло теперь! всё потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня как потерянная и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика.

– Успокойтесь! – умолял я ее, – ведь это всё к лучшему – вы увидите... Что с вами, Настасья Евграфовна?

– Я... я не знаю... что со мною, – говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. – Скажите ему...

В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум.

Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикову, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева впрягли свежих лошадей. Всё было готово к отъезду: ждали только меня.

– Вот и он! – закричал дядя при моем появлении. – Слышал, брат? – прибавил он с каким-то странным выражением в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выражалась в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчевев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтоб успеть к ранней обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчевеву руки, как будто умоляя его о защите, – так по крайней мере выходило из его рассказа. «А тотто, подлец, с бородежкой-то, – прибавил он, – ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.

– Обноскин-то, Обноскин-то... – говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое, – кто бы мог ожидать!

– От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! – вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда.

– Что ж мы, едем или нет? Али до ночи будем стоять да сказки рассказывать? – прервал господин Бахчевев, влезая в коляску.

– Едем, едем! – подхватил дядя.

– Всё к лучшему, дядюшка, – шепнул я ему. – Видите, как всё это теперь отлично уладилось?

– Полно, брат, не греши... Ах, друг мой! они теперь просто выгонят ее, в наказание, что не удалось, – понимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!

– Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? – вскричал в другой раз господин Бахчевев. – Аль уж отложить лошадок да закуску подать, – как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчевева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он ча-

сто задумывался; потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на всё с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться.

– Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в Мишино? – спросил вдруг дядя. – Это, брат, двадцать верст отсюда, – прибавил он, обращаясь ко мне, – маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производил! Так по крайней мере о нем говорят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему помогает.

– А то как же? – вскричал Бахчеев, встрепенувшись. – Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его, в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!

– Не беспокойтесь, – заметил Мизинчиков, – застанем.

– Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках; был – да сплыл!

– Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, догоним, – сказал дядя. – Они еще ничего не успели сделать, – увидишь, что так.

– Не успели сделать! – злобно переговорил господин Бахчеев. – Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» – прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. – «Испытала несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня язык ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для божьего праздника. Тьфу!

– Да ведь она, однако ж, не малолетняя, – заметил я, – под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?

– Разумеется, – отвечал дядя, – но она захочет – уверяю тебя. Это она теперь только так ... Только увидит нас, тотчас воротится, – отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг ...

– Под опекой не состоит! – вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. – Дура она, батюшка, набитая дура, – а

не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а наемдни ошибкой зашел в ее комнату: смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! Да ведь как разодета: журнал, просто журнал! Плюнул да и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писаному!

– К чему ж так обвинять? – заметил я с некоторою робостью. – Известно, что Татьяна Ивановна... не в полном своем здоровье... или, лучше сказать, у ней такая мания... Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она.

– Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! – подхватил толстяк, весь побагровев от злости. – Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье; сызмалетства на купидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до последней точки. А про того, с бородачкой-то, и поминать нечего! Небось задувает теперь по всем по трем с денежками, динь-динь-динь, да посмеивается.

– Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?

– А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? оберет ее да и посадит где-нибудь под куст, на дороге – и был таков, а она и сиди под кустом да нюхай цветочки!

– Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! – вскричал дядя. – Впрочем, чего ж ты так сердисься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?

– Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет. Ведь, я, может, ее же любя, говорю... Эх, прокисай все на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, – о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и наконец бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю

горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла наконец свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительна, болезненно-восприимчива и впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи изящные, богатые, знатные, всё князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви, и наконец он – он, идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын – всё вместе или поочередно, всё это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже начал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний... И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя, утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, – она вдруг получила известие о смерти одного своего дальнего родственника, у которого давно уже (о чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась) перемерли все его близкие родные, человека странного, жившего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье, одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося черепословием и ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной законной наследницей умершего

родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же, в самом деле, и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды-два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни: отчего же и всему не сбыться? отчего же и ему не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании его, идеала – женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и не испанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей день и ночь в количестве, ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет – тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо – тот и испанец; кто умер – непременно от любви к ней. Всё это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправились и стали, все до одного, веселые, милые, ласковые, добрые. Он не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что он явится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы

удовольствия, читала романы. Романы еще более распалили ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтения, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Бесперывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, накладки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфеты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство – выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после известия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее, хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка неспособна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попала к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшею соломой, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракета свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвести отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом,

длинном «турецком» диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись: казалось, их в доме не было; все куда-то попрятались.

– Вот она, путешественница! еще и ручками закрывается! – вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату.

– Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это наконец неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, – резко заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием сказал ей:

– Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро ...

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг залившись слезами, бросилась к нему на шею.

– Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! – говорила она рыдая, – скорее, как можно скорее!

– Рассказалась да и сбрендила! – прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою.

– Значит, все кончено, – сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. – Татьяна Ивановна, пожалуйста вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приотворилась еще более.

– Однако ж, если судить с другой точки зрения, – заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, –

то посудите сами, Егор Ильич ... ваш поступок в моем доме ... и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич ...

– Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный поступок, – отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, – а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни слова – слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни.

– Не презирайте меня, Егор Ильич, – начал он полупшепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услышали, – это все не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич... но я с благородной целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с... я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете... Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич...

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать.

– Ну, ну, полно, полно! – проговорил он наконец. – Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается... Если хочешь, приезжай, брат, обедать... а я рад, рад...

Но не так поступил господин Бахчеев.

– Стипендию учредить! – заревел он с яростью, – таковский чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со всякого встречного... Штанишек нет, а туда же, в стипендию какую-то лезет! Ах ты лоскутник, лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха залезла...

– Степан, Степан!.. – закричал дядя.

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась и сама Анфиса

Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату.

– Это что? – закричала она, – что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! – продолжала она вопить, набрасываясь на сына, – ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме, А ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки – ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

– Вы так не выйдете, Егор Ильич! – затрещала она снова. – По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от вас ночью – вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врваться целой шайкой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! не позволю! Я не сошла с ума! .. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же выпровожу!..

– Нет, нет! – закричала испуганная Татьяна Ивановна, – я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?

– Не хотите? – взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости, – не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае как же вы смели обманывать нас? В таком случае как же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навязывались,

ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас!.. Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!.. Нет-с! Вы заплатите, вы должны теперь заплатить: мы доказательства имеем: вы ночью бежали...

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

– Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы! – кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном иступлении. – Я бумагу подам! вы заплатите... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он под носом у вас держит гувернантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку.

– По крайней мере позвольте мне искать вашей дружбы! – сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице.

– Как это дружбы? – сказал я, занося ногу на подножку коляски.

– Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего человека. Не судите меня... Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею склонности к литературе – уверяю вас; а это все маменька...

– Верю, верю, – сказал я, – прощайте!

Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчеву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но все еще плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его

сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться; потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбrello [здесь: зонтик], грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу.

– Безумец! – проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнивший сосуд.

– Что-о-о? – заревел толстяк, – что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!

– Безумец! безумец! – повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.

– Стой! – закричал Бахчеев кучеру, – стой!

Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски.

– Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? – вскричал изумленный дядя.

– Нет, уж довольно с меня! – отвечал толстяк, дрожа от негодования, – прокисай всё на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-порте-ву [как поживаете (франц.)]!

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом.

– Степан Алексеевич! – кричал дядя, выходя наконец из терпения, – не дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

– И – ну вас! – проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился ходить.

– Пошел во весь опор! – закричал Мизинчиков кучеру.

– Что ты, что ты, постой!.. – вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно получились желаемые плоды.

– Стой! стой! – раздался позади нас отчаянный вопль, – стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..

Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстук и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место; по крайней мере он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но, почти вслед за ним, вошел дядя и тотчас же выслал его.

II. НОВОСТИ

– Я, брат, к тебе на минутку, – начал он торопливо, – спешил сообщить... Я уже все разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насилу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме, и меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, – важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую...

– Напротив, дядюшка, – заспешил я в свою очередь, – всё превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне – это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел объяснить.

– Так так, друг мой. Но всё это не то; во всем этом, конечно, перст божий, как ты говоришь; но я не про то... Бедная Татьяна Ивановна! какие, однако ж, с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин! А впрочем, что ж говорю «подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женись на ней?.. Но, впрочем, я всё не про то... Слышал ты, что кричала давеча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

– Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?

– Непременно, и во что бы ни стало! – отвечал дядя. – Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня, – вот что?

– Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит...

– Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что не выйду за вас».

– Эх, дядюшка! Это так только говорится; к тому же обстоятельства сегодня не те.

– Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастья!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал, слово с тобой перебраться. Ах, боже мой! – вскричал он, возвращаясь, – главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал, Фоме-то!

– Когда?

– Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видоплясовым. Я, братец, всё изобразил, на двух листах, всё рассказал, правдиво и откровенно, – словом, что я должен, то есть непременно должен, – понимаешь? – сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами...

– И что ж? Никакого ответа?

– Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в колпаке, – он спит в колпаке, – куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, эдак снизу, – ничего!

– Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.

– Нет, нет, братец, не говори! – вскричал дядя, махая руками, – я уверен. К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен – не спорю; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл... именно, как перл. Это ты все оттого, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве... Но, боже мой! если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то... я уж и не

знаю, что тогда будет, Сергей! Чему же остается и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец: это правда – не стою!

– Егор Ильич! маменька об вас беспокоятся-с, – раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. – Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

– Боже мой, опоздал! Беда! – всполошился дядя. – Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе пойти... Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

– Я за вами, – сказал он, – Егор Ильич вас просит немедленно. – Идем!

Я был уже совсем готов. Мы пошли.

– Что там нового? – спросил я дорогою.

– Все у Фомы, в сборе, – отвечал Мизинчиков, – Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать... Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он все утро не пускал к себе никого, хотя старуха давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами.

- А Татьяна Ивановна?
- Что Татьяна Ивановна?
- Она там же? с ними?

– Нет; она в своей комнате, – сухо отвечал Мизинчиков. – Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У ней, кажется, теперь эта... гувернантка. Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!

– Кажется, гроза, – отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.

– А признайтесь, каков Обноскин-то, – продолжал я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова.

– Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом подлеце! – вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногою. – Дурак! дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни, – я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел все это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить! Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль... Согласитесь сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо! И наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж – это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль...

– Но, вероятно, после, – прервал я его, – потому что мы вот и пришли.

– Хорошо, хорошо, после! – отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. – А теперь... Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую комедию... Так как уж дело пошло на комедию...

III. ИЛЮША ИМЕНИННИК

Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая, щегольская мебель – все свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложённый книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, – все это вместе должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же, впоследствии, не один раз заставлял Фому за Поль-де-Коком [французский писатель, чье имя стало нарицательным обозначением фривольной литературы], которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстука. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не

ожидала поутру, что ее нещечко так покойно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее, по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, захавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинична уничтожалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангелочек. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи – все это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшая почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь и хотели разыграть... Я и забыл про Бахчеева. Он сидел поодаль, на стуле, все еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенял Ежевикин; впрочем, он семенял и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичем, – словом, поспевал везде. Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего уважения и преданности. Вовсе не вид-

но было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

– Вот и он! – радостно вскричал дядя, увидев меня. – Илюша, брат, стихи приготовил – вот неожиданность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал и стихи остановил до прихода... Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь уж, верно, ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, все обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя неспособен был угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать...

– Не беспокойтесь обо мне, полковник, – отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. – Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувствительность и благонаравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения... Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился... вы это знаете... Впрочем, готов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.

– Именно, Фома, извини! Я забыл... хоть и уверен в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.

– Нет, папочка, не из Ломоносова, – сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, – а так как вы были военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное... Осаду Памбы, папочка.

– Осада Памбы? а! не помню... Что это за Памба, ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.

– Говори, Илюша! – скомандовала Сашенька.

Девять лет, как Педро Гомец... –

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи, –

Девять лет, как Педро Гомец
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаюсь,
И все войско дона Педра,
Девять тысяч кастильянцев,
Все по данному обету
Ниже хлеба не скупают,
Пьют одно лишь молоко.

– Как! что? Что это за молоко? – вскричал дядя, смотря на меня в изумлении.

– Читай дальше, Илюша, – вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Гомец
О своем бессилье плачет
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый;
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педра
Всего-навсего осталось
Девятнадцать человек...

– Да это галиматья! – вскричал дядя с беспокойством, – ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

– Это, папочка, шуточные стихи, – вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее, – это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.

– А! шуточные! – вскричал дядя с просиявшим лицом, – комические то есть! То-то я смотрю ... Именно, именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке всю армию поморил, по обету какому-то! Очень надо было давать такие обеты! Очень остроумно – не правда ль, Фома? Это, видите, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители, –

не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?

Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Гомец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!

– Экой фюфан! чем утешается, – прервал опять дядя, – что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или... как это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца, – прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь, – а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая! Прекрасно! прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай! Ах вы, шалуньи, шалуньи! – прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась.

Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаясь на седлах,
В голос слабо закричали:
«Санкто Яго Компостелло!
Честь и слава дону Педру!
Честь и слава Льву Кастильи!»

А каплан его, Диего,
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»

– Ну вот! Не то же ли я говорил? – вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. – Один только человек во всей армии благо-разумный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

– Монах, духовная особа, дядюшка.

– А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в романах Радклиф читал. Там ведь у них разные ордена, что ли?.. Бенедиктинцы, кажется... Есть бенедиктинцы-то?..

– Есть, дядюшка.

– Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Прекрасно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил!..»

– Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому наконец смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосходно! Не-обыкновенно колко!

– Да уж кончено, папочка!

– А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и де-лать, – не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?

– Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник: заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет!»

– Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю, – пробормотал дядя, вдруг весь покраснев как ребенок. – Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалуныя, – сказал он, об-нимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

– Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, – прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия.

Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?

– Да, да! чьи стихи? – всполошился дядя. – Должно быть, умный поэт написал, – не правда ль, Фома?

– Гм!.. – промычал Фома под нос.

Во все время чтения стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.

– Я, право, забыла, – отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича.

– Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Современнике» напечатано, – выскочила Сашенька.

– Кузьма Прутков! не знаю, – проговорил дядя. – Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами, – не правда ль, Сергей? И, сверх того, благороднейших свойств человек – это ясно, как два пальца! Даже, может быть, из офицеров... Хвалю! А превосходный журнал «Современник»! Непременно надо подписываться, коли все такие поэты участвуют... Люблю поэтов! Славные ребята! всё в стихах изображают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный... право!.. Что ты сказал, Фома?

Фома Фомич, которого разбирало все более и более, громко захихикал.

– Нет, я так... ничего-с... – проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. – Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу... Вот и Степан Алексеич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами...

Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль, в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле.

– Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! – сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кровью глазами. – Мне что твоя литература? Дай только бог мне здоровья, – пробормотал он себе под нос, – а там хоть бы всех... и с сочинителями-то... волтерьянцы, только и есть!

– Сочинители волтерьянцы-с? – проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. – Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и Валентин Игнатъич отзываться намерен изволили. Меня самого

вольтерьянцем обозвали – ей богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скиснет – всё господин Вольтер виноват! Всё у нас так-с.

– Ну, нет! – заметил дядя с важностью, – это ведь заблуждение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а вольтерьянцем никогда не бывал! Это всё про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился.

– Нет, я, видишь, Фома, всё про журналы, – проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. – Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда, намедни, внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо! Гм... что ж, в самом деле, просвещение распространяют! Не то, какой же будешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не правда ль, Сергей? Гм!.. да!.. вот хоть «Современник».. Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале, как бишь его? еще в желтой обертке...

– «Отечественные записки», папочка.

– Ну да, «Отечественные записки», и превосходное название, Сергей, – не правда ли? так сказать, все отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат... Намедни прихожу – лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготавлился сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понурив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.

– Готово, Гаврила? – спросил он слабым, но решительным голосом.

– Готово-с, – грустно отвечал Гаврила и вздохнул.

– И узелок мой положил на телегу?

– Положил-с.

– Ну, так и я готов! – сказал Фома и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиравлась кругом.

– Позвольте мне теперь, полковник, – с достоинством начал Фома, – просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. Я же, прощаясь с вами навеки, хотел бы вам сказать несколько последних слов...

Испуг и изумление оковали всех слушателей.

– Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты собираешься? – вскричал наконец дядя.

– Я собираюсь покинуть ваш дом, полковник, – проговорил Фома самым спокойным голосом. – Я решил идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую, мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья – и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

– Но, ради бога, Фома? что ж это значит? – вскричал дядя, побледнев как платок.

Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фому Фомича, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах. Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула.

– Ну, началась история! – прошептал подле меня Мизинчиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: началась гроза.

IV. ИЗГНАНИЕ

– Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это значит?» – торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. – Удивляюсь вопросу! Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом вы в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту последнюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по крайней мере обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившимися глазами.

– Господи! какие страсти-с! – простонала девица Перепелицына.

– Понимаете ли, полковник, – продолжал Фома, – что вы должны отпустить меня теперь, просто и без расспросов? В вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.

– Фома! Фома!.. – вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его.

– И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов, последних слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его не воротить! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на коленях: если в сердце вашем осталось хотя искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то, по возможности, потушите пожар!

– Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! – вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку.

– Умерьте страсти, – продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди, – побеждайте себя. «Если хочешь победить весь мир – победи себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели...

– Но это невозможно же, Фома! – снова прервал его дядя, – ты не так понял и не то совсем говоришь...

– Итак, вспомните, что вы помещик, – продолжал Фома, опять не слыхав восклицания дяди. – Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!

– Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? – проворчал Бахчевев, – ведь и я помещик...

– К вам теперь обращаюсь, домашние, – продолжал Фома, – обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, – любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек – образ божий, так сказать, малолетний, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша!

– Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? – в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса.

– Ну, довольно, кажется? – закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. – Теперь о подробностях; положим, они мелки, но необходимы, Егор Ильич! В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой...

– Но, Фома...

– Вы хотели, – я знаю это, рубить зырянский участок лесу; не рубите – другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!..

– Но, Фома...

– Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благословит вас господь! Благословляю и тебя, дитя мое, – продолжал он, обращаясь к Илюше, – и да сохранит тебя бог от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех... Помните Фому... Ну, пойдём, Гаврила! Посади меня, старичок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним.

– Нет, Фома! я не пущу тебя так! – вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку.

– Значит, вы хотите действовать насилием? – надменно спросил Фома.

– Да, Фома... и насилием! – отвечал дядя, дрожа от волнения. – Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..

– Ваше письмо! – взвизгнул Фома, мгновенно воспламеняясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва, – ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.

– Повторяю, Фома, ты не понял! – кричал дядя, бледнея все более и более, – я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья...

– Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду, под кустами!

Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала как в лихорадке.

– Фома! – вскричал дядя в иступлении. Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире!

– Я распространю эту тайну, – визжал Фома, – и сделаю благороднейший из поступков! Я на то послан самим богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да, знайте все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид, в саду, под кустами!..

– Ах, какой срам-с! – пропищала девица Перепелицына.

– Фома! не губи себя! – кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами.

– ...А он, – визжал Фома, – он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению – да, преступлению!.. ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы сделали...

– Еще одно оскорбительное для нее слово, и – я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..

– Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведущую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца.

– Гаврила, подбери его! – вскричал дядя, бледный как мертвец, – посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не было в Степанчикове!

Что бы не замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожидал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, – все это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

– Вот-те и праздничек! – пробормотал господин Бахчевев, нагнув голову и растопырив руки.

– Дело худо! – шепнул я ему, тоже вне себя от волнения, – но, по крайней мере, прогнали Фомича и уж не воротят.

– Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли вы наконец меня выслушать? – спросил дядя, остановясь перед креслом старухи.

Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе.

– Маменька! – продолжал он, – чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую и возвы-

шеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она ошастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь, при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени.

– Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! – закричала она, – сейчас вороти! не то я к вечеру же помру без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его; наконец опомнившись, бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло.

– Вороти Фому Фомича, Егорушка! – продолжала вопить старуха, – вороти его, голубчика! Жить без него не могу!

– Маменька! – горестно вскричал дядя, – или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому – поймите это! не могу и не вправе, после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель! Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой.

– Матушка моя! родная ты моя! – завизжала она, – не выходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! все тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь. Я еще не всё, старуха, прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка. Всё твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости.

– Смертью уморите вы маменьку-с, – кричала она дяде, – смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы соротить маменьку-с с ихним сыном-с; это и господь бог за-прещает-с...

– Анна Ниловна, удержите язык! – вскричал дядя. – Я до-вольно терпел!..

– Да и я довольна от вас натерпелась-с. Что вы сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей не бу-дет-с в вашем доме, не будет-с... сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благоговени-ем взял ее за руку.

– Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? – проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

– Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, – отвечала На-стенька, в свою очередь совершенно упав духом. – Это всё пу-стое, – продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. – Это вы после вчерашнего так... но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич... А я о вас всегда буду пом-нить, как о моем благодетеле и... и вечно, вечно буду молиться за вас!

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, пред-чувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать, настаи-вать... Он слушал, наклонясь к ней, всё еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его.

– Я еще вчера сказала вам, – продолжала Настя, – что не могу быть вашей женою. Вы видите: меня не хотят у вас... а я всё это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша не даст нам благословения... другие тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь по-том, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки бу-дете несчастны из-за меня... с вашим добрым характером...

– Именно с добрым характером-с! именно добренькие-с! так, Настенька, так! – поддакнул старик отец, стоявший по другую сторону кресла, – именно, вот это-то вот словечко и надо было упомянуть-с.

– Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, – про-должала Настенька. – А обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит... я пойду к папеньке... сегодня же... Лучше уж простимся, Егор Ильич...

И бедная Настенька опять залилась слезами.

– Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше слово? – проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. – Скажите одно только слово – и я жертвую вам всем!..

– Последнее, последнее, Егор Ильич-с, – подхватил опять Ежевикин, – и она вам так хорошо это всё объяснила, что я даже, признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужна такую невесту, Егор Ильич, чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскрасавица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в бриллиантах да в страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с... Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с... и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с. Напрасно, напрасно изволили его так избидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добродетели, – увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с... Уж лучше бы теперь воротить-с... потому что ведь придется же воротить-с...

– Вороти! вороти его! – закричала генеральша, – он, голубчик мой, правду тебе говорит!..

– Да-с, – продолжал Ежевикин, – вот и родительница ваша убиваться изволят – понапрасну-с... Воротите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с...

– Подожди, Евграф Ларионыч! – вскричал дядя, – умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово...

Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев.

– Батюшка, Илья-пророк! – прошептали пять или шесть голосов, все вместе, разом.

Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым.

– А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? – пропищала девица Перепелицына.

– Егорушка, вороти его! – вскричала отчаянным голосом генеральша и, как безумная, бросилась к дверям. Ее удержали приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший!

– В одном сюртуке пошли-с: хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! – продолжала Перепелицына. – Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньей-то-с!..

– Непременно убьет! – подхватил Бахчеев, – да еще и дождиком потом смочит.

– Хоть бы вы-то молчали! – прошептал я ему.

– Да ведь он человек али нет? – гневно отвечал мне Бахчеев. – Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся, для плезиру [для удовольствия].

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле.

– Дядюшка, – сказал я, наклоняясь к его уху, – неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере покамест здесь Настасья Евграфовна.

– Друг мой, – отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, – я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте не будет – я так устрою...

Он встал со стула и подошел к матери.

– Маменька! – сказал он, – успокойтесь: я ворочу Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого! Я его заставлю!.. Иначе он не перейдет через порог этого дома! Клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему всё, всё, что могу отдать, не обижая детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк – и в бурях брани, на поле битвы, проведу отчаянную судьбу мою... Довольно! еду!

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед смятенною публикой.

– Что с тобой? откуда? Где Фома? – вскричал дядя, бросаясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы.

– У березняка оставил, версты полторы отсюда, – начал он плачевным голосом. – Лошадь молоньи испужалась и в канаву бросилась.

– Ну... – вскричал дядя.

– Телега перевалилась...

– Ну... а Фома?

– В канаву упали-с.

– Да ну же, досказывай, истязатель!

– Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с.

– А Фома там остался?

– Встал и пошел себе дальше с палочкой, – заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.

Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.

– Полкана! – закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичем. Дядя ускакал даже без фуражки.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра в рот не брали-с и что они теперь на-тощак-с». Девушка Перепелицына нашла забытые очки, в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло наконец до самой последней степени напряжения... В другом углу Сашенька утешала Настю: они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне по-

казалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приго-товлялся захныкать. Я подошел к нему.

– Нет, батюшка, – сказал он мне, – Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло: золото-рогих быков еще под экипаж ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется!

Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» – и дамы с визгом побро-сались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фоми-ча; но загадка объяснилась потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, гро-ма и ливня, препостыдно струсил, поворотил в Степанчиково и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тот-час же остановили одну проезжавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмирившего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужасней-шая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить бе-лье; кричали о бузине и о других крепительных средствах, мета-лись во все стороны без всякого толку; говорили все зараз... Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и за-крыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужас-нейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поце-ловать у него ручку...

V. ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ

– Куда это меня привели? – проговорил наконец Фома голо-сом умирающего за правду человека.

– Проклятая размазня! – прошептал подле меня Мизинчи-ков, – точно не видит, – куда его привели. Вот ломаться-то те-перь будет!

– Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! – вскричал дядя. – Обо-дрись, успокойся! И, право, переменял бы ты теперь костюм, –

Фома, а то заболеешь... Да не хочешь ли подкрепиться – а? так, эдак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться...

– Малаги бы я выпил теперь, – простонал Фома, снова закрывая глаза.

– Малаги? навряд ли у нас и есть! – сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.

– Как не быть! – подхватила Прасковья Ильинична, – целые четыре бутылки остались, – и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.

– Малаги захотел! – проворчал он чуть не вслух. – И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?

– Фома! – начал дядя, сбиваясь на каждом слове, – вот теперь... когда ты отдохнул и опять вместе с нами... то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание...

– Где, где она, моя невинность? – подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, – где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.

– Эж чего захотел! – проворчал он с яростью. – Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь! присягну, что был.

– Фома!.. – начал было опять дядя.

– Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? – кричал Фома, – когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь – где я? где я?

– Ты у нас, Фома, успокойся! – крикнул дядя, – а я вот что хотел тебе сказать, Фома...

– Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, – прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

– Где я? – продолжал Фома, – кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обеспечен, опозорен, умален, избит, и когда засыпят песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

– Батюшки, о монументах заговорил! – прошептал Ежевикин, сплеснув руками.

– О, не ставьте мне монумента! – кричал Фома, – не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!

– Фома! – прервал дядя, – полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только выслушай... Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели – уверяю тебя, ты ошибся, Фома...

– Да перестанете ли вы-с? – запищала опять Перепелицына, – убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.

– Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! – с твердостью отвечал дядя. – Это дело святое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.

– У какой девицы? какую девицу я оскорбил? – проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело.

– Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...

– Кого же я оскорбил? – вопил Фома, – какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

– Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это всё? – говорила она умоляющим голосом. – Бросьте это!..

– А! Теперь я припоминаю! – вскричал Фома. – Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! – просил он, по-видимому, в ужасном волнении. – Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.

– Так, так! – твердил он, – я припоминаю... я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.

– Полковник! – вскричал он, – теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца... Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну. Бахчеев все сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте.

– Теперь слушайте же все мою исповедь! – возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, – а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел всё, всё, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?

– Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распространяйся, Фома! – вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.

– Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, – продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережения дяди. – Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как внешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от гибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиболее роднейшей из девиц...

– Фома! неужели ты мог это подумать? – вскричал дядя.

– С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел всё в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе, – будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить ее из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во всё последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий, О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчеву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастье, что я поставлен, что я произведен для этого, – и что же? вы не поняли наиболее благороднейших побуждений души моей и платили мне во все это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями...

– Фома! если так... конечно, я чувствую... – вскричал дядя в чрезвычайном волнении.

– Если вы действительно чувствуете, полковник, то благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти; ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая

любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление...»

– Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? – с ужасом вскричал дядя. – Господи боже, а я-то ничего и не подозревал!

– Само небо внушило мне эти подозрения, – продолжал Фома. – И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я в эту минуту – о боже! – увидев наконец собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же надежда – и что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете не разглашать... «Но почему же, – подумал я, – почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный – ибо любовь украшает лицо, – почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? «Друг ли я его или самое гнуснейшее из насекомых?» – вот вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, наконец, – думал я, – для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас, и легкомысленного племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее из намерений?» Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее, чистую и благонравную, через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фома, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генеральша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

– Пораженный, раздраженный, убитый, – продолжал Фома, – я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне бог правые мысли! Наконец положил я: в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему негодованию; но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился оземь и затем едва помню, что со мною дальше случилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и малагу и генеральшу.

– Остановитесь! – вскричал он, – мне надо кончить. Что случилось после моего падения – не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов пролить до капли всю кровь мою, – я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник!

– С удовольствием, Фома! – вскричал дядя, – и так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то... разумеется... вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием...

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет.

– Дайте и вы вашу руку, – продолжал Фома слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу и обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому.

– Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходимо для вашего счастья, – ласково прибавил Фома, все еще продолжая держать руку дяди в своих руках.

– Что это он затевает? – проговорил Мизинчиков.

Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку.

Фома взял эту ручку и положил ее в руку дядя.

– Соединяю и благословляю вас, – произнес он самым торжественным голосом, – и если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! Урра!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что «это нельзя»... – но уже было поздно. Бахчеев первый – надо отдать ему справедливость – подхватил ура Фомы Фомича, за ним я, за мною, во весь свой звонкий голосок, Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

– Ура! – крикнул другой раз Фома, – урра! И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей! Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени, вместе с вами...

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей; все столпились около них; но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.

– Фома, Фома!.. – проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать.

– Шампанского! – заревел Степан Алексеевич. – Урра!

– Нет-с, не шампанского-с, – подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а

вместе с тем и последствия, – а свечку богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с...

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почтением уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело: свеча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны. Сняли образ Спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложите, ручку-то у мамыши поцелуйте-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге не описанном.

– Урра! – закричал он снова. – Вот теперь так уж выпьем шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным и священным, – а главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней – к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объяснялся; казалось, все уже было сказано; раздавались только радостные восклицания. Никто не

понимал еще, как это все вдруг так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что все это сделал Фома Фомич и что это факт насущный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольстительно изящном туалете (наверху она-таки успела переодеться) и прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

– Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, – вскричала она. – Боже! они любили друг друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.

– Боже, какой очаровательный роман! – и Татьяна Ивановна захлопала от восторга в ладоши. – Слушай, Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого – неблагодарные, изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! – вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку, – неужели ты влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не богата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога! Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! – закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказаться. – Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила – тебе подарить; я давно хотела тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей... Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь; я буду плакать, Настя... Нет, нет, нет, и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, а отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, Перепелицыну – всех нас. Бахчев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку.

– Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

– Безумец! я давно тебя знаю, – с восторженною игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился.

– Достоянейшая девица! – проговорил он с умилением. – А нос-то немцу ведь подклеили! – шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.

– Какой нос? какому немцу? – спросил я в удивлении.

– А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового... Скоро привезут. Превосходная вещь!

– Фома! – вскричал дядя, в исступленном восторге, – ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

– Ничем, полковник, – отвечал Фома с постной миной. – Продолжайте не обращать на меня внимания и будьте счастливы без Фомы.

Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли.

– Это все от восторга, Фома! – вскричал дядя. – Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей не достанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь... Я больше ничего не скажу, Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что бы сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.

– Вот они какие ангелы-с! – пропищала, в свою очередь, в похвалу Фоме девица Перепелицына.

– Да, да! – подхватила Сашенька, – я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю!

– Да, Фома! – подхватил Бахчеев, – прости и ты меня, дурака! Не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но

и – просто герой! Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, – да чего тут! всем домом ко мне! то есть вот как пообедаем, – заранее не похваюсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излишних излишних подошла к Фоме Фомичу и Настенька и, без дальних слов, крепко обняла его и поцеловала.

– Фома Фомич! – сказала она, – вы наш благодетель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за все это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой...

Она не могла договорить, слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.

– Дети мои, дети моего сердца! – сказал он. – Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль – единственное оставшееся мне утешение!

– Но... куда же ты уйдешь, Фома? – в испуге вскричал дядя. Все вздрогнули и устремились к Фоме.

– Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? – спросил Фома с необыкновенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло; его упрасивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а главное – предстоял такой соблазн поломаться; можно было так

хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился; он вырывался от непускавших его; он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обеспечен, избит; что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оставаться в «доме неблагодарности и есть щи, хотя и сытые, но приправленные побоями»? Наконец он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не прерывалось.

– Разве не обижали меня здесь? – кричал он, – разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник, подобно невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, потому что если вы и не показывали мне их физически, то, все равно, это были нравственные кукиши; а нравственные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических. Я уже не говорю о побоях...

– Фома, Фома! – вскричал дядя, – не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома!..

– ...Я хочу любить, любить человека, – кричал Фома, – а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человеконенавистником! Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечества? Потому что все, что ни есть на свете, – Фалалей или похоже на Фалалея! Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда! – закричал он, вдруг обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича, – поди сюда! Я докажу вам,

полковник, – кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от страха, – я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду: что видел ты во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения; но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

– Ну же, Фалалей, я жду!

Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.

– Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?

– Про...

– Скажи, что меня видел, – подсказывал Бахчеев.

– Про ваши добродетели-с! – подсказал на другое ухо Ежевикин.

Фалалей только оглядывался.

– Про... про ваши доб... про белого бы-ка! – промычал он наконец и залился горячими слезами.

Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.

– По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, – сказал он, – искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие божие... Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..

«Остается!» – вскричали все с восторгом.

– Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.

Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. Так заботиться, в такую минуту и – о ком же? о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшею рукой два куса, потом три, потом уронил их, наконец видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения:

– Э! – вскричал он, – уж для такого дня! Держи, Фалалей! – и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

– Это тебе за искренность, – прибавил он, в виде нравоучения.

– Господин Коровкин, – доложил вдруг появившийся в дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

– Коровкин! – вскричал дядя в некотором замешательстве. – Конечно, я рад... – прибавил он, робко взглядывая на Фому, – но уж, право, не знаю, просить ли его теперь – в такую минуту. Как ты думаешь, Фома?

– Ничего, ничего! – благосклонно проговорил Фома, – пригласите и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа.

– Почтительнейше осмелюсь доложить-с, – заметил Видоплясов, – что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

– Не в своем виде? как? Что ты врешь? – вскричал дядя.

– Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с...

Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал перед изумленной публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими, налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстуке, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене, и сильно лопнувшем под мышкой, в *pantalon impossible** и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на середину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье: потом медленно во весь рот улыбнулся.

– Извините, господа, – проговорил он, – я... того... (тут он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчевев смотрел на него с недоумением,

* Здесь: немислимые брюки (фр.).

сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он всею душою страдал за Коровкина.

– Коровкин! – начал было он, – послушайте!

– Атанде-с [подождите (русск. и франц.)], – прервал Коровкин. Рекомендуясь: дитя природы... Но что я вижу? Здесь дамы... А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? – прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю, – ничего? не робей!.. представимся и прекрасному полу... Прелестные дамы! – начал он, с трудом ворочая язык и завязывая на каждом слове, – вы видите несчастного, который... ну, да уж и так далее... Остальное не договаривается... Музыканты! польку!

– А не хотите ли заснуть? – спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину.

– Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?

– Нисколько. Знаете, с дороги полезно...

– Никогда! – с негодованием отвечал Коровкин. – Ты думаешь, я пьян? – нимало... А впрочем, где у вас спят?

– Пойдемте, я вас сейчас проведу.

– Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ночевал... А впрочем, веди... С хорошим человеком отчего не пойти?.. Подушки не надо; военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини... Да, слушай, – прибавил он останавливаясь, – ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того... понимаешь? ромео, так только, чтоб муху задавить... единственно, чтоб муху задавить, одну, то есть рюмочку.

– Хорошо, хорошо! – отвечал Мизинчиков.

– Хорошо... Да ты постой, ведь надо ж проститься... Adieu, mesdames и mesdemoiselles!.. Вы, так сказать, пронзили... Ну, да уж нечего! после объяснимся... а только разбудите меня, как начнется... или за пять минут до начала... а без меня не начинать! слышите? не начинать!..

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.

Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя все еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял как ошеломленный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вымолвить слова.

– Господи боже! – проговорил он наконец, – кто ж это знал? но ведь... ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома... вот ты увидишь!..

– Вижу-с, вижу-с, – отвечал Фома, задыхаясь от смеха, – необыкновенно начитанный, именно начитанный!

– Про железные дороги как говорит-с! – заметил вполголоса Ежевикин.

– Фома!.. – вскричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рассмеялся и дядя.

– Ну, да что тут! – сказал он с увлечением. – Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье... ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность осчастливленных была безгранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня руками, когда я попробовал было слегка намекнуть, каким процессом получилось согласие Фомы на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» – и даже пристыдила меня за мое жестокосердие. Новообращенный Степан Алексеич, кажется, задушил бы меня, если б мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочтительное про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой, как собачка, смотрел на него с благоговением и к каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж касается Ежевикина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул дело до последней невозможности и отказался уже тогда, когда невозможно было

не отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик, несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время, да укрощаются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задира л нос всё выше и выше. Перед самым обедом, переменяв белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему новую проповедь.

– Полковник! – начал он, – вы вступаєте в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность...

И так далее и так далее; представьте себе десять страниц формата «Journal des Debats», самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич наконец развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, разумеется, насчет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что даже Бахчеев сконфузился. Наконец Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописанный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому Фомича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья, – и я заметил: с самого благословения еще ни не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там, сидя в кресле, за кофеем, ораторствовал Фома, сильно подкураженный. Около него были

только Ежевикин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

– Почему, – кричал Фома, – почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?

– Да костер это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то-с! – трунил Ежевикин. – Ну, что толку? Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут – что останется?

– Что останется? Благородный пепел останется. Но где тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоеует... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

– Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

– Не пощажу дурака! – кричал Фома.

– И не щади! – с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, – нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, и опять пей... Нечего их щадить! все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь, безусловно и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с сияющим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их.

– Друг мой! – сказал он, – я до сих пор как будто не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем

всевышнего. Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?

– Если кто заслужил, дядюшка, то это вы, – сказал я с увлечением. – Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы...

– Нет, Сережа, нет, это слишком, – отвечал он, как бы с сожалением. – То-то и худо, что мы добры (то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни сиял передо мною Фома, а, поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоминания! Но я не владел собой... Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил, как тигр...

– Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно.

Дядя замахал руками.

– Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто всё это от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь ты, Сережа, – продолжал он с глубоким чувством, – сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это всё вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела... И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно всё это говорила! Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал:

– Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед тобой виноват... Но если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, о! тогда... Ну, да уж нечего!.. для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать.

– Да, дядюшка, я теперь переменял мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

– Именно, именно! – подхватил с жаром дядя, – нельзя не уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь ты уж, наверно, смеешься над ним, – прибавил он, с робостью заглядывая мне в лицо, – и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это, может быть, непростительно... ведь это, может быть, превосходнейший, добрейший человек, но судьба... испытал несчастья... Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

– Нет, дядюшка; почему же не верить?

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстанавливать; что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч. и проч., – словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья...

Дядя пришел в необыкновенный восторг.

– Друг мой, друг мой! – сказал он, растроганный, – ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал все, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила... Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место, – прибавил он, оглядываясь вокруг себя, – какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в обхват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то всё вокруг повесело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью... Неужели ж нет – а? как ты думаешь?

– Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется...

– Ну да, разумеется, по-своему... Дивный, дивный творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький, – прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. – Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз, вечером, Катя-покой-

ница подозвала тебя и стала тебя ласкать... Ты всё бегал в саду перед этим и весь раздумялся; волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках... Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?

– Чуть-чуть, дядюшка.

– Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил да на вас смотрел... Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, – прибавил он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и подаваемые слезы. – Я об этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить...

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.

В эту минуту к нам подошел Видоплясов.

– Видоплясов! – вскричал дядя встрепенувшись, – ты от Фомы Фомича?

– Нет-с, я более по своей надобности-с.

– А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить... Я ему, Сережа, велел там наблюдать, Коровкина-то. – В чем дело, Видоплясов?

– Осмелюсь доложить, – сказал Видоплясов, – что вчера вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

– Неужели ты опять про фамилию? – вскричал дядя в испуге.

– Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с...

– Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? – сказал с сокрушением дядя. – Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь кончишь!

– Кажется, я умом моим-с... – начал было Видоплясов.

– Ну то-то, то-то, – перебил дядя, – я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

– Проходу нет-с.

– От кого?

– От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через нее я мою жизнь страдавать пошел-с. Известно-с, что все отличительные люди-с, кто сызмалетства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, которых надо прежде

всего розгами высечь-с, и те кричат-с... Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с... Мочи нет-с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!

– Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать.

– Неприлично будет сказать-с.

– Да что именно?

– Омерзительно выговорить-с.

– Да уж говори!

– Гришка-голанец съел померанец-с.

– Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты плюнь да мимо и пройди.

– Плевал-с: еще больше кричат-с.

– Да послушайте, дядюшка, – сказал я, – ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его, хоть на время, в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил.

– Ну, брат, тот тоже кончил трагически!

– А что?

– Они-с, – отвечал Видоплясов, – имели несчастье присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно погибли-с.

– Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я все это разберу и улажу, – сказал дядя, – обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?

– Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и шел доложить-с.

– Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? – вскричал дядя.

– По добродушию сердца-с: жалостно было смотреть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом-с...

– Благим матом!..

– Почтительнее будет выразиться: многообразные вопли испускали-с. Кричали: как они представляются теперь прекрасному полу-с? а потом прибавили: «Я не достоин рода человеческого!» – и все так жалостно говорили-с, в отборных словах-с.

– Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей... Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе я велел стеречь? Ах, боже мой, боже мой!

– Более через сердечную жалость-с. Просили не говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запрег-с. А за врученную, три дни назад, сумму-с велели почтительнейше благодарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых почт-с.

– Какую сумму, дядюшка?

– Они называли двадцать пять рублей серебром-с, – сказал Видоплясов.

– Это я, брат, ему тогда дал займы, на станции: у него не достало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой... Ах, боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

– Нет, дядюшка, лучше не посылайте.

– Я сам тоже думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес стыда... Но пойдем, однако ж, к Фоме! Мы замешкались; может оскорбиться неблагодарностью, невниманием... Идем же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений; но, в сущности, все эти объяснения теперь совершенно лишние. Таково, по крайней мере, мое мнение. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали всё тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков – со стороны дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым главным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он ничто, не более как щепка, ко-

тору надо выбросить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генеральшей, по обыкновению, сделались судороги... Свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему «осчастливленных» не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им господь; что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме все, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобретении самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однако ж, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась; причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних, деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился по-прежнему, — не было таких сцен, как «ваше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хо-

тела унижения мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю, *почти*, потому что Настенька тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать всё в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она всё простила Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Бедная Настенька сама была из униженных, сама страдала и помнила это. Через месяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожиданные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, утрашавший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слышал и не видал во всё это время. Нужно же, чтоб до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживая целые часы добровольной муки – и единственно для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!» Наконец Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчевеу. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощенья, в этот раз принял за дело с необыкновенным жаром: он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать

на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его, без всяких споров, Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю, с вознаграждениями проторей [издержек, расходов] и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем Фома, на другой же день, соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со слезами просил прощенья у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову: «Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства; припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им бог не дал; они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надыхаются друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя непрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай бог им долго жить! Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным все, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать всё нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С ними

живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она наотрез ему отказала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь; но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их капризам, ходить за ними и служить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она считает свою обязанностью не разлучаться с братом и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время всё чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и мнительлен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он представляет из себя шута для нее. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и язычка была у него в крови. Он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унижительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера. Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то только, когда Настенька ясно доказала ему, что все сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной. Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала и не обижалась, умилоствовали, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали: для виду

были произведены у ней, в разное время, два довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны была скоропостижная. Все семейство собиралось на бал к одному из соседних помещиков, и только что успела она нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаровательный венок из белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридцати тысяч, все остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток-девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши, осталась у дяди в надежде подлизаться к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица: у ней всего-то было триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она тербит за волосы его детей и отсчитывает им колотушки; ему же (по крайней мере так говорят) царапает лицо и поминутно корит его подполковничьим своим происхождением. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизинчикове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было: крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству, прежде

невозможные; доходы чуть ли не удвоились, – словом, новый управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков, ровно чрез пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его сманили соседи-помещики, или даже в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг, два месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто душ он тотчас заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал денег? другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково, – милую девушку, но уже не первой молодости, кроткую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она всё время скиталась где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благодетельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, говорят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее.

Вот, кажется, и все лица... Да! забыл: Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а Видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер... На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.

*Впервые опубликовано: «Отечественные записки»,
ноябрь – декабрь 1859 г.*

ФУРЦЕВА ЗИНАИДА ГЕОРГИЕВНА

(1920-2010)

Зинаида Георгиевна Фурцева (девичья фамилия Чекалова) родилась 24 октября 1920 г. в селе Ново-Покровка. Это было сложное военное время, отец воевал, дочка родилась и подрастала без него. Когда ей было года четыре, семья перебралась в Семипалатинск. Часто приходилось менять квартиры, поэтому Зина училась в разных школах города. Мама была домохозяйкой, отец трудился плотником, а потом пимокатом в артели «Пролетарий». Окончив школу, в 1939 г. по направлению с работы отца, она поехала учиться в Ленинград, но затосковала по родным и вернулась домой. Училась в учительском институте, получала повышенную стипендию, а после окончания первого курса, перевелась в пединститут.

Когда началась война, она поступила на годовичные заочные курсы медсестер, но даже не успела получить документ об окончании... Что поделатъ, фронту срочно требовались медики. Да и лозунг «Коммунисты, вперед!» Зинаида воспринимала серьезно. Конечно, на курсах ее основательно подковали в теории, но впервые оказавшись среди стонов и криков, окровавленных бинтов и проникающего в каждую клеточку въедливого запаха карболки, каждый день видя чью-то смерть и зияющие раны, названные каким-то поэтом «страшными розами войны», впрямую было любому растеряться. Или, чего еще хуже, очерстветь душой. И того, и другого молоденькой сестричке, к счастью, удалось избежать. Во многом благодаря ее непосредственному начальнику по фамилии Михачев. Василий Иванович оказался превосходным учителем. И вскоре Зина так наловчилась делать уколы, что раненые бойцы, и без того измотанные болью, по их же собственным словам этих самых уколов совсем «не слышали». У сестрицы оказалась легкая рука.

Служила она сначала в сорок девятой армии, затем попала в первую гвардейскую танковую армию, которой командовал



тогда легендарный Катукон, будущий маршал. Много было пережито, выстрадано, но не зря же медсестер в старину называли сестрами милосердия. Фронт неудержимо катился вперед. А каждое наступление – это новые раненые и контуженные. Ее санбат порой размещался в самых необычных, порой совершенно не приспособленных помещениях. В подвале разбитой церкви старинного русского города Серпухова на сотню «тяжелых» приходилось всего четыре санитаря. Зинаиде всегда доставались самые «тяжелые». Поспать и то порой было некогда.

Как-то в ее палату положили младшего лейтенанта. Поэтому, наверное, тот случай и запал в память. Дело в том, что Зинаиде полагалось ухаживать за рядовыми, а тут офицер. Вася Светлов, как его звали, двадцатичетырехлетний красавец, вскоре пришел в сознание. Сестричка по опыту знала, что за этим последует, поэтому и присела рядышком. Обнаружив, что он безнадежно изувечен, парень впал в отчаяние. Здоровой рукой он крепко-крепко сжал ее ладонь и простонал: «Зачем мне теперь жить?» Зинаида была на три года младше, но в тот момент в ней вдруг проснулось чувство, схожее с материнским. Нет, она не пыталась освободить свою ладонь, да это было и бесполезно. Как могла, она пыталась успокоить младшего лейтенанта: «Без руки, конечно, тяжело. Но у тебя голова и ноги целые. А у меня здесь сто раненных солдат. Многим еще хуже, чем тебе». Она говорила разные хорошие слова тихим ровным голосом. И это, наконец, помогло. Вася Светлов мало-помалу успокоился, железная хватка его ослабла. «Ладно, сестра, идите. Не беспокойтесь», – сказал он.

Победу она встретила дома, вернувшись в родные стены с медалью «За боевые заслуги». Позже к ней прибавился орден Великой Отечественной войны. А впереди была целая жизнь, полная самых радужных надежд. Надо было заканчивать институт. И не знала она тогда, что впоследствии свяжет свою судьбу с именем знаменитого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

История музея Достоевского в нашем городе начиналась с того, что осенью 1965 г., после многих перипетий, часть дома почтальона Лепухина, где снимал квартиру писатель, была освобождена от жильцов. Там разместилась новая городская библиотека номер пятнадцать, и вскоре ей присвоили имя Достоевского. А заведующей здесь стала З.Г. Фурцева, которую писатель Николай Анов когда-то познакомил с домиком писателя. Скромной библиотеке суждено было через пять с половиной лет стать известным далеко за пределами Казахстана литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского. Много достойных людей приложили к этому руку. И среди них – Зинаида Георгиевна.

Она часто рассказывала о том, что в библиотеке поначалу не было ни одной книги гения мировой литературы. Первой стал роман «Подросток», полученный из библиотеки геологоразведочного техникума в обмен на какую-то другую книжку.

На войне Зинаида Георгиевна лечила раны телесные, а Достоевский, как известно, – врачеватель души человеческой, недугов целого общества. Фурцева это прекрасно понимала, испытывала на себе те самые недуги. Равнодушие, раздражение и плохо скрываемое противодействие приходилось преодолевать, что называется, с боем. Фронтная закалка помогала. Но времена понемногу менялись, и многие чиновники, заражаясь оптимизмом и настойчивостью Зинаиды Георгиевны, пополняли ряды ее союзников. Да и фонды библиотеки постоянно пополнялись, в том числе и редкими изданиями. На имя Фурцевой пришли письма от известного казахского ученого, академика Алькея Маргулана, писателей: Константина Феина, Абдиджамила Нурпеисова, Николая Анова, Павла Косенко, Даниила Гранина, Галины Серебряковой, Леонида Леонова, литературоведов: Михаила Никитина, Валерия Кирпотина, Николая Арденса. К письмам нередко прилагались книги, рукописи, ценные документы и снимки. Свои фотографии с дарственной надписью

отправили в дар будущему музею народные артисты СССР Софья Гиацинтова и Марк Прудкин, сыгравшие героев Достоевского на театральной сцене и киноэкране. Прислали письма профессора Сорбонны и Калифорнийского университета. А на юбилейные торжества, посвященные 250-летию Семипалатинска, к нам приезжал внук Достоевского – Андрей Федорович. Все это – результат кипучей деятельности, проделанной Зинаидой Георгиевной и ее единомышленниками. Во время своего трудового отпуска Фурцева побывала в крупнейших музеях Москвы и Ленинграда, общалась и подружилась со многими будущими корреспондентами дома Достоевского. В том, что здесь будет музей, уже никто и не сомневался. Музей был открыт Постановлением Совета Министров Каз.ССР № 261 от 7 мая 1971 г. А до этого дня посетители библиотеки, словно бы приближая это славное событие, постоянно говорили маленькому коллективу культурного очага: «Не забывайте, в каком доме вы находитесь».

Забыть об этом не получалось ни на секунду... Днем библиотечные дела и заботы по ремонту домика, наконец-то полностью освобожденного от жильцов, а вечером ответы на письма заинтересованных творческих людей, которые так или иначе оставили свой след в истории создания музея писателя в городе на Иртыше. Так получилось, что директором музея Зинаида Георгиевна не была, она заведовала библиотекой, формировала библиотечный фонд, а к тому моменту, когда библиотека переросла в музей, ушла по состоянию здоровья. Находясь на пенсии, она написала свои воспоминания «Как это было» и передала их в фонды музея. Много раз рассказывала нам о встречах с однополчанами, о том, как общалась с писателями, дарившими ей свои книги с автографами. Интересно, что книги почти всегда дарились в двух экземплярах: один для библиотеки, а второй лично для Фурцевой. «Красавицей я не была, но со мной никогда не было скучно», – говорила Зинаида Георгиевна. Действительно, рассказы ее были настолько интересными, что иногда, в ходе экскурсии мы так и говорили о ней посетителям музея: «живая легенда». Мы очень надеялись осенью 2010 г. поздравить ее с 90-летием, но до своей юбилейной даты она не дожила неполных пять месяцев.

*Татьяна ТИТАЕВА,
главный хранитель фонда литературно-
мемориального музея Ф.М. Достоевского г. Семей*

З.Г. ФУРЦЕВА

КАК ЭТО БЫЛО

«Интересно было бы проследить, как идея музея выращивалась и поддерживалась самыми разными людьми и организациями, как совершенно особо относились к ней все».

Д. ГРАНИН.

«Литературная газета» от 16 ноября 1977 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«...Ведь это благодаря Вам домик Достоевского, в котором мы были более четверти века назад, приобрел заслуженную славу. Я знаю тот огромный труд, вложенный Вами, чтобы привлечь к нему внимание, переписку со многими людьми. И вот, сейчас я пришел к мысли, что именно Вы должны и можете написать книжку воспоминаний, как полузабытый дом, в котором обитал Достоевский, превратился в музей, и каким он скоро будет».

Н. АНОВ.

Из письма от 4 марта 1976 года

Передо мной две заметки из газет о литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в городе Семипалатинске.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ:

Совет Министров Казахской ССР в связи со 150-летием со дня рождения Ф.М. Достоевского принял предложение Семипалатинского обкома КП Казахстана и облисполкома об открытии областного литературно-мемориального музея Достоевского в городе Семипалатинске и о присвоении

им. Ф.М. Достоевского общеобразовательной средней школе № 31 города Семипалатинска. Расходы на содержание областного литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского отнесены за счет бюджета Семипалатинской области.

«Казахстанская правда» 16 мая 1971 г.

Во второй заметке, помещенной в семипалатинской областной газете «Иртыш» от 14 мая 1975 г., сообщается, что семипалатинскому областному драматическому театру присвоено имя великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Ради этого стоило проделать ту работу, которую проделали сотрудники семипалатинской городской библиотеки № 15, открытой в доме, где последние два с лишним года семипалатинской ссылки прожил опальный писатель, стоило потратить силы на преодоление трудностей.

Работа по организации музея в доме Ф.М. Достоевского была по-настоящему трудной, особенно в самом начале, когда еще мы не заручились горячей и действенной поддержкой общности.

В нашем начинании на первых порах нас не поддерживали те, кому надлежало поддержать, наша работа вызывала большое сомнение и недоверие, даже отчасти недовольство и противоборство, а иногда и просто открытую недоброжелательность и насмешку.

Правда, с каждым днем нашей работы, когда появлялось все больше и больше наших приверженцев, почитателей таланта великого русского писателя Ф.М. Достоевского, и благодаря их действенной поддержке, сомнение многих улетучивалось, недоверие таяло, а мешать нам становилось бесполезным и неумным делом. Следует заметить, что некоторые люди, так или иначе, портили нам настроение методично, и, как ни парадоксально, некоторые из них впоследствии тоже, так или иначе (повторяю это выражение намеренно) связали свою судьбу с музеем Ф.М. Достоевского. Так, например, обращаясь за поддержкой или помощью к наиболее близкому начальству, можно было услышать что-то в таком роде:

– И нужен тебе этот музей. Сидела бы да сидела, работы мало, начальство не трогает, в командировки не ездишь, а так наживаешь себе только неприятности.

А работы у нас было много, а командировки нам, ох, как были нужны.

И когда нас стали потихоньку, полегоньку, со скрипом признавать, работать не стало легче – появились трудности другого порядка, но уверенность в необходимости довести дело до логического конца крепла.

Но все-таки работать – это проще, чем написать о работе.

С большим страхом берусь я за перо, уступая настоящим советам многих наших добрых друзей и доброжелателей, надеясь и полагаясь, как и прежде, на их поддержку и помощь.

Я последовала совету Николая Ивановича Анова написать книгу о зарождении и первых шагах музея Ф.М. Достоевского. Однажды он сказал, что каждый человек может написать хотя бы одну книгу – о себе.

О себе я собираюсь писать меньше всего, а только о доме Ф.М. Достоевского в Семипалатинске, об организации в нем музея великого русского писателя. А если и прорвутся какие-то сведения обо мне, то их надо принимать как второстепенные, да простится мне это! Ведь все-таки какой-то кусок жизни моей вложен в это дело.

Напишу ли я книгу – не знаю, а если напишу – судить о ней, о проделанной нами работе будут те, кто был свидетелем наших усилий, наших трудов, ошибок и достижений, печали и радости, те, кто все это принимал близко к сердцу. Они простят нам многие огрехи и не будут судить строго.

Хочу только добавить, что этому делу отдана часть нашей жизни, вложены лучшие порывы нашей души, отданные делу с радостью, самоотверженно.

Ставлю себе целью рассказать в этой книге как, когда и с чего начали мы дело организации музея, не придерживаясь впрочем, точной хронологии и строгой последовательности.

Ставлю себе целью также назвать по возможности всех тех добрых людей, кто был с нами, а их было много. Боюсь, что мне всех даже назвать не удастся, потому что нашими добрыми друзьями становились все, кто приходил в дом Достоевского и почти все, кому мы писали. Но я постараюсь назвать многих, пусть это будет им огромной благодарностью от нас. А если мне удастся показать их теплое отношение к нашему делу – это будет служить и доказательством того, что мы делали дело стоящее и шли по правильному пути.

Очень хочется, чтобы мне удалось рассказать о том, как возник музей на гладком месте, ведь был только дом, даже четвертушка дома – половина второго этажа, и этот дом Достоевского нужно было освобождать от жильцов, приводить в порядок. Пусть люди судят, так ли мы делали или надо было иначе делать. Буду рада несказанно, если кому-нибудь пригодится и наш небольшой опыт, с исключением ошибок.

Моя книга не будет научным трудом, никакой потуги на это и никаких претензий, хотя мы очень много прочли литературы о Ф.М. Достоевском. О нем написано много книг, статей, исследований фундаментальных и не совсем фундаментальных, художественных произведений.

Много написано о его жизни этого периода: трагических годах заточения в Омском остроге, тяжелых годах семипалатинской ссылки, о его мучительной первой любви к Марии Дмитриевне Исаевой, о его светлой дружбе с Чоканом Валихановым. О нем будут писать и писать еще много, потому что Ф.М. Достоевский – писатель гениальный и сложный, не все в его творчестве еще раскрыто.

В одной из повестей И. Щеголихина меня поразила фраза, сказанная, может быть, мимоходом: «И легион толкований не исчерпают одной жизни, скажем, Достоевского». Наверное, это слишком, впрочем, почему слишком? Почти на пятидесяти языках мира читают его произведения, его произведения вызывают яростные споры. Достоевский – писатель тревожащий, волнующий, захватывающий, потрясающий души.

Льстим себя надеждой, что и наш музей вложит свою лепту в наиболее полное раскрытие жизни и творчества Ф.М. Достоевского.

Моя же цель – показать к нему любовь людей и рассказать, как люди хлопотали о том, чтобы Ф.М. Достоевский навсегда остался жить в Семипалатинске в памяти народной. Хлопоты эти начались почти с самого отъезда писателя.

Считаю себя счастливой потому, что мне довелось прикоснуться к великому делу и способствовать славе своего родного города.

ДОМ ПО УЛИЦЕ ДОСТОЕВСКОГО, 118

«...Не раз посещала я замечательную славную реликвию города – дом, где жил автор «Преступления и наказания». Идут годы, а гений Достоевского – гордость России – остается неисчерпаемым кладом познания и для читателя и для писателя».

Г. Серебрякова

(надпись на обороте своей фотокарточки, присланной музею)

К домику Ф.М. Достоевского привлек мое внимание известный казахстанский писатель Николай Иванович Анов, будучи проездом в нашем городе, городе и его юности, когда он в 20-х годах был сотрудником местной газеты «Степная правда». Николай Иванович давно ратовал за освобождение дома.

Летним днем 1948 г. Николай Иванович подвел меня к маленькому двухэтажному домику по улице Достоевского №118. Домик был оштукатурен глиной снаружи и когда-то побелен известью, но известь была сведена почти на нет дождями, ветрами, непогодами, да и глина во многих местах осыпалась почти до бревен, обнажив ребра дранки. Тесовая крыша дома была совсем обветшалой. Ужасно неухоженный вид был у этого строения.

Николай Иванович сказал с горечью:

– Вот дом, где жил великий писатель, а доступа в него нет. Заходил я однажды, раздвинув белье, которое сушилось возле входа. Жильцы дома ничего не знают о писателе, встретили не приветливо. Видимо, я не один сюда заходил, и это им надоело. – «Много людей к нам приходило, расспрашивали о Достоевском, где и как он жил, а что мы можем сказать? Мы ничего не знаем, слышали только, что в нашем доме когда-то жил писатель Достоевский», – так сказали жильцы дома. Хочется, чтобы все было иначе, но до этого в городе нет никому дела. И некому взяться за это, чтобы все было иначе...

Наверное, не так говорил Николай Иванович, но смысл был таким.

Он в этот день рассказал мне много такого о Ф.М. Достоевском, чего я не знала, и о его большой и нежной дружбе с казахским ученым, путешественником, писателем, офицером – Чоканом Чингизовичем Валихановым.

Много в его рассказе было для меня подлинным откровением.

Я внимательно осматривала домик со всех, доступных взгляду сторон, и он показался мне по-человечески обиженным, смотреть было на него грустно и больно.

К дому была прикреплена мемориальная доска, на сероватом камне ее было выбито имя писателя и годы проживания в этом доме. Как впоследствии выяснилось, годы проживания были указаны неверно.

Я и раньше проходила мимо этого дома, читала написанное на мемориальной доске старой орфографией, задумывалась о судьбе писателя, но мысль, что этот дом может быть освобожден, не приходила мне в голову.

Сейчас я взглянула на все по-новому, хотя и не предполагала, что когда-нибудь моя судьба будет связана с этим домиком. Просто у меня возникло желание увидеть домик освобожденным, посмотреть на стены внутри, побывать в том небольшом ограниченном пространстве, где некогда томила мятущаяся душа писателя.

Осенью 1965 г. намечалось открытие двух городских библиотек, одной из них в доме, где жил в XIX веке в ссылке великий русский писатель Ф.М. Достоевский. Я – филолог по образованию и библиотекарь по профессии, знала о жизни писателя, давно была покорена его произведениями, может быть, поэтому я попросила в Областном управлении культуры считать меня претендующей на место библиотечного работника в библиотеке, которая откроется в доме, где когда-то жил опальный писатель.

В начале октября 1965 г. была освобождена часть дома Ф.М. Достоевского, которую меня послали срочно занять. До этого по разным причинам я несколько лет не была у дома писателя.

Подойдя к дому, я поразились его виду: неизменным оставался первый этаж, не считая штукатурки, при жизни в нем писателя дом не был оштукатурен, второй этаж был сложен из новых тонких неровных бревен, потерял одно окно, стал ниже. Причем, как позднее мы выяснили, был изменен весь вид дома и так неброский, не претендующий на оригинальность. Изменен переплет рам, наличники, исчезли ставни, крыша какая-то приплюснутая, покрыта шифером, мемориальной доски не было.

Оказывается, в 1964 г. чья-то умная голова распорядилась снести этот дом с лица земли и поставить на этом месте кирпич-

ное строение. Был раскатан второй этаж дома, мемориальную доску, которую до революции повесили почитатели таланта Ф.М. Достоевского, запросто сорвали и сбросили на землю, расколов ее. Жильцы говорили еще о каких-то записях на штукатурке под слоем побелки. Конечно же, весь этот мусор был выкинут.

Потом это святотатство было остановлено. Дом собрали кое-как, внутри обили сухой штукатуркой и вновь вселили жильцов. Жильцы второго этажа жаловались, что комнаты стали ниже и весь дом холоднее. Таким дом предстал передо мной.

Я заняла освободившуюся часть дома. Это оказалась четвертушка, т.е. половина второго этажа, часть гостиной и спальни, как мы установили позднее, потом, вначале мы не знали, в какой из комнат жил писатель.

Вот в этих двух комнатухах общей площадью приблизительно 11-12 квадратных метров мы должны были оборудовать, скомплектовать и открыть Семипалатинскую городскую библиотеку № 15.

В одной из комнатух стояла угловая, на две комнаты, неисправная, чадающая и малогреющая плита. Ход к нам был через общую с жильцами второй половины крохотную прихожую-кухню, уставленную всякой подходящей и неподходящей утварью, увешанную луком в капроновых чулках. Мы не имели права потеснить оттуда жильцов.

Посылая меня занимать помещение, в Областном управлении культуры мне сказали: «Не забываете, в каком доме вы будете открывать библиотеку».

Я особенно не задумалась над этими словами, потому что знала, в каком доме я буду открывать библиотеку, я просто радовалась, что дом писателя освобождается под культурный очаг.

Не знаю, какой смысл придавали словам в Областном управлении культуры:

– Не забываете, в каком доме вы будете открывать библиотеку.

Видимо, чтобы библиотека была, что называется, на высоте.

– Не забываете, в каком доме вы работаете, – так или иначе, варьируя, повторяли мне в первый год моей работы в доме Ф.М. Достоевского посетители и читатели городской библиотеки № 15, семипалатинцы и приезжие, да и после, на протяжении всей моей работы, я частенько слышала такие слова.

Через несколько дней после того, как я заняла помещение, был получен штат, и мы приступили к работе. Было нас три человека: я – заведующая городской библиотекой № 15, библиотекарка и техничка.

Семипалатинская городская библиотека № 15 была оборудована, скомплектована и открыта через два месяца с небольшим от начала нашей работы, т.е. в конце декабря 1965 г. мы приняли первых читателей.

Читателей вначале было мало, да и впоследствии мы не дотянули до нормы городской библиотеки, потому что в нашем маленьком микрорайоне, где было в то время только два пятиэтажных дома, а остальное – маленькие особнячки, в основном доживающие свои последние дни, но было и прибавилось сейчас много разного рода учреждений, учебных заведений, магазинов, насчитали мы, по меньшей мере, 15 библиотек самых различных: учебных заведений, профсоюзных, поблизости было две городских библиотеки, да и до областной – рукой подать. Нам приходилось записывать читателей с окраин города и даже с противоположного берега Иртыша.

Люди к нам шли, кто стал нашим читателем, кто пришел посмотреть дом Ф.М. Достоевского и расспросить, где жил писатель и как он здесь жил. И те, и другие, свои и приезжие, расспрашивали и страшно удивлялись до возмущения, когда мы им говорили о наших, в общем-то, совсем иных функциях. И снова, и снова нам говорилось:

– Не забывайте, в каком доме вы работаете, добивайтесь!

Не знаю, кем и когда было произнесено слово «музей», которое привело меня в ужас неопиcуемый.

Музей! На голом гладком месте – и музей. Ведь только дом, занятый на три четверти, покореженный. Но его дом, здесь вот Федор Михайлович ходил, дышал воздухом этой улицы, этих комнат. Я поняла, что люди правы, и совершенно растерялась. Что делать, как к такому делу подступиться – представить было невозможно.

В Семипалатинской городской библиотеке № 15, расположенной в доме, где в XIX веке проживал опальный писатель Федор Михайлович Достоевский, не было даже его произведений.

О музейном деле мы не имели никакого понятия.

Добро бы было какое-то указание свыше, куда-то бы нас послали за опытом, дали бы какую-нибудь основу, порекомендо-

вали бы к кому обратиться. Было же все наоборот. Прямое и непосредственное начальство выразило твердое, категорическое и безапелляционное мнение: никаких музеев, только библиотека, пусть будет библиотека имени Ф.М. Достоевского.

Это отчасти было и понятно, потому что областной краеведческий музей находился в полном развале, он не давал цифры, возни с ним было много.

Но мы узнали, что в Областном краеведческом музее хранятся два документа, касающиеся Ф.М. Достоевского: характеристика на брак, подлинник, и копия того времени брачного свидетельства. Мы это взяли на заметку, – это было уже кое-что, хотя и не у нас в руках. Мы знали, что если будет музей, то эти документы перейдут к нам.

И все-таки, когда говорят каждодневно, настойчиво, требовательно об одном и том же: музей, только музей, Семипалатинску нужен музей писателя, постепенно мы тоже стали проникаться той же мыслью.

В самом деле, здесь писатель прожил пять лет, здесь так много пережито, годы трудные и значительные: солдатчина, вначале чуть лучше омской каторги, любовь, дружба, встреча, возврат к творчеству. Здесь Достоевским были написаны два чисто семипалатинских произведения: «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» – «вещицы голубиноного незлобия» (Ф.М. Достоевский), глубокий смысл которых еще не раскрыт до конца исследователями творчества Ф.М. Достоевского. Здесь приводились в порядок «Записки из Мертвого Дома». Здесь зарождались планы последующих огромных полотен: «Идиот», «Преступление и наказание» и другие. Здесь было еще много того, что нужно открыть, исследовать, найти и доказать.

Итак, Семипалатинску нужен музей великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Но с чего же начинать?

Благословения начальства ожидать было бесполезно. Их слово было сказано, значит, начинать нужно было подпольно, тайно, на общественных началах, не забывая об основной функции. И мы начали работать, не считаясь со временем, продолжая работу дома.

Не зная сами, как подступиться к делу мы требовали советов от тех, кто от нас требовал музея. В советах не было недостатка, нам посоветовали поднять общественность не только нашего го-

рода, но и всей нашей страны, т.е. начать переписку с писателями, учеными, художниками, артистами.

Радостно было то, что, как-то само собой, при доме Достоевского создавался большой и замечательный актив, на каждого из его членов можно было надежно опереться.

Началась и переписка. Первые несколько адресов нам дал Н.И. Анов, к некоторым лицам, поразмыслив, обращались сами, к людям известным и уважаемым, чувствуя, что они должны помочь, некоторые имена нам давали посетители. Далее переписка расширялась за счет людей, фамилии которых мы «выуживали» из тематических планов, из периодической печати, а появившиеся у нас адреса других почитателей таланта Ф.М. Достоевского позднее нам стали писать сами те, кто от кого-либо услышал о нашем начинании.

Переписка расширялась с каждым днем, писать приходилось в основном дома, т.к. это требовало много времени и сосредоточенности. Мы стали многое получать от наших корреспондентов, но об этом ниже.

Как я уже говорила, в библиотеке не было даже книг Ф.М. Достоевского, т.к. мы комплектовались через бибколлектор новой литературой, а произведения Достоевского не издавались уже несколько лет.

Первую книгу Ф.М. Достоевского «Подросток» мы выпросили в обмен в библиотеке геологоразведочного техникума. У нас было произведение Ф.М. Достоевского! В это время, т.е. в начале 1966 г., мы добились освобождения второго этажа, сломали перегородку, делящую этаж на две квартиры, замазали следы побелки, пред нами предстал зал-гостиная, предстала вся квартира, в которой он прожил более двух лет. Кое-что тут было не так, переделано, но планировка в основном сохранилась.

Отопление было печное, печи полуразрушенные, первые два года был ужасный холод зимой.

Теперь в гостиной у нас разместился основной книжный фонд, часть фонда – в кабинете, там же обработка и прием посетителей. Не положено! В спальне – маленькая читаленка.

Тем временем у нас пополнялся фонд произведениями Ф.М. Достоевского, несколько его книг и книг о нем так же в обмен через бибколлектор получили мы от библиотеки медицинского учреждения, несколько книг выделила нам по нашей просьбе областная библиотека им. Н.В. Гоголя.

Один том дореволюционного издания произведений Ф.М. Достоевского принес преподаватель Семипалатинского педагогического института имени Н.К. Крупской – Л.М. Перелыгин. Он же принес несколько авторефератов и докладов о произведениях Ф.М. Достоевского профессора А.И. Спасибенко и дал адрес профессора, с которым у нас потом завязалась переписка и дружба.

Дореволюционные издания собрания сочинений преподнесла библиотеке Е.Н. Коншина.

Это было начало.

Далее мы многое получили через отдел букинистической книги местного книжного магазина.

Большую роль в комплектовании научного фонда библиотеки сыграла сотрудник Книготорга заведующая букинистическим отделом Коломейцева Татьяна Степановна. Она выискивала старые личные библиотеки по городу, приглашала меня, и я выбирала то, что считала нужным.

Так, мы приобрели библиотеку В. Дубровского, бывшего члена географического общества, знавшего Б. Герасимова и Н. Коншина. Его библиотека была очень ценна и обширна. Там мы взяли энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, много подшивок журнала «Бюллетень истории литературы», «Исторический вестник». Вдова профессора Музычко А.В. подарила нам за десять лет журналы «Вопросы литературы» и «История литературы», они очень обогатили наш фонд. Была приобретена солидная партия книг у дочери бывшего члена городской думы Трейерова Ф.Н. – Трейеровой Н.Ф., прекрасные издания писателей XIX века, предшественников, современников Достоевского, два старинных альбома: один – с фотографиями писателей русских и зарубежных писателей XIX века. Мы подписались на вырезки из газет и журналов. К нам стало поступать все, что печаталось о Достоевском в периодической печати Советского Союза. Это был богатейший материал, т.к. в связи с приближением юбилея писателя, о Ф.М. Достоевском печаталось много.

Мы стали знакомиться с жизнью Ф.М. Достоевского у нас, в нашем городе, выискивая по крупницам из книг, журналов, газет. В расположении и обстановке квартиры нам помог ориентироваться журнал «Исторический вестник» № 2 за 1903 г.

У нас совершенно не было иллюстрированного материала. Первые пять фотографий мы пересняли из «Исторического вестника», еще несколько фотографий из книги Гроссмана «Достоевский», ЖЗЛ, две фотографии: церковь Одигитриевской Божьей матери, где Достоевский венчался с Исаевой и домик, где молодые прожили несколько недель – прислал Ново-Кузнецкий краеведческий музей.

Так у нас появилась папка с наглядностью.

В кабинете писателя мы повесили большой лист картона с наклеенными кармашками, в которые вкладывали письма – ответы наших корреспондентов.

К нашей большой радости, рядом с картоном на стене, нашел свое место портрет Ф.М. Достоевского в полный рост. Этот портрет-линогравюру «Достоевский в последние дни пребывания в Семипалатинске» (1966).

Посетителей мы принимали с радостью, рассказывали и показывали им, что могли, и старались извлечь из них максимальную пользу. Здесь годилось все: добрый совет, обещание помощи, адрес кого-нибудь полезного, нужного нам или просто сочувствие. И обычно мы расставались весьма довольные друг другом. Но это было в начале.

По настоянию посетителей мы завели книгу отзывов. За шесть лет их было заполнено несколько.

Книгу посещения мы завели сами. И странное дело: когда мы предлагали расписаться в книге посетителей, у нас почти всегда требовали и книгу отзывов.

А далее совсем странно. Наряду с тем, как мы всяческим образом «обогащались», к нам возрастала требовательность со стороны посетителей, от нас требовали настоящей музейной работы: оформления настоящей экспозиции, проведения экскурсий, бесед, чтобы мы афишировали себя как музей, заявили о себе во весь голос. В общем, требовали настоящего музея.

На наши робкие возражения, что мы не музей, и будем ли еще музеем или нет – неизвестно, мы всего только городская библиотека № 15 и должны выполнять свои функции, попросту отмахивались или говорили назидательно:

– Не забывайте, что это дом Достоевского, здесь должен быть музей, и вы все должны сделать, чтобы он был.

Ознакомившись вкратце с тем, что мы все-таки делаем в этом направлении, люди (не буду перечислять их фамилий, их отзы-

вами, замечаниями, требованиями заполнено несколько книг отзывов), удовлетворенно подытоживали примерно так: «Дело идет как надо. Музей в Семипалатинске будет, а те, кто были против или воздерживаются, постепенно сдадут свои позиции, они станут на вашу сторону. Все правильно! Так держать!»

И что особенно нас трогало и окрыляло:

– Кланяемся вам низко в благодарность за то большое и нужное дело, которое вы делаете.

Наше начальство относилось к нашим действиям настороженно и выжидательно.

ОТПУСК В МОСКВЕ

В ноябре 1966 г. мы с мужем в отпуск поехали в Москву. Из десяти дней, проведенных в столице, добрую половину я потратила на то, чтобы познакомиться с музеем Ф.М. Достоевского, расспросить, как делается музей, добыть что-нибудь для семипалатинского дома Достоевского.

Директор музея Ф.М. Достоевского Г.В. Коган приняла меня радушно, расспрашивала о наших делах, вспоминала Семипалатинск, где она была в 135-летний юбилей со дня рождения писателя вместе с известным ученым – литературоведом профессором В.Я. Кирпотиным в 1956 г., рассказывала, что они там делали, расспрашивала об общих знакомых.

Музей собирались демонтировать в связи с ремонтом. Галина Владимировна поделилась со мной некоторыми материалами, дублетными или вышедшими у них в тираж, были это фотокопии картин, фотографий и документов, дала копию тематико-экспозиционного плана, который она писала в 1956 г. для Семипалатинского областного краеведческого музея. Все эти приобретения были более, чем ценны, как и те полезные советы, на которые Галина Владимировна не скупилась.

Мне показали все ценное, подлинное. Я была потрясена тем богатством, каким обладает музей. Что ж, его основу заложила Анна Григорьевна, а потом можно было собирать.

Я несколько раз обошла музей-квартиру писателя, замирая перед подлинными вещами семьи Достоевских, мучительно заведуя...

Собираясь уходить, я мечтательно сказала – полуспросила:

– Иллюстративный материал у нас уже кое-какой есть, учитывая ваши дары, ах, если бы вы дали нам что-нибудь объемное.

– Что же я могу вам дать? У нас ведь все записано. Впрочем, недавно вот этот бюст подарил нам академик В.Н. Терновский. Я бы вам его отдала, но боюсь Василий Николаевич обидится, а он наш добрый старинный друг и очень хороший человек.

И она показала мне гипсовый бюст Ф.М. Достоевского в натуральную величину, стоявший на верху шкафа.

Я просто взвилась:

– Милая, хорошая, дорогая Галиночка Владимировна, ну попросите у него разрешения передать его Семипалатинскому дому Достоевского, расскажите ему о нас, убедите его, умоляю Вас, становлюсь перед Вами на колени!

– Я попробую, попробую, я постараюсь сделать все, что в моих силах, не волнуйтесь так, – сама разволновавшись, успокаивала меня Галина Владимировна.

Она тотчас разыскала номер телефона академика В.Н. Терновского и позвонила. К нашему с ней обоюдному огорчению, академика не оказалось дома, и его скоро не ожидали. Это меня расстроило вконец, Галина Владимировна успокаивала меня, как могла, клятвенно уверяя, что обязательно до него дозвонится.

– Приезжайте в музей завтра после полудня, чтобы я смогла дать вам ответ уже точно, – сказала она, поразмыслив.

Эта ночь на московской квартире была для меня бессонной. До трех часов следующего дня я тоже, как говорится, была на взводе, ничем не могла отвлечься. После полудня с замиранием сердца я открыла двери музея. Галина Владимировна встретила меня с улыбкой:

– Ваша взяла, Василий Николаевич разрешил передать дому Ф.М. Достоевского бюст писателя и пожелал вам всего доброго. Берите, вот оно ваше сокровище!

«Мое сокровище» – гипсовый бюст писателя уже стоял на столе, был слегка запыленным, с поврежденным плечом. Изображал писателя он, видимо, в последние годы жизни.

Бережно завернули мы бюст, перевязали, еще раз завернули в большие листы плотной бумаги, еще раз перевязали. Сверток получился довольно-таки объемистый и увесистый.

С большой неохотой, с бесчисленными наставлениями «погрузила» я его на мужа и всю дорогу до квартиры так беспокоилась, так дергала его, что мой Владимир Кузьмич вконец разобиделся.

С Галиной Владимировной мы попрощались сердечно, обещая дружить до конца наших дней и делать общее дело на совесть.

Я хотела позвонить академику В.Н. Терновскому и поблагодарить его за бесценный дар, но оробела и решила поблагодарить его из дома письменно.

Больше нам ничем в данное время не могла помочь Галина Владимировна. Как организовать музей, да еще не имея на то никаких указаний и даже прав, она тоже не знала.

Но Галина Владимировна сделала много для Семипалатинского музея, о чем я постараюсь рассказать еще далее. Она познакомила нас с очень интересными людьми, и много ценных экспонатов мы получили, благодаря ей.

МУЗЕЙ ТАК МУЗЕЙ

«... От всей души желаю Вам успеха в Вашей такой нужной работе. Горячо ее приветствую. И не откажите в сообщениях мне, как она у Вас идет, и в чем есть нужда.

Душевно Ваш, Н. АРДЕНС.»
(из письма)

«Искренне желаю Вам больших успехов по сбору материалов, связанных с жизнью и деятельностью великого русского писателя Ф.М. Достоевского...»

А. КОПТЕЛОВ (из письма)

Перед возвращением домой, я еще раз тщательно «перепеленала» бюст, подамортизировала его выдающиеся части, но не успокоилась до тех пор, пока бюст не встал на столик в простенке, в бывшем кабинете писателя.

По приезде я сразу же написала благодарственное письмо академику В.Н. Терновскому. Вскоре от него был получен теплый ответ, к которому он дал справку – обстоятельную историю бюста. И после Василий Николаевич писал нам хорошие письма, интересовался течением наших дел, прислал свою книгу о Везалии с автографом и еще кое-какие материалы.



Наши приобретения были хорошо встречены общественностью и молчанием начальства. Я не помню даже, кому мы в то время подчинялись: нас передавали из Областного управления культуры в городской отдел культуры и обратно, последнее время до 1971 г. мы были филиалом краеведческого музея. Когда начал вырисовываться облик музея нас не знали, куда девать.

Самое ужасное для начальства было то, что мы не давали цифры. Библиотека не могла дать цифру по вышеуказанным причинам, хотя мы ради музея не ущемляли работы библиотеки, делали все положенное. Музей давал тоже небольшие цифры, потому что мы делали музей, а не делали цифры. О себе в этом отношении я могу сказать с покаянием, но не раскаянием, что я никогда не могла делать цифры и никогда не умела округлять их в угоду начальству. Вина ли это моя, беда ли это моя, — не знаю.

И с тех пор как бюст Ф.М. Достоевского занял свое место в кабинете писателя — все как-то неуловимо изменилось: в кабинете была я и ... Достоевский. И мне стало страшно. Страшно от мысли, а имею ли я право сидеть здесь, на этом месте? И на своем ли я месте?

С этих пор я уже окончательно отдалась делу организации музея. Не представляя каким он будет, каким его нам удастся

сделать, да и удастся ли, я считала, что мне нужно подготовить базу.

Начался лихорадочный сбор материала, литературы для научного фонда музея, старинных вещей, работа в областном архиве, началось изучение всего, что можно было найти близкого к Достоевскому: переписка, хлопоты об освобождении дома, ремонте. Хлопоты об узаконении музея.

Несмотря на свою нелюбовь к выступлениям, я всячески афишировала, форсировала, пропагандировала свою работу, проводила лекции, беседы, конференции в учреждениях, выступления в печати, по радио, телевидению. В доме часто проводились встречи с писателями, интересными людьми, заседания литературного объединения «Иртышские огоньки». Дом Достоевского все больше и больше становился значительным литературным центром.

А городская библиотека №15 несла свои функции: комплектование и обработка книг – работа трудоемкая, обслуживание и работа с читателями – тоже работа большая и серьезная. Параллельно с этим начал работать музей на общественных началах.

О личном нормированном трудовом времени нечего было и мечтать.

Работая с посетителями музея (будем так называть его, хотя бы условно), мы к удивлению и радости убедились, какой любовью пользуется творчество Ф.М. Достоевского у людей всех наций и возрастов, как близко трогает каждого тяжелая и сложная жизнь писателя, с каким интересом о нем слушают, впитывая все сведения о нем.

Мне хочется рассказать об одном посещении.

В знойный летний день 1967 г. пришли в дом Достоевского дети, двадцать человек казахов, учащихся 6-го класса казахской школы из города Усть-Каменогорска. Зашла эта группа к нам нерешительно. На лице учительницы было написано крайнее огорчение, лица детей были расстроены и утомлены.

Учительница сказала:

– Вот пришли к вам. Были в Доме пионеров – закрыт. Пошли в Краеведческий музей – закрыт. Люди посоветовали пойти к вам, говорят у вас интересно.

Я была растеряна.

– Чем же я могу помочь? Ведь ваши дети и имени Достоевского, наверное, не слышали, и читать его произведения им еще рано. Что они поймут?

– А вы попробуйте, расскажите, – настаивала учительница.

Раскрыла я свои папки, разложила имеющийся иллюстративный материал и начала рассказывать, стараясь применить к их возрасту. Рассказывала о детстве писателя, о его семье, о том, как он любил детей и как описывал их жизнь. О том, как он пострадал за светлые мечты о прекрасном будущем людей. О жизни писателя в Семипалатинске, дружбе его с Чоканом Валихановым. И эти дети, которые впервые услышали о великом русском писателе, слушали меня с таким вниманием, о котором может мечтать каждый учитель. Их лица просветлели, глаза светились живым и жадным интересом.

Учительница была растрогана и горячо поблагодарила: «Вы скрасили время нашего пребывания в Семипалатинске. Если бы не ваш музей – дети не простили бы мне этой поездки». И она написала в книге теплый отзыв по-казахски.

А дети, эти неудачные туристы, при прощании со мной говорили «спасибо» и каждый из них низко поклонился.

Некоторые приезжие посетители просили нас показать места, связанные с именем писателя. И это нам пришлось изучать и устанавливать. Мы по-новому взглянули на наш город, улицы и особенно здания, в которых бывал Достоевский. Не все сохранилось, к сожалению. Стоит бывший губернаторский дом, где часто бывал писатель; дом, где проходили офицерские собрания. Вот крепостные ворота, мимо них часто ходил писатель. Установили место, где были казармы. Знаменский собор, куда солдат водили на молитву, где Достоевский присягал новому царю Александру II.

Волнительно было стоять у места, где был плац. Закроешь глаза, и перед мысленным взором возникает строй солдат, в зной и холод бессмысленно шагающих по плацу. На обочине – стайка мальчишек и среди них – плотный смуглый мальчик-казак с живыми черными глазами. Может быть, он и отмечал среди строя солдат невысокую сутуловатую фигуру, может быть, останавливался его взгляд на бледном веснушчатом лице опального писателя. Может быть, и тот выделял из стайки мальчишек смуглого подростка. Может быть, и потом они встречались на улицах. Как знать? И кто это теперь докажет и кто опровергнет?

Ведь ко времени отъезда Ф.М. Достоевского из нашего города, Абаю исполнилось 14 лет.

Абай и Достоевский – это две вершины. Абай – великий казахский поэт-просветитель. Достоевский – великий русский писатель.

Абай читал произведения Ф.М. Достоевского. В Жидебае – постоянной зимовке Абая, в его доме-музее на письменном столе рядом с томом произведений А.С. Пушкина, книгами русских и зарубежных классиков, лежит книга Ф.М. Достоевского с пометками Абая.

И было отрадно сознавать, что в Семипалатинске, где некогда жили эти две величины, недалеко от музея Абая возникает музей Ф.М. Достоевского.

Директор музея Абая Н.И. Ишмухамбетов, всячески поддерживал наше начинание, сам он давно и пристально изучал жизнь и творчество Ф.М. Достоевского, писал статьи, искал связи его с Абаем, с представителями казахской общественности того времени, местным населением города и области.

Дорога ведет нас дальше, вернее, ближе к дому. Вот дом, где проживал А.Е. Врангель, куда А.Е. Врангель вызвал Ф.М. Достоевского по приезду в Семипалатинск. Воображение показывает, как, замирая до дурноты, подходит Ф.М. Достоевский к дому, ничего не ожидая хорошего от вызова высокого начальства.

Впоследствии Ф.М. Достоевский бывал в этом доме часто, с первого посещения дома начала меняться судьба писателя в лучшую сторону.

Нам хотелось узнать больше. У Ф.М. Достоевского были встречи с Чоканом Валихановым, П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, где, когда и как, не все известно, вернее, многое не известно.

Музей впоследствии должен помочь ученым во всем этом разобратся.

Я обивала пороги разных учреждений города, хлопоча об освобождении дома и реставрации.

Больше всего от меня доставалось председателю Исполкома горсовета товарищу И.М. Мамедбакову, помогала мне его донимать секретарь Исполкома горсовета Н.В. Пичуева, которую донимала я, в свою очередь. Она сообщала, когда лучше подойти, когда относительно есть свободное время у председателя. Я добивалась освобождения дома, он и сам торопился с этим, а когда я припугнула, что второй этаж рухнет под тяжестью книжного фонда, были приняты экстренные и конкретные меры.

Летом 1967 г. был освобожден первый этаж дома и сразу же начался капитальный ремонт. С реставрацией дело не вышло. Всякое говорилось: нужно изучить всё как следует, нет реставраторов, дело длительное. Дом не может быть белым пятном. В общем, это было нужно добиваться начальству, а не заведующей библиотекой.

Именем Достоевского нам удалось добиться центрального отопления.

– Ничего не выйдет, – говорили мне заведующие тех библиотек, к которым отопительная трасса подходила вплотную.

«Обнадеженная» таким образом, по-воинственному настроившись, пошла я на прием к начальнику «Алтайэнерго» и, как только заикнулась об отоплении, так он отказал категорически.

Я воскликнула с горячностью и болью.

– Но вы подумайте, в каком доме расположена городская библиотека №15. Ведь Достоевский... – не помню, что я говорила, помню, что заключила: – Люди паломничество совершают в этот дом... Впрочем, закончить я не успела.

В глазах начальника появился светлый блеск, и он сказал:

– Хорошо. Оставьте заявление, мы подумаем, обсудим, может быть, решим провести, если расстояние от ближайшей котельной не более ста метров.

Как я потом узнала, заявление было подписано, когда я закрывала дверь кабинета, и отопление позднее тянули гораздо более ста метров.

В начале 1968 г. дом был отремонтирован, отопление пущено. На первом этаже разместилась библиотека, второй этаж был освобожден. Мы стали обдумывать дальнейшие действия, дальнейшие хлопоты. Остро стал вопрос, как нам теперь принимать посетителей.

Наряду с хлопотами в своем городе, переписка велась огромная с друзьями нашего дома, нашего дела, с учреждениями разного рода.

Уже не за горами был юбилей писателя, и к нему мы тоже должны были прийти достойно.

В ЛЕНИНГРАДЕ

Нам необходимы были выезды, чтобы что-то искать, приобретать экспонаты и приобретать опыт для организации музея, но в Областном управлении культуры для нас не было еще средств на это, и мы ухитрились, лавировали, изворачивались, чтобы все-таки выезды организовать.

В мае 1968 г. мне, как бывшей фронтовичке, пришло приглашение на встречу ветеранов под Белгород. Узнав об этом, секретарь Исполкома горсовета Н.В. Пичуева посоветовала обратиться мне с этим вопросом к председателю Исполкома Горсовета И.К. Мамедбекову. Посоветовавшись с Ниной Васильевной (Пичуевой) мы решили попросить разрешение пригласить на приближающийся юбилей города внука писателя – А.Ф. Достоевского, проживающего в Ленинграде.

О внуке Ф.М. Достоевского Андрее Федоровиче Достоевском мы узнали от одного из первых наших корреспондентов, первого доброго друга нашего музея – писателя Маркова Сергея Николаевича.

Андрей Федорович, будучи инженером по лесному делу, имел несколько изобретений для разработки лесных массивов. По вопросам, связанным с лесоразработками долго жил на периферии, в тайге. Во время войны был старшим техником-лейтенантом, сражался на фронтах, в частности, был участником боев под Ленинградом, на самом трудном участке – Невской Дубровке.

Перед пенсией Андрей Федорович преподавал в учебных заведениях Ленинграда. И всю жизнь он берег и собирал материалы о своем великом деде. Особенно много Андрей Федорович занимался изучением топографии романов Ф.М. Достоевского.

Подготовка и открытие музея на последней квартире писателя в Кузнечном переулке Ленинграда – его большая заслуга, собранные им материалы легли в основу музея.

Нам, на наше письмо он ответил сразу. Писал нам больше обстоятельные письма, прислал экспонаты. Связь его с нами была прочной, действенной.

С замиранием сердца входила я в кабинет к И.К. Мамедбекову. Искандер Кадырович принял меня, как обычно, очень приветливо, выслушал внимательно, отнесся сочувственно ко

всему, что я ему изложила, и обещал нам полное содействие. Вскоре на Исполкоме горсовета наш вопрос был решен положительно.

В середине мая я приехала в Ленинград. Прямо с вокзала первый свой визит я нанесла Н.Н. Фоняковой, давнишнему моему другу, научному сотруднику Пушкинского Дома, незадолго перед этим Наталья Николаевна вышла на пенсию. Зная о моем приезде, Наталья Николаевна с мужем приехали с дачи и ждали меня. Встретили меня эти милые, высококультурные люди чудесно, как могут только встречать коренные ленинградцы. Наталья Николаевна с сыном и матерью пережила блокаду Ленинграда. Сын Натальи Николаевны – Илья Олегович Фоняков – известный журналист и поэт.

Четыре дня я жила на Старо-Невском проспекте, недалеко от Казанского собора у Натальи Николаевны. Ни в какую гостиницу она меня не пустила, сказала коротко и безапелляционно.

– Вы к нам ненадолго и время терять нам нельзя. Вы должны и увидеть как можно больше и получить тоже все, что возможно.

Прежде всего, в Пушкинском Доме я познакомилась с экспозицией по Ф.М. Достоевскому, ее делала Наталья Николаевна, она же и рассказала мне все подробнейшим образом. Экспозиция очень интересная, каждая деталь строго продумана и ярко показана. Особенно меня поразила драма Ф.М. Достоевского: пали Омского острога, на их фоне отображалась жизнь писателя на каторге, далее ссылка в наш город. Это было уже наше, и это очень тревожило. Не менее интересен был и рассказ. Я делала заметки, сделала зарисовки и выписки.

Потом я ходила по залам музея Пушкинского Дома, а за мной ходили сотрудники музея, и по-доброму потешались надо мной, когда я замирала перед рисунками Лермонтова; с благоговением и восторгом смотрела на кресло Гончарова; вещи Пушкина, Тургенева, Достоевского... Я чувствовала, что действительно смешна со стороны, но ничего не могла с собой поделать. Так я ходила захваченная, отрешенная, и вдруг – «Достоевский здесь, Достоевский пришел...»

Меня подвели к внуку писателя Андрею Федоровичу Достоевскому и представили.

Это был пожилой худощавый узколицый, болезненного вида человек, в берете, одетый просто и очень скромно. Он сердечно

пожал мне руку, выразил удовольствие от встречи и удовлетворение по поводу нашей работы в деле организации музея в Семипалатинске.

Я передала ему приглашение от партийных и государственных организаций города приехать в Семипалатинск на юбилей города. Андрей Федорович не сказал ничего определенного. Только позднее я поняла, что такая неопределенность была связана с состоянием здоровья.

Говорили мы с ним недолго, т.к. он торопился в поликлинику, но, осведомившись, надолго ли я в Ленинграде, выразил желание встретиться еще до отъезда. Где – мы не договорились.

Я попросила разрешения у Натальи Николаевны пригласить на чашку чая Андрея Федоровича и Белова Сергея Владимировича – это ленинградский ученый и друг Андрея Федоровича, почти с первых дней много нам помогавший. Разрешение было любезно получено.

В этот день уже под вечер мы посетили кладбище Александр-Невской Лавры, могилу Федора Михайловича Достоевского. И опять – замирание сердца: волнительно было стоять у памятника писателя-мученика, памяти которого рискнула послужить. Сумею ли что сделать? Поблизости от могилы Достоевского – могилы людей, имена которых знала с детства: Жуковский, Карамзин, писатели, композиторы, артисты. Нет великих людей, живут их великие дела. Недолго удалось там побыть: приехали мы уже перед закрытием.

Весь следующий день мы с Натальей Николаевной в основном ходили, вернее первую половину дня. Мы прошли пешком по всем местам, связанным с именем Ф.М. Достоевского, начиная с Михайловского замка, где будущий писатель вместе со старшим братом Михаилом жил и учился в Инженерной Академии, дом, где он написал свое первое произведение «Бедные люди». Достоевский часто менял квартиры и жил обычно на втором этаже. Прошли и по тем местам, связанным с его произведениями, где он селил своих героев: постояли на набережной, где встречались Мечтатель с Настенькой из произведения «Белые ночи». Закончили экскурсию мы у дома в Кузнечном переулке – последней квартире Достоевского. Я прослушала обширную и очень квалифицированную лекцию. Наталья Николаевна, работая в Пушкинском Доме, проводила по этим местам иностранные делегации.

Потрясло меня посещение дома, где жил Раскольников, т.е. где Ф.М. Достоевский поселил своего героя. Мы прошли мимо дворницкой, где Раскольников брал топор, готовясь совершить преступление. Постояли у дверей его коморки. Потом сошли на площадку второго этажа, я почему-то остановилась и стала смотреть в окно, передо мною был двор-колодец, впереди – растрескавшаяся стена старого пятиэтажного дома. Такие дома и дворы часто описывал Ф.М. Достоевский.

Наталья Николаевна рассказала интересный случай в связи с этой растрескавшейся стеной:

– Водила я как-то по местам Достоевского чехословацкую делегацию. Несколько человек, вот, как и вы, остановились на площадке, смотрят как-то странно на эту растрескавшуюся стену и о чем-то тихо говорят. Мне стало как-то неловко, стеснительно, я подумала, что они осуждают и эту грязь, а во дворе было довольно грязно, это было весной, и эту не отремонтированную, незаштукатуренную стену. Я задала вопрос переводчице, и она ответила мне: «Они говорят, на эту стену смотрел Достоевский!»

По аналогии я вспомнила другой случай, рассказанный мне директором Семипалатинского краеведческого музея, и в свою очередь рассказала его Наталье Николаевне.

В первые годы после войны в наш город приехал венгерский ученый. В краеведческом музее он попросил проводить его к дому, где жил в ссылке писатель Ф.М. Достоевский. Повела его директор музея. Когда они подошли к дому, ученый вдруг непосредственно и очень громко стал выражать свой восторг. Он всплескивал руками, воздевал их к небу и все время восклицал: «Я у дома, где жил великий писатель, я у дома Достоевского!» и директору показалось, что вот сейчас он встанет перед домом на колени. Редкие прохожие с удивлением оборачивались, смотрели на элегантно одетого человека, который так странно вел себя. Но он не обращал на них никакого внимания и еще долго изливал свой восторг и волнение.

Смотреть на него было трогательно.

Во второй половине дня я опять работала в Пушкинском Доме, посмотрела в архиве рукописи Ф.М. Достоевского, в частности страницы романа «Братья Карамазовы». Сотрудники музея подарили нам литографию портрета Ф.М. Достоевского работы Перова в рамке под стеклом, аккуратно упаковали и пре-

поднесли. Все сотрудники музея старались помочь чем-либо, на каждый вопрос отвечали исчерпывающе, я получала много ценных советов. На прощание еще преподнесли пачку книг – дореволюционное издание произведений Ф.М. Достоевского. Перед тем как окончательно распрощаться с этими добрыми и отзывчивыми людьми, я еще раз осмотрела экспозицию по Ф.М. Достоевскому.

Следующим моим намерением было посетить Государственную Публичную библиотеку имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Там тоже приняли меня сердечно. Встретилась я лично с теми, с кем мы переписывались, получали помощь. Расспросы, сочувствие, полная готовность помочь. Первый день я полностью была занята комплектованием. Но об этом позднее. За день до моего отъезда, вечером к Наталье Николаевне пришли Андрей Федорович Достоевский и Сергей Владимирович Белов. Андрей Федорович принес цветы. Потом он подарил нашему музею несколько фотокопий. Сергей Владимирович принес для нашего музея долгоиграющие пластинки оперы С. Прокофьева «Игрок» и отрывок из спектакля «Дядюшкин сон» в исполнении Н. Хмелева и О.Чеховой, а также несколько линогравюр портрета Ф.М. Достоевского, работы Перова.

За чаепитием мы обсуждали дальнейшую работу по организации музея в Семипалатинске, о помощи нам. Андрей Федорович обещал быть на юбилее города.

Сергей Владимирович ушел раньше, т.к. у него были билеты в театр, а мы втроем еще долго беседовали.

Андрей Федорович спросил меня, что я сделала, будучи в Ленинграде. Когда я его проинформировала вкратце, а Наталья Николаевна подтвердила, он очень удивился и сделал вид, что ужасно возмущен: «Столько сделать за три дня, а вы еще на завтра себе кое-что спланировали – это даже невыгодно. По-доброму, такое не уложишь и в 10 дней. Вас же не будут пускать в командировки! Ну, ничего на будущий год мы вас вызовем на 10 дней».

Прощаясь, Андрей Федорович спросил, в какое время я еду, и сказал, чтобы я ожидала его, без него не уезжала на вокзал.

Два дня я работала в «публичке», так ленинградцы называют любовно Государственную Публичную Библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, как я уже говорила, у нас там тоже были друзья, которые трогательно и чутко относились к нашим

запросам, и уже выслали нам много ценнейшей литературы. И вообще все наши просьбы и заказы выполняли четко и срочно.

В отделе комплектования я отобрала по каталогу более четырехсот экземпляров книг и журналов, литературы, изданной при жизни писателя. Все книги, отобранные мною, мы вскоре и получили в Семипалатинске.

Мне было очень жаль, что со мной не было картотеки доукомплектования. Мы начали вести ее сразу же, как начали комплектовать библиотеку по Достоевскому – с взглядом на будущее, и она уже была довольно громоздкой.

В рукописном фонде оказалось только несколько рукописных листочков Достоевского и машинописная копия инсценировки произведения «Дядюшкин сон», кажется 1911 года.

Чтобы сгладить явное мое разочарование, сотрудники фонда показали мне все самое интереснейшее: древние рукописи и на шелке, и на папирусе. Но этот интерес был уже другого порядка.

В конце второго дня в библиотеке, т.е. незадолго уже до моего отъезда, сотрудники отдела комплектования попросили рассказать меня обо всем: о моем городе, о музее, о поездке на встречу ветеранов, о встрече с внуком писателя. Слушали с живейшим интересом и вниманием.

Я давно заметила, что мы едем в центры, большие города «набираться большой культуры», мы же для жителей этих городов являемся как бы свежей струей.

Вот и кончился мой последний день моего прибытия в Ленинграде. Поезд на Москву уходил в 11 часов с минутами вечера. Я все тщательно упаковала, беспокоясь о пластинках и начала волноваться уже с девяти часов. Как бы не опоздать на поезд! И если бы не обещание, данное Андрею Федоровичу ждать его, я была бы уже на вокзале.

В половине 11-го звонок в двери. Это был Андрей Федорович:
– Вы готовы? Такси ждет.

Сердечно расцеловалась я с Натальей Николаевной, уверяя в вечной признательности и дружбе.

Путь до вокзала был недолог. Через несколько минут Андрей Федорович усадил меня в вагон поезда на Москву, заверил, что он постарается обязательно быть в Семипалатинске на юбилее города, пожелал нам успехов и дружески распрощался.

МОСКВА

На Москву мне тоже было отпущено четыре дня, и здесь меня ждало много интересного.

Первым делом я нагрянула к Галине Владимировне Коган. Музей Ф.М. Достоевского был демонтирован, но все-таки съездили туда, и Галина Владимировна поделилась со мной еще кое-какими иллюстрациями, копиями портретов, документов, старыми муляжами.

От Г.В. Коган я позвонила некоторым добрым нашим друзьям, поблагодарила их за дары, за доброе отношение к нам и получила приглашение навестить их дома.

Академик В.М. Терновский сказал мне:

– Мы с женой ждем вас завтра к трем часам, только не заходите ни в какие кухмистерские и предупредите, когда выедите.

На второй день с утра мне необходимо было быть в Библиотеке им. В.И. Ленина. Я договорилась с нашим ветераном, с которым была встреча под Белгородом, что он проведет меня в библиотеку, в интересующие меня отделы. М.М. Литвяк был главным библиографом исторического каталога.

Здесь не обошлось без смешного инцидента. Дело в то, что в Москве и Ленинграде моя фамилия обращала на себя внимание, т.к. я была однофамилицей министра культуры.

Звоню в отдел, спрашиваю М.М. Литвяка. Говорят, что вышел покурить и спрашивают:

– Кто просит?

– Фурцева.

– Ах!

– Да не министр культуры, – говорю поспешно – попросите, пожалуйста, выйти Михаила Моисеевича, как появится.

В библиографическом каталоге Ленинской библиотеки я выписала все по Достоевскому, это пополнило нашу картотеку доукомплектования. По этой картотеке мы подбирали и журналы, кроме тех, что выискивали сами.

Вести картотеку доукомплектования помогала мне наш активист, бывшая ленинградка, человек большой эрудиции и библиотекарь с большим опытом работы в крупнейших библиотеках Ленинграда – Грибанова Мария Викторовна.

С ней же мы начали и библиографический каталог. Она вела аналитическую роспись статей из книг и журналов, кроме того,

скрупулезно выискивала из всей доступной нам литературы малейшее упоминание о Ф.М. Достоевском и заносила в карточки. Чтобы сказать уж все основное об этом человеке, раз уж сделано такое отступление, то Мария Викторовна частенько подменяла меня на обработке литературы и обслуживании читателей, в то время, как мне приходилось или отсутствовать по разного рода хлопотам, или проводить беседы с посетителями.

У АКАДЕМИКА ТЕРНОВСКОГО

К трем часам, предварительно созволившись, я отправилась на Новослободскую, в гости к Терновским. Выйдя из метро, я огляделась, мне нужно было на противоположную сторону, но в какой дом – я не могла определить. Передо мной высилось несколько простых несовременных пятиэтажных домов, сколько я не вглядывалась, но не могла рассмотреть номера. Пришлось звонить еще из метро. Василий Николаевич уточнил, где я нахожусь, объяснил, какой дом их и заботливо предупредил:

– Через этот перекресток переходите осторожно, потому что там сложное движение.

Перекресток преодолела я благополучно. Я не стала подниматься лифтом, а пошла пешком до пятого этажа, стараясь прийти в норму, умерить дрожь волнения. Шутка ли – в гости к академику! По дороге читала таблички с фамилиями на дверях. Фамилии эти как бы спрыгнули с обложек медицинских учебников, солидных медицинских книг. Здесь жили все самые яркие светила медицины! Где уж тут ждать, чтобы унялось волнение...

На мой робкий звонок открыл мне дверь высокий мужчина, далеко в годах, но статный и подтянутый. Чувствовалась в нем военная выправка. Лицо некрасивое, но обаятельное в своей простоте и приветливости. Странное дело – волнение мгновенно прошло, от простых слов приветствия, от душевного тона.

Василий Николаевич ввел меня в небольшую двухкомнатную квартиру и представил жене Елене Адамовне, симпатичной, молодой, но болезненной даме.

Квартирка эта представляла собой настоящий музей, столько в ней было редкостных вещей, картин на стенах.

Освоилась я сразу же, такими милыми и простыми оказались Терновские. Те несколько часов, которые я провела у Терновских, смею заверить, что нам было интересно обоюдно. Разговор не прекращался ни на минуту. После того, как я лично выразила благодарность Терновскому за все сделанное для нас и доложила о делах в доме Ф.М. Достоевского в Семипалатинске, Василий Николаевич заверил, что он навсегда останется нашим другом и будет помогать всем возможным.

Далее с большим интересом слушала я воспоминания Василия Николаевича о встречах с М. Горьким. О многом рассказывал Василий Николаевич, и рассказывать он умеет живо и интересно.

Угостили они меня весьма обильно всякими вкусными вещами. В центре же стола в глубоком блюде стоял очищенный отварной картофель, прекрасный белый рассыпчатый картофель! Елена Адамовна с гордостью сказала:

– Я выбрала самый лучший.

Василий Николаевич и Елена Адамовна усиленно меня потчевали, а мне все хотелось у них хорошенько рассмотреть: хорошие картины известных мастеров, а также бронза, фарфор и фаянс, книги, книги... Для того культурного богатства, которое было здесь собрано, квартирка была смехотворно мала.

Разговор не умолкал ни на минуту. Василий Николаевич так живо, так заинтересованно расспрашивал и о делах музея, и обо всем интересующем, что было удивительно, сам рассказывал очень интересно. Разговор был общий. Несмотря на это угостили они меня все-таки очень плотно, а потом, отяжелевшую, усадили на диван. Василий Николаевич рассказал о некоторых своих картинах, а когда разговор перекинулся на книги, преподнес мне «Салернский кодекс здоровья» Арнольда из Виллановы, редактором и автором вступительной статьи которого он является, с трогательной надписью, в конце которой было «...на добрую память и исцеление».

Я поблагодарила, раскрыла книгу и прочла:

«Если ты хочешь здоровье вернуть

И не ведать болезней...

Скромно обедай...»

– Что вы со мной наделали! – вскричала я в притворном ужасе.

– И мы от души повеселились.

Расстались мы довольные друг другом, расцеловались совершенно по-родственному, уверяя друг друга в вечной дружбе.

У КИРПОТИНА

Трогательно-теплый прием встретила я на следующий день от известного литературоведа, автора многих книг о Ф.М. Достоевском, профессора В.Я. Кирпотина. Валерий Яковлевич и его жена Анна Соломоновна самым подробнейшим образом расспрашивали меня о музейных делах в Семипалатинске.

Во время чая с изысканными кондитерскими изделиями разговор о делах и нуждах музея не прекращался.

Валерий Яковлевич, кажется, был доволен ходом дел, давал советы, говорил о своих планах в работе над произведениями Ф.М. Достоевского.

На прощанье сказал, что я могу к нему обращаться за советом всегда, и всегда он даст нужный совет, указание, справку.

Валерий Яковлевич и Анна Соломоновна тепло попрощались со мной, т.к. я торопилась опять в Ленинскую библиотеку и сказали, что видимся мы не в последний раз, и двери их квартиры всегда для меня открыты. Я увезла от Кирпотиных несколько книг, подаренных музею.

В библиотеке им. В.И. Ленина М.М. Литвяк провел меня в отдел рукописей, где уже работала Галина Владимировна. Я просмотрела все имеющиеся рукописи произведений Ф.М. Достоевского, которых, к сожалению, осталось немного, и сделала себе необходимые отметки, по которым потом сделала заказы фотокопий.

У АРДЕНСА

На следующий день, в воскресенье, я должна была быть у Н.Н. Арденса. Галина Владимировна предложила:

– Давайте после полудня съездим в Переделкино, там мы можем встретить многих писателей, может быть, еще удастся сделать что-нибудь для вашего музея.

На том мы и порешили.

Н.Н. Арденс встретил меня приветливо, расспросил о музее, рассказал о своих планах. Застала я его за рабочим столом. Большой стол был завален стопами исписанных листов, на столе стоял небольшой гипсовый бюст Ф.М. Достоевского. Николай Николаевич писал вторую книгу – роман о Ф.М. Достоевском «Ссылный №33».

Видно было, как увлеченно работал Николай Николаевич, с каким трудом оторвался от работы, видела, как он дорожил временем, торопя себя.

Мне не хотелось докучать Николаю Николаевичу, отрывать его надолго от работы. После короткого разговора – отчета о наших делах, течение которых Николай Николаевич уточнял вопросами, я хотела уже распрощаться. Тем более, что хлопот в Москве у меня было много, и много куда мне еще надо было сходить.

Но Николай Николаевич не отпустил меня без чая, который приготовила нам его дочь.

Прощаясь, Николай Николаевич поблагодарил меня за посещение и заверил, что он сделает все возможное, что в его силах для нашего музея и остался верен своим словам.

Интересна история нашего знакомства с профессором Н.Н. Арденсом.

В 1967 г. вышел роман в трех частях «Ссылный №33» Н. Арденса. Мы с интересом следили за отзывами о нем в печати, за обсуждением его в литературных кругах.

Я написала письмо Николаю Николаевичу с просьбой прислать свою книгу в дар дому Ф.М. Достоевского в Семипалатинске. Мое письмо и книга Н.Н. Арденса встретились в дороге, т.к. Николай Николаевич выслал ее нам, еще не дождавшись просьбы.

Получив книгу, мне в спешном порядке пришлось посылать благодарность Николаю Николаевичу. С тех пор у нас завязалась прочная дружба.

До поездки в Переделкино я побывала еще в музее-квартире В.В. Маяковского. Там мне хотелось познакомиться с библиографическим каталогом, который говорят, сделан у них великолепно.

Провожая меня домой, Галина Владимировна сказала мне, что как-то в одно из посещений С.Т. Коненковым музея

Ф.М. Достоевского, она рассказала ему о нашем начинании, он очень заинтересовался и обещал сделать для нашего музея копию скульптуры «Достоевский на каторге».

Обрадовалась я такому известию несказанно и очень просила Галину Владимировну изредка справляться об этом и сообщить нам немедленно, когда скульптура будет готова.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА

В августе 1968 г. Семипалатинск готовился отмечать свой 250-летний юбилей.

В связи с большой подготовкой к юбилею, нам не хотелось особенно тревожить большое начальство. По-прежнему и часто обращалась я только в Горисполком да не давала спокойной жизни своему непосредственному начальству.

Но поднималась вся история города, и партийные и советские органы стали сами больше обращать внимания на дом Достоевского, на страницы истории, связанные с пребыванием писателя в нашем городе.

Кое-что предпринималось и в отношении нас: городская библиотека №15, расположенная в доме писателя, была переименована в библиотеку им. Ф.М. Достоевского, две близлежащие улицы были переименованы в улицу им. Чокана Валиханова и в улицу П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Подготовка к празднованию юбилея шла полным ходом. Город украшался и хорошел.

Мы тоже готовились к юбилею: выгребли все мало-мальски сносные рамки из кладовых краеведческого музея, привели их в сносный вид и заполнили иллюстрациями.

Областное управление культуры выделило нам небольшую сумму денег, мы пригласили художницу А.Д. Несину и занялись оформлением.

Тут следует заметить, что Анна Денисовна Несина с этих дней стала нашим добрым, бескорыстным другом, во многом нам помогала в дальнейшем, не считаясь со временем и трудом, и тратя свои материалы. В общем, вошла в наш актив. Но об этом еще будет сказано.

Придерживаясь подаренного нам Г.В. Коган тематико-экспозиционного плана, написанного в 1956 г. для Семипалатинского краеведческого музея, мы распределили уже достаточно накопленный нами материал по комнатам бывшей квартиры писателя. И тут, призвав на помощь всю нашу изобретательность, горячо обсуждая каждую деталь, споря, призывая в своих спорах в свидетели всех, проходящих к нам, подняв на ноги весь свой актив, мы оформили самостоятельный музей – скромную стационарную выставку, весьма вероятно, что несовершенную и даже наивную, в общем – в пределах наших возможностей.

Более двух недель мы работали над оформлением все светлое время дня, т.е. по 12-14 часов, включая выходные дни.

На стенах мы поместили иллюстративный материал, в комнатах расставили старинную мебель.

Вот как все это выглядело. В кабинете Федора Михайловича поставили старинный канцелярский стол, он напоминал письменный стол писателя из его последней петербургской квартиры. Позднее мы заменили его письменным столом более подходящим по виду к скромной обстановке опального писателя. На стол поставили пару старинных подсвечников и шандал, положили листы бумаги и несколько журналов того времени. Над столом в старинных рамках поместили копии фотографий родных и близких писателя. У стены перед столом поставили старинный книжный шкаф, в котором расставили прижизненные издания произведений Ф.М. Достоевского и литературу, издававшуюся при его жизни: книги, журналы, газеты.

В одном из простенков повесили литографию – фрагмент картины «Сикстинская мадонна». В углах на квадратных тумбочках, обтянутых серым льняным полотном, установили бюсты Ф. Достоевского и Ч. Валиханова.

Несколько венских стульев и этажерка дополняли оформление кабинета писателя.

Соответственно назначению были обставлены старинной мебелью и утварью и остальные комнаты квартиры: зал, спальня и прихожая-столовая.

Многое из вещей подарил нам активист-пенсионер Л.В. Семенов: туалетный столик для спальни, медный самовар с половчатеньницей для столовой, несколько пар подсвечников, светильник, несколько венских стульев и круглых столиков для зала-гостиной.

Не знаю, следует ли все перечислять, было много поступлений и от других активистов и неактивистов – все это и сейчас находится в домике, многое там прибавилось и позднее, даже излишества, вроде резной мебели, приобретать которую мы в свое время отказались.

Основная экспозиция, если можно так назвать, размещалась в зале-гостиной. Это был иллюстративный материал, который помогал вести рассказ о жизни и творчестве Достоевского. Он был распределен по темам: «Жизнь и начало литературной деятельности Ф.М. Достоевского», «Кружок М. Петрашевского», «Омская каторга», в центре этой экспозиции помещалась «Карта Средне-Азиатских владений, граничащих с Российской империей», изданная в 1868 г., подаренная нам активистом А.А. Басаргиным. По ней мы показывали путь Ф.М. Достоевского из Омска в Семипалатинск.

Слегка раскрывались еще темы: «Ф. Достоевский и Л. Толстой» и обзор позднего творчества писателя. В гостиной было представлено несколько бюстов Ф.М. Достоевского и бюст Л.Н. Толстого.

Экспозиция «Достоевский в искусстве» была представлена в прихожей-столовой, здесь же посетителей встречал портрет «Ф.М. Достоевский в последние дни пребывания в Семипала-



тинске» – линогравюра местного самодеятельного художника А.А. Шевченко.

Нужно ли говорить о том, насколько облегчила нашу работу, эта, более чем скромная, выставка. Мы стали принимать посетителей более организованно, группами и более полно удовлетворять их интерес, отвечать на вопросы о Ф.М. Достоевском, в частности, о Семипалатинском периоде его жизни. Проводили мы и другие мероприятия: беседы на предприятиях, конференции по произведениям писателя семипалатинского периода.

На областной конференции, посвященной юбилею города, мне было поручено сообщить о делах в доме Достоевского.

Когда на секции литературоведов было объявлено мое сообщение – «Домик Достоевского в Семипалатинске», некоторые присутствовавшие недоуменно переглянулись: что можно сказать о старом маленьком домике, ничем не примечательном с виду? Подозреваю, что даже не знали о его существовании.

Слушали меня с вниманием тоже удивительным, когда я раскрыла перед слушателями частицу истории и наши усилия по сохранению дома и увековечению дома писателя, показала нити, которые протянулись к домику из многих мест СССР и даже из-за рубежа.

В перерыве меня окружили преподаватели школ и учебных заведений, расспрашивая подробнее, договариваясь об экскурсиях с группами. На пленарном заседании конференции мое сообщение было отмечено, как одно из интересных.

250-ЛЕТИЕ СЕМИПАЛАТИНСКА. ПРИЕЗД ВНУКА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Похорошел и украсился город к юбилею.

Погода стояла на редкость яркая и солнечная.

Вот в такой восхитительно-яркий день, 31 июля 1968 г., сотрудники дома Достоевского, почти весь многочисленный коллектив городского отдела культуры и многие из наших активистов встречали в аэропорту самолет с прибывшим на юбилей города внуком Федора Михайловича – Андреем Федоровичем Достоевским.

С волнением вступил Андрей Федорович на землю, по которой ходил его великий дед, волнующей была и его встреча с се-

мипалатинцами. Эскорт машин, медленно двигаясь, проводил машину с Андреем Федоровичем через весь праздничный город в гостиницу.

С удивлением и восхищением осматривался вокруг Андрей Федорович. Совсем не таким представлял он себе наш город по рассказам Федора Михайловича, переданным ему бабушкой Анной Григорьевной.

Все эти дни он был окружен предельно заботой и вниманием семипалатинцев. Весь наш актив включился в это. Мы старались оберегать его здоровье, щадить его, защищать от шума праздничной суеты, суматохи. Но Андрей Федорович окунулся во все это с наслаждением, без оглядки, отвергал опеку и всяческие предостережения. Почти каждый день где-нибудь выступал, а то и по нескольку раз, участвовал во всех мероприятиях, в каких только мог участвовать, мог успеть.

Утром, на второй день приезда, Андрея Федоровича ждали в доме Достоевского. Сопровождал его от гостиницы, гордый и счастливый от поручения, юный активист Витя Кашляк.

Андрей Федорович медленно обошел дом кругом, с волнением поднялся на второй этаж, в квартиру Федора Михайловича.

С волнением и мы слушали семейные воспоминания о Федоре Михайловиче. Во время этой беседы принесли телеграмму от К. Федина: поздравление с юбилеем города и добрые пожелания дому Достоевского.

Медленно, неохотно покидали люди дом Достоевского, готовые слушать без конца воспоминания, которые делали писателя все более близким, родным нам.

Мы вкратце познакомили Андрея Федоровича с нашими делами, провели по комнатам, рассказывая, что нам удалось узнать о доме и жизни писателя у нас, показывая наши приобретения. Смотрел и слушал он очень активно: поправлял, дополнял, уточнял. Но остался очень доволен увиденным.

В этот день мы наметили программу действий на все юбилейные дни, придерживаясь официальной программы празднества. И, окидывая взглядом с расстояния нескольких лет то, что сделал Андрей Федорович за те несколько дней, которые он у нас пробыл, диву даешься, как мог столько сделать совершенно больной человек. Невольно приходят на ум его же слова: «Сделать столько за такой короткий период даже невыгодно».

Всю эту неделю Андрей Федорович жил деятельной и напряженной до предела жизнью.

Выступил за это время Андрей Федорович кроме дома Достоевского в областной детской библиотеке, в школе левобережной части города – Жана-Семее, в областном государственном архиве, в Краеведческом музее, на мясокомбинате во время экскурсии, нам оставил и свою запись в книге отзывов выставки.

Был на приеме у председателя горисполкома и у начальника областного управления культуры, где высказал свое мнение о делах в доме Достоевского и о будущем музее.

С глубоким вниманием, слушал Андрей Федорович доклад на юбилейном заседании и, по-детски радуясь, подсчитывал, сколько раз в докладе были упомянуты имена Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханова.

В увлекательной прогулке по Иртышу на «Ракете» Андрея Федоровича сопровождала художница А.Д. Несина, там она сделала с него карандашный набросок.

Каждый день с утра Андрей Федорович отправлял по нескольку писем в различные города Советского Союза и за границу: в Америку, Францию, ГДР. Письма на русском языке, на французском. Это значит, что Андрей Федорович работал большую часть ночи. В гостинице в его номере на столике всегда стоял чайник с круто заваренным холодным чаем. Уходя, он прислонял к чайнику записку: «Не выливать!».

Видя его далеко не цветущий вид, мы пытались отговорить его от поездки на байгу, тем более, что стояла жаркая погода и поднялся ветер. А в степи жара и пыль – это не весьма уютно. Но, куда там! Андрей Федорович даже обиделся и стал горячо доказывать, что на байге ему быть совершенно необходимо, что он столько о ней слышал семейных воспоминаний.

В жаркий солнечный, с ветерком, день отправился Андрей Федорович на байгу, эскортируемый художницей Несиной и активистом-пенсионером А.А. Басаргиным, которых я «нагрузила» инструкциями, в общем, просила смотреть за Андреем Федоровичем, оберегать его.

На байге Андрей Федорович был оживлен, весел, полностью захвачен чудесным зрелищем. Уследить за ним было трудно, и его постоянно теряли. Но он не терялся. Общительный, и по-особому обаятельный, он завязывал там все новые и новые знаком-

ства. Уже под вечер, запыленный до неузнаваемости, усталый, но довольный и счастливый, он был доставлен А.А. Басаргиным на квартиру дочери. Там он привел себя в порядок и вечером пришел ко мне.

До полуночи он гостил у нас и совершенно очаровал мою семью. Надолго в нашей памяти останется тот чудесный вечер. Андрей Федорович делился своими семейными воспоминаниями, живо интересовался жизнью нашего города, нашей семьей и ее заботами.

В двенадцатом часу ночи мы собрались с мужем проводить Андрея Федоровича до гостиницы.

Мама моя страшная трусиха, и перед уходом мы закрыли окна на ставни и на болты. Она заложила болты специальными болтиками, но для одного болта не нашла болтика и заложила ножницами. Андрей Федорович наблюдал за этим молча, с удивлением и каким-то детским любопытством, потом сказал:

– Давно я такого не видел.

Забегая вперед, скажу: на другой день, по дороге к дому Достоевского, он нашел и поднял болтик и торжественно вручил мне для передачи маме, чтобы не закладывала болт ножницами.

По дороге к гостинице мы весело разговаривали, наслаждаясь теплой чудесной погодой. Но вот у Андрея Федоровича провалилась грустная нотка: он посетовал на семейную неустроенность. Такое у него прорывалось и в письмах.

Я, не желая копаться в чужой жизни, позволила себе прервать его:

– Не надо, Андрей Федорович. Ведь вы мужчина, а мужчине легче все устроить. Вот мы с Владимиром Кузьмичом тоже намыкались, да сошлись два неудачника и ладим как-то...

– Ну, дай-то Бог, дай-то Бог, – сказал Андрей Федорович, и разговор переменялся.

Распрощались мы, не доходя до гостиницы, т.к. Андрей Федорович пожелал немного прогуляться в одиночестве.

Каждый день Андрей Федорович был в домике Достоевского. Ходил один, каждый раз меняя дорогу, по дороге много фотографировал. Его интересовало многое в зданиях старого Семипалатинска: наличники окон, резные карнизы, водосточные трубы, тоже украшенные рисунком, какая-нибудь ажурная нашлапка на трубе. Он по-детски радовался чему-нибудь, ранее им

не виденному. Вообще в нем было столько непосредственности и неиссякаемого интереса к окружающему его миру.

По дороге к дому Достоевского, Андрей Федорович спрашивал у прохожих, как пройти, и радовался, что всегда все показывали ему дом Достоевского с готовностью.

В доме Достоевского Андрей Федорович разбирал, определял то, что мы сделали, давал ценные советы, адреса нужных людей и учреждений, намечал, что нужно делать дальше и намечал, что он сам еще должен будет сделать для нас.

После посещения Областного государственного архива, вечером мы направились навестить нашего лучшего активиста-пенсионера Л.В. Семенова, жившего неподалеку от домика Достоевского. Мы пригласили с собой заведующую облархивом А.В. Кротенко.

Вечер мы провели славно: оживленная беседа за чаепитием, конечно же разговор вился около будущего музея. Андрей Федорович сделал несколько снимков присутствующих. После чаепития Леонид Викторович усадил нас в свой «Москвич», и вечер завершился восхитительной прогулкой по вечернему Семипалатинску. Мы показали Андрею Федоровичу уголки старого Семипалатинска, места, связанные с пребыванием Федора Михайловича в нашем городе. Вдоль Иртыша мы проехали в западную часть города и далее, показали дорогу, откуда приехал в наш город опальный писатель.

Андрей Федорович смотрел и слушал внимательно, с большим интересом. Много для него было откровением.

Почти каждый день Андрей Федорович говорил и повторял, как он рад, что решился на приезд к нам, как он благодарен нам за приглашение.

На праздничном театрализованном представлении, на стадионе «Спартак» машина с Федором Михайловичем Достоевским и Чоканом Чингизовичем Валихановым, представленными артистами, была встречена громкими аплодисментами. Рядом с Ф.М. Достоевским стоял внук писателя, рядом с Ч.Ч Валихановым – внучатый племянник Абая. Это было ярким символом давней и крепкой дружбы русского и казахского народа.

Празднества отошли, и мы, через несколько дней провожали Андрея Федоровича из Семипалатинска.

Летел он на несколько дней в Омск, оттуда из Краеведческого музея пришло приглашение, подписанное нашим давним до-

брым другом Андреем Федоровичем Палашенковым, посетить город, где прошли тяжелейшие годы каторги писателя.

Ранним утром 7 августа 1968 г. провожали мы Андрея Федоровича.

На прощание он еще и еще раз благодарил нас за приглашение на празднества, за интересную поездку, на которую он по собственной инициативе не решился бы, вернее не сумел бы добраться. И добавил, что доволен делами в доме Достоевского: «При таком положении в Семипалатинске обязательно будет настоящий музей. За Семипалатинск я спокоен».

ГЛАВА, В КОНЦЕ КОНЦОВ, СОВСЕМ НЕ ГРУСТНАЯ

«...Рад узнать, что строится музей. Вы положили основание. Ах, Зинаида Георгиевна, хорошо удается то, что делается всей душой, но так трудно работать, отдавая делу все силы, потому что не все любят сталкиваться с такими людьми. Вы заслужили с честью жить, как Вы пишете «дома»...

В.Я. КИРПОТИН.

Из письма 25 декабря 1974 г.

«...Он (музей) будет организован, несомненно. Это заслуга и Ваша, дорогая Зинаида Георгиевна! Чувствуется, что Вы зачинатель и продолжаете помогать... В Омске вот ничего не делается... несмотря на то, что музей памяти Ф.М. Достоевскому, как говорится, сам просится организовать его. Областные и городские организации Омска специально для музея отдавали дом Граве (в крепости), где бывал Ф.М. Достоевский во время ссылки (каторги) 1850-54 гг., и вот эту возможность не использовали, – отказались...»

Д.И. ЛОГАЧЕВ.

Из письма 5 октября 1975 г.

В нарушение своего слова – о себе писать меньше всего, в этой главе я все-таки напишу кое-что и о себе.

У меня часто спрашивают, как я ушла из музея, как меня проводили на пенсию.

Не было для меня торжественных проводов, прочувствованных речей, лестных адресов. Не подарили мне ни стиральной машины, ни самовара, ни разных прочих сервизов. Утешает меня то, что мне не пришлось делать прически и тратиться на специальный, соответствующий для такого торжественного момента в жизни человека, туалет, а главное – не пришлось млеть от дифирамбов, заслуженных и незаслуженных вовсе.

Все почести достались первому директору музея Ф.М. Достоевского, потому что я никогда не была его директором.

Ушла я ранее пенсионного возраста по ряду причин, основной из которых было состояние здоровья. Впрочем, я дала нужное и соответствующее объяснение тем, кому это требовалось.

Я ушла, оставив более пяти тысяч единиц литературы, смею надеяться, что в основном – ценнейшей; небольшой, но полностью обработанный фонд, отраженный в двух каталогах: алфавитном и систематическом. Сто книг из этого фонда с автографами, десятки книг – произведений Ф.М. Достоевского и литературы о нем на языках народов СССР и на иностранных языках. Из последних: «Дядюшкин сон» на немецком и болгарском языках, «Кроткая» – на индонезийском, «Преступление и наказание» – на испанском и другие. Зарубежная литература о Ф.М. Достоевском: Анна Зегерес «Толстой и Достоевский» – на немецком языке, Наташа-Доминик Арбан «Молодой Достоевский» – на французском языке, Дональд Фангер «Достоевский и романтический реализм» – на английском языке, посылкой из Калифорнии.

Получены и переплетены рукописи книг М.А. Никитина, В.Я. Кирпотина; собрано несколько автографов-стихотворений, в частности от С.Н. Маркова «Памяти Чокана Валиханова» и «Омский узник».

Составлена солидная картотека доукомплектования и начат библиографический каталог.

Сделано несколько альбомов, из них: «Достоевский в печати», «Друзья дома Ф.М. Достоевского и почитатели таланта писателя», «Андрей Федорович Достоевский – внук писателя».

Было собрано более тысячи экспонатов, оформление которых тоже было начато.

Перечислять их характер нет необходимости, о некоторых из них уже сказано.

В правильном оформлении экспонатов помогали нам: научный сотрудник Пушкинского Дома города Ленинграда

Н.Н. Фоякова и научный сотрудник местного краеведческого музея Н. Жолдыбаева.

Оставлена большая переписка с писателями, художниками, учеными, артистами, которую нужно было только продолжать. Эти чудесные люди приходили на помощь при первом же обращении, при первой просьбе. И, что тоже немаловажно, я оставила большой, дружный, сплоченный коллектив.

Все это за шесть лет работы.

Всего этого не так уж и мало, если учесть, что все в основном дарственное, с этим можно было продолжать работу, если вспомнить, что начинала я только в доме, где в XIX веке проживал великий русский писатель Ф.М. Достоевский, в остальном – голое, гладкое место.

Наверное, сделано не все, многое и не так, но для критики нужно учесть еще два обстоятельства.

Во-первых, нас было две штатных единицы, не считая технички. Фамилию второго человека я не называю, потому что это был просто библиотекарь, а так как работать приходилось много, частенько – и за меня, занятую организацией музея, не понимая этого дела, не получая поощрения за свой труд, работники эти часто менялись.

Второе – это то, что рядом, с вырисовывающимся музеем, стояла городская библиотека № 15, мы должны были комплектоваться, работать с читателями, проводить массовые мероприятия, давать какие-то цифры, хотя и далеко не полновесные.

Только в конце шестого года почти тридцатитысячный прекрасно подобранный фонд был выделен. Городская библиотека № 15 начала самостоятельную жизнь на противоположном берегу Иртыша.

Тот факт, что собранный в мое время материал значителен, доказывает то, что и в печати, и по радио, и по телевидению, так или иначе показывается часто и сейчас, то, что мы получили из Франции, Калифорнии, Индонезии, Болгарии, от общественности Советского Союза.

Многое было получено после, но по моим еще просьбам. Так, я начала переписку с писательницей Д. Бреговой, автором книги о Достоевском «Дороги исканий», этой книги она нам выслать не могла, потому, что она разошлась давно, но пообещала прислать другую книгу – продолжение, над которым она работала.

«Дорогу исканий» мы приобретали в другом месте, а в 1974 г. музей получил от Д. Береговой вторую книгу о писателе «Сибирское лихолетье Федора Достоевского».

Я узнала, что творчество Ф.М. Достоевского очень почитаемо в Японии. Более пяти лет «оаживала» я Японию со всех сторон. Очень помог в этом журналист и поэт Илья Олегович Фонаков, который был по командировке Юнеско в Японии более полугода. Он разузнал, что в Токио есть общество читателей произведений Ф.М. Достоевского. Илья Олегович посетил общество, прислал нам несколько бюллетеней, которые общество издает. Матери Илья Олегович рассказывал, что члены общества часами могут спорить о Ставрогине или каком-либо другом герое Достоевского, а в обществе сам Илья Олегович рассказал о нас.

К юбилею Достоевского, в ноябре 1971 г., сын и вдова переводчика Масао Ионекава прислали посылку, где был двадцать один том произведений писателя. Так Семипалатинский музей получил бесценный подарок – полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского на японском языке.

Моя договоренность была с художницей А. Корсаковой о приобретении у нее картин.

Уже в 1976 г., по результатам моей переписки, музей приобрел произведения бакинского художника В.В. Хрулова.

Все люди уходят, когда приходит время. У нас в Советском Союзе говорится о бережном отношении к тем, кто уже не может работать на полную мощность, о привлечении их к труду посильному. Уйдя из музея, я этого не ощутила по отношению к себе, как от коллектива музея, так и от областного управления культуры.

Мой уход был тепло отмечен в печати, местной и республиканской.

Много я получила тревожных писем-запросов о причине моего ухода от тех, с кем связывала меня крепкая дружба, связанная с организацией музея.

Мечтала я до конца своих дней быть связанной с музеем, который в какой-то степени был моим детищем, но меня иногда мягко, иногда очень чувствительно, но решительно отстраняли.

Многое я могла бы написать в таком плане, но боюсь сбиться на мелочи, а это ни к чему. Дело-то ведь не во мне.

Музей в Семипалатинске есть, и это главное. Скоро будет оформлена экспозиция в новом здании. Верю, что домик

Ф.М. Достоевского приобретет надлежащий вид. Музей растет, расширяется, будет это непрекращающимся процессом. Сотрудники приобретут опыт музейной работы, дело это очень и очень непростое. Придут и другие, новые люди с новым подходом к делу.

Как бы меня не игнорировали, я долго унывать не умею, так же как за всю свою жизнь я не смогла постичь значения слова «скука». Мне никто не может запретить заниматься Достоевским, как работала, так и буду работать. Я по-прежнему собираю материалы, веду переписку с некоторыми прежними друзьями дома Ф.М. Достоевского

После того, как закончу книгу, приведу в порядок свой малосенький архив и вплотную займусь библиографией, для этого у меня накопилось немного материала.

Я верю, что и музей, и дом Ф.М. Достоевского будут всегда местом паломничества прогрессивного человечества, верю, что в скором будущем в музее будут работать ученые, освещая пока еще не ясные стороны творчества великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Пусть это будет подтверждением слов известного советского писателя В.Г. Лидина:

«Вы делаете большое дело, и семипалатинский огонек светит в истории нашей культуры...»

г. Семипалатинск, 1971-1977 гг.

РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ

Про музей Достоевского лично я слышал давно, примерно с 1969 г., получал письма от тогдашнего директора М.П. Христофоровой. Мемориальный музей, бревенчатый домик, где жил Достоевский последние годы пребывания в Семипалатинске... Все это и зналось, и еще больше – представилось в соответствии с многими другими музеями такого типа.

Бревенчатый домик оказался, правда, двухэтажным, с оштукатуренным, побеленным низом, но, в общем-то таким, как ожидалось. Рядом же с ним был воздвигнут совершенно своеобразной архитектуры корпус – пристройка. Ломаная линия стен напоминала как бы полураскрытую книгу. Торец здания был корешком этой книги. Внутри музея все было новое, только что сделанное. Новое и непривычное. Даже удивительное.

Как известно, Достоевский прибыл в Семипалатинск с каторги и прожил в этом городе пять лет – сперва солдатом, затем унтер-офицером и затем уже был произведен в прапорщики. Здесь он начал работу над «Записками из Мертвого дома», здесь написал «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково», здесь он влюбился в М.Д. Исаеву, здесь разворачивался их роман, в этом доме прошли первые годы их семейной жизни.

Об этом периоде, естественно, и повествует экспозиция. Среди документов, фотографий, портретов есть материалы малоизвестные, оригинальные, касающиеся дружбы Достоевского с П. Семеновым-Тянь-Шанским и Чоканом Валихановым. Оформлены материалы интересно, экспонированы по-современному – выразительно, красиво. Трогателен и сам мемориальный домик, счастливо сохраненный все эти годы, маленькие его комнатки на втором этаже, обставленные скудной мебелью той поры. Однако все это не выходит за пределы обычного.

Музей и начинался подобно некоторым другим музеям: в доме была городская библиотека имени Ф.М. Достоевского, затем второй этаж сами работники библиотеки отвели под выставку о жизни и творчестве писателя, который когда-то жил в этом доме, и к 150-летию юбилею весь домик был отдан музею. А еще через три года началось строительство новой пристройки

с кинозалом, фондохранилищем, научной библиотекой и – на втором этаже – обширной экспозицией. За кратким перечнем событий скрадываются усилия и энтузиазм создателей, собирателей, организаторов, которые начинали с нуля, не имея ничего – ни средств, ни решений. В музейном деле немало создается вот так, благодаря энтузиазму одиночек, любителей и патриотов своего края.

Интересно было бы проследить, как идея музея выращивалась и поддерживалась самыми разными людьми и организациями, как совершенно особо относились к ней все. Небольшая, в сущности, пристройка, созданная архитектором В.Ф. Власовым, явилась двадцать седьмым вариантом решения проекта. Заместитель председателя Семипалатинского облисполкома рассказывал мне, с каким трудом и добывали материалы, и изготавливали местные строители непривычные им доселе детали музейной экспозиции.

Впрочем, все разговоры, расспросы как да почему – они разыгрались потом, они были следствием того, как нас всех поразил сам музей, внутренность его.

Железная решетка от верху до низу пересекала пространство центрального зала. Она возникала то там, то тут как преграда. Клетки ее были заполнены вставками темного резного дерева. На деревянных этих плашках изображены головы людей. Самых разных. Они молят, кричат, скорбят, мечтают. Сотни голов, у каждой свое – от тупого безразличия до отчаяния, от злобы до святости, от равнодушия до духовности. Считается, что их 400, но, кажется, что здесь представлен весь «Мертвый дом», вся каторга царской России.

По стенам зала располагаются большие цветные панно, точнее – рельефные многофигурные композиции. Первая называется «Кровь». В центре ее – человек, по лицу его, по волосам стекает алая кровь. Демоны насилия, убийств, ненависти обуревают человека. Искушения корысти и хитрые маски самооправдания напоминают мучения Раскольникова.

Следующие три композиции называются соответственно «Пот», «Слезы», «Приобщение».

Все они построены на том же приеме: в центре – человек. Например, «Слезы» – это лицо молодой женщины, пораженной горем, страданием или состраданием, она плачет, и трагедия красоты и безобразия, чистоты и растленности, сталкиваются

вокруг нее, напоминая и женские образы романов писателя, и жизненную драму М. Исаевой, которая происходила в этом городе и так переживалась Ф.М. Достоевским.

А в центре панно «Приобщение» – голова Ф.М. Достоевского и кругом его герои, вернее как бы видения его героев, злых и светлых, лишенных веры и добрых, они вереницей проходят перед ним... Панно эти многозначны, пересказ их условен, но впечатление от них сильное и неожиданное.

Подкупает смелость авторов. Взяться за такую тему и выполнить ее с таким размахом можно легче всего в молодости, и действительно, они, все трое, оказались молодыми – автор композиции Георгий Козлитин и его товарищи Сергей Широков и Владимир Гукасов, молод и главный художник объекта В.М. Одноколкин. Они – художники комбината Казхудфонда. И решетки, и остальное оформление решалось ими. Черные панели, темно-коричневая обивка, полированное стекло. А в экспозиции все это дополняется иллюстративным материалом – выразительными портретами героев – подлинниками московской художницы Корсаковой, художника Косенкова. Следует еще упомянуть и роспись на огромной стене в 200 квадратных метров «Петербург Достоевского», а в вестибюле резьбой по камню сделана композиция «Творчество»...

Нелегко было сразу определить, почему же так сильно все это действует на посетителя. Во всяком случае, на всех нас, впервые пришедших сюда. Одна из причин тому, несомненно, возникает от соединения архитектуры с экспозицией и с монументальным и прикладным искусством. Мы привыкли к музеям, помещениям, где с большим или меньшим вкусом расположены экспонаты. Уберите оттуда документы, книги, фотографии, надписи – и останется просто помещение, просто комнаты, ни о чем не говорящие, без памяти и выражения. Так обстоит дело с теми же музеями Достоевского в Ленинграде или Старой Руссе, да и с большинством мемориальных музеев. Семипалатинский музей всем своим замыслом, всеми стенами, архитектурой стремится быть музеем – и именно Достоевского, и именно семипалатинской его жизни.

У входа в музей скульптура – на скамейке сидят Чокан Валиханов и Ф.М. Достоевский (скульптор Элбакидзе – Д.Г.). Оба молодые, в офицерской форме, соединенные горячим чувством дружбы, даже влюбленности, – это ведь именно тогда Достоев-

ский писал талантливейшему казахскому ученому, географу Чокану Валиханову: «Вы пишете мне, что меня любите. А я вам объявляю без церемоний, что я в вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая и родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам, и Бог знает, как это сделалось».

Удивительно удачно сочетается памятник их дружбе с музеем – книгой.

Есть свой эффект, своя мысль в резком столкновении бревенчатой избы, бедного, убогого жилья унтер-офицера Достоевского и новой примыкающей пристройки с белым мрамором, розовым ракушечником, в высоком вестибюле и отделкой лестничного пролета...

Каждый мемориальный музей останавливает время. В ленинградской квартире-музее А.С. Пушкина время сохраняется на самом его трагическом взлете. И ничего больше не надо – так много чувств вызывает подлинная обстановка последних месяцев, последних часов поэта. В Семипалатинске соединение жилого дома и современной пристройки выявляет многозначительную связь времен – от судьбы солдата 7-го Сибирского линейного батальона Ф. Достоевского, поселенного «на диком берегу Иртыша», до славы гения мировой литературы, которым все больше восхищается и удивляется читающее человечество.

Должен признаться, что я никак не ожидал встретить такой музей в Семипалатинске. Ничего похожего в столичных, «центральных» музеях такого типа лично я не видывал. И размах, и любовная отделка каждой детали, и смелость, и художественное новаторство – все вызывало и благодарность, и удивление. Похожее чувство было и у моих товарищей-литераторов из разных республик. Конечно, в нашем удивлении, наверное, слышалось обидное: как, мол, вы в такой, простите, провинции отважились и сумели соорудить подобное? Новый директор музея Ирина Федоровна Мельникова застенчиво ссылалась на художников, но художники-то, как выяснилось, были ленинградской «выпечки», из училища Мухиной. И тут невольно возникал вопрос: а что же такое сегодняшняя провинция? Чем она определяется? Географией? Отдаленностью от центра? Но память, возражая, тотчас приводила картины великолепных новых памятников в Армении, в Литве, в Хатыни, первоклассной музыкальной школы в маленьком городке Смирных на Сахалине, Дворца культуры в

Навои... Провинция перестала быть понятием географическим. Периферия вовсе не означает провинцию, провинциальность встречается в Москве, и в Ленинграде, и в прочих центрах. Она не связана ни с деревней, ни с городом. Многие явления искусства и культуры развиваются на так называемой периферии на более высоком новаторском уровне. В великолепной картинной галерее во Фрунзе еще несколько лет назад я смотрел картины художников, которые только сейчас появляются в экспозициях ленинградских музеев. Провинциальность, как узость взглядов, как рутинность, консерватизм стала скорее понятием организационным, тут многое зависит от культуры руководителей, умеющих оценить, поддержать инициативу...

Так что наше удивление говорило о нашей наивности. Честно говоря, мы чувствовали свою отсталость, мы испытывали зависть к тому, как умно, талантливо, основательно движется здесь музейное дело.

Но в Семипалатинском музее Ф.М. Достоевского мы увидели не только новаторство оформления. Город этот связан с именем еще двух замечательных писателей, классиков казахской литературы Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова. В городе есть большой литературный музей Абая, памятник Абаю; вообще деятельное внимание к литературному наследию – устойчивая традиция города. Новый музей Ф.М. Достоевского – свидетельство и этой традиции, национальные отношения к русской культуре, и в какой-то степени справедливая дань казахского народа русскому писателю, искренне полюбившему казахскую степь и ее людей.

Мухтар Ауэзов в статье «Ф.М. Достоевский и Чокан Валиханов» писал:

«В этих заботливых думах Достоевского о Степи, о долге первого просвещенного сына этой Степи сказались светлая, благородная роль передовой русской интеллигенции в судьбе народов России.

Нам бесконечно дорого сознавать, что великий русский писатель Ф.М. Достоевский говорил о своих думах и чаяниях с лучшими представителями казахского народа, что мыслил будущее этого народа связанным с русским народом, с его борьбой за светлое будущее».

Москва. «Литературная газета», 16 ноября 1977 г.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ

После отъезда Федора Михайловича из города 2 июля 1859 г., его ротный командир Артемий Иванович Гейбович долго хранил оставленные ему на память вещи писателя. Судьба забросила его на службу в Сергиополь, и он в своей квартире, в отдельной комнате, как реликвии, показывал вещи Достоевского. После смерти Гейбовича (1865 г.) следы этой коллекции затерялись.

В 1901 г. военнослужащими семипалатинского гарнизона под руководством временно Исполняющего дела Начальника Штаба войск Семипалатинской области А.В. Скандина и при поддержке общественности города в здании гауптвахты был устроен «Уголок Ф.М. Достоевского», который по праву можно считать первым музеем писателя в Семипалатинске. В письме от 2 ноября 1901 г. А.В. Скандин сообщает об этом вдове Достоевского Анне Григорьевне. В 1903 г. в январском выпуске «Исторического вестника» был опубликован очерк Скандина «Ф.М. Достоевский в Семипалатинске», иллюстрированный фотографиями дома почтальона Лепухина, караульной будки, солдатской казармы, дома командира Белихова.

В связи с 80-летием со дня рождения писателя в 1902 г., в городскую думу поступило ходатайство от шестидесяти четырех лиц о необходимости увековечения памяти Достоевского.

Городская Управа постановляет переименовать улицу Крепостную, на которой сохранился дом, где жил писатель, в улицу Достоевского, а на доме установить мемориальную доску. Но решение вопроса было отложено на неопределенный срок.

Спустя девять лет об этом вновь ходатайствовали члены Семипалатинского подотдела РГО, в связи с 30-летием со дня смерти писателя. В 1911 г. улица была переименована. В 1915 г. на доме была установлена мемориальная доска, приобретенная гласным Городской Думы и членом подотдела РГО И.И. Ложкиным на собственные средства.

В отчете Совета Общества попечения о начальном образовании, опубликованном в «Обзоре Семипалатинской области за 1910-1912 гг.» сообщалось, что имя Достоевского было присвоено в 1905 г. вновь открытой частной начальной школе, в которой обучалась 30 мальчиков и 11 девочек.

В течение четверти века (1902-1927 гг) семипалатинский краевед, священник Б.Г. Герасимов исследовал Семипалатинский период жизни Ф.М. Достоевского, публикуя статьи в «Записках подотдела РГО», «Сибирской жизни», «Сибирском архиве», «Сибирских огнях», «Сибирской летописи», тем самым поддерживал неиссякаемый интерес к Достоевскому и истории края.

В 1921 г., к столетию со дня рождения Федора Михайловича, состоялось торжественное заседание подотдела РГО, продолжавшееся два вечера. Достоевскому было посвящено 10 докладов. Тогда же театр при Семипалатинском доме заключенных назвали театром имени Достоевского.

30 июня 1929 г. в областной газете «Прииртышская правда» была опубликована заметка «Дом Достоевского – городу». В ней говорилось, что «окрисполком решил приобрести в собственность города дом, где проживал в ссылке Ф.М. Достоевский. В нем предполагается создать какое-либо культурное учреждение...»

Но вернулись к этому вопросу спустя много лет.

Толчком к созданию музея Ф.М. Достоевского в Семипалатинске послужила заметка в «Литературной газете» от 20 мая 1965 г. В ней говорилось о необходимости сохранить дома, связанные с памятью Ф.М. Достоевского в Семипалатинске, Новокузнецке и подумать об их дальнейшей судьбе. Заметка была подписана группой писателей и ученых: К. Фединым, Л. Леоновым, В. Лидиным, В. Кирпотинным, М. Никитиным и директором музея-квартиры Ф.М. Достоевского в Москве – Г. Коган.

Уже в октябре 1965 г. по решению горисполкома, в доме на улице Достоевского, 118 (бывший дом почтальона Лепухина), была открыта городская библиотека, получившая в следующем году имя Ф.М. Достоевского. Заведующей библиотекой стала Фурцева Зинаида Георгиевна.

С первых дней работы библиотеки, очень часто посетители и читатели задавали вопросы о пребывании писателя в Семипалатинске. И невольно возникла необходимость более подробно рассказывать людям о Достоевском. Для этого нужны были книги, материалы о нем, а ведь во вновь открывшейся библиотеке не было даже ни одного произведения писателя. И Зинаида Георгиевна вступает в переписку с известными людьми, писателями, учеными, литературоведами, с институтом литературы

им. Пушкина, с библиотеками, книжными и букинистическими магазинами.

Вскоре в адрес библиотеки стали поступать книги с дарственными надписями от писателей: А. Долинина, Б. Рюрикова, Г. Фридендера, Б. Бурсова, В. Кирпотина, П. Пустовойта, В. Нечаевой, К. Федина, Л. Леонова, К. Чуковского, Г. Серебряковой, В. Рождественского, Д. Гранина, Н. Арденса, С. Муканова, Н. Анова, П. Косенко, О. Сулейменова и многих других. Живой интерес к рождению музея проявили академики А. Маргулан, М. Каратаев, В. Терновский.

Фурцева активно формировала будущий музейный фонд. Народный художник СССР С.Т. Коненков подарил гипсовое повторение скульптуры «Достоевский на каторге». От академика В.Н. Терновского был получен гипсовый бюст Ф. М. Достоевского (работы неизвестного автора начала XX века).

По инициативе К.А. Федина библиотека Центрального дома литераторов прислала в дар тысячу томов ценной литературы.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) передал книги и свыше ста фотографий, относящихся к Достоевскому. Шли посылки из Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и многих других библиотек страны.

В 1968 г. город отмечал 250-летие со дня своего основания. На юбилейное торжество был приглашен внук писателя А.Ф. Достоевский. С огромным волнением вступил он на землю, по которой когда-то ходил его великий дед.

Благодаря стараниям Андрея Федоровича, в адрес создающегося музея прислали свои книги: профессор Сорбонского университета Доминик Арбан, заведующий отделом славянских литератур Гарвардского университета Дональд Фангер, известный немецкий писатель Генрих Бёлль.

Вскоре дом Достоевского был полностью освобожден от жильцов и стал работать как филиал областного историко-краеведческого музея.





Праправнук писателя Алексей Достоевский в Семее

В 1971 г., когда мировая общественность отмечала 150-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского, Постановлением Совета Министров Казахской ССР № 261 от 7 мая 1971 г. был открыт самостоятельный Семипалатинский областной литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. В городском пединституте прошла научная конференция, в которой приняли участие видные писатели: П. Нилин, Н. Арденс, С. Муқанов, А. Нурпеисов. Приехавшие на торжества артисты театра им. Моссовета И. Саввина и Г. Бортников рассказали о работе в спектакле Ю. Завадского «Петербургские сновидения» и сыграли ряд сцен.

События 1971 г. послужили дальнейшим толчком к развитию музея. Был найден автограф Ф.М. Достоевского – его рапорт батальонному командиру от 27 июля 1857 г. об отправке пасынка Павла на учебу в Омский кадетский корпус.

Интенсивно стали пополняться фонды, возросла роль музея в научно-просветительской, эстетической работе среди населения.

В 1972 г., по инициативе областных руководителей, была задумана пристройка к мемориальному дому, с обширной литературной экспозицией, фондохранилищем, кинозалом и научной библиотекой. Идея этой пристройки вынашивалась и поддерживалась разными людьми и организациями, все относились к ней совершенно особо. Об этом говорит даже то, что проект ар-

хитектора В. Власова, по которому строилось здание, был двадцать седьмым вариантом решения проекта. Семипалатинцы задумали сделать уникальный музей, не похожий на другие музеи писателя.

Так возникла идея музея-памятника. Здание решено было построить в форме раскрытой книги: ломаная линия стен – страницы, торец – корешок. Благодаря невероятному энтузиазму музейных работников, помощи областных руководителей, в 1976 г. строительство пристройки было завершено. Новое здание и мемориальный домик соединили легким стеклянным вестибюлем, тем самым символизируя неразрывную связь истории и современности. На здании установлены охранный и мемориальный доски, а над входом размещен барельеф писателя работы скульптора Сегизбаева.

Оформлять музей были приглашены недавние выпускники Ленинградского художественно-промышленного училища имени В. Мухоморова В. Одноколкин, Г. Козлитин, В. Гукасов и С. Широков.

Главным при создании образа музея они определили для себя синтез архитектуры, монументального, декоративно-прикладного искусства и экспозиции.

Произведения в экстерьере должны были передавать атмосферу, среду, в которой жил и работал Достоевский, для этого создаются композиции «Кабинет писателя» и «Петербург Достоевского». А произведения интерьера должны были раскрывать внутренний мир Достоевского и его героев. Именно такую нагрузку несли на себе композиции «Мертвый дом», «Кровь», «Пот», «Слезы» и «Приобщение». Росписи по рельефу создавали необходимый эмоциональный настрой для восприятия сложного мира Достоевского.

Рядом с зданием музея была установлена парная бронзовая скульптура «Ф. Достоевский и Ч.Ч. Валиханов», выполненная московским скульптором Д. Элбакидзе, и композиционно завершившая весь комплекс.

К тому времени активную деятельность З.Г. Фурцевой продолжила И.Ф. Мельникова, проработавшая директором музея более двадцати лет. Как знающий, эрудированный специалист, профессионал и четко организованный человек, она вела работу по изучению истории родного края, ведению разнообразных картотек, необходимых при исследовании творчества Достоев-

ского. Длительное время она общалась с Л.Ф. Белослюдовым, который затем передал в музей интересные фотографии и документы своего отца Федора Белослюдова.

С 2002 г. музей возглавляет Т.К. Автушко, «Отличник образования РК», до этого работавшая главным специалистом областного департамента образования и сотрудником историко-краеведческого музея. По её инициативе в 2003 году была проведена международная конференция «Достоевский и мировая культура», где принимали участие известные достоевковеды, директора Омского и Новокузнецкого музеев Достоевского, коллеги-музейщики ВКО и Павлодара. Почетным гостем конференции был, приехавший из Петербурга, праправнук писателя Алексей Достоевский.

Первая экспозиция музея проработала более 30 лет, не оставляя равнодушным ни одного человека, посетившего музей. Но время вносило свои коррективы и требовалось создание современной, оснащенной новым оборудованием экспозиции, в которой должен был прослеживаться новый, сформировавшийся в последние годы, взгляд на сложную, порой наполненную мучительными противоречиями, жизнь и творчество Ф.М. Достоевского.

В то же время научные сотрудники ставили перед собой непростую задачу – корректно и бережно отнестись к существующим в музее художественным композициям и сохранить их для современного посетителя.

На создание и оформление экспозиции ушло три года, и в октябре 2011 г. обновленная литературная экспозиция приняла своих первых посетителей.



Дом Лепухиных – ныне Ф.М. Достоевского

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Ахметов.</i> «Абай әлемі» – «Мир Абая» – избранные из лучших	3
<i>Т. Автушко.</i> Предисловие	5
<i>Б.Г. Герасимов</i>	
Новые данные о жизни Достоевского в Семипалатинске	10
Достоевский в Семипалатинске	14
Ф.М. Достоевский в Семипалатинске	29
<i>А.В. Скандин.</i> Достоевский в Семипалатинске	61
<i>Т. Титаева</i>	
Дружба Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханова	83
А.Е. Врангель – друг Достоевского	85

ПОВЕСТИ

Дядюшкин сон	90
Село Степанчиково и его обитатели	213
<i>Т. Титаева.</i> Фурцева Зинаида Георгиевна (1920-2010)	412
<i>З.Г. Фурцева.</i> Как это было	416
<i>Д. Гранин.</i> Рождение музея	460
История создания музея	465

Книжная серия «Абай әлемі»

Федор Михайлович Достоевский

**Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ:
СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ПЕРИОД
(1854-1859 гг.)**

Составитель Музей Достоевского

ISBN 978-601-338-072-8



*Технический редактор Э. Заманбек
Дизайнер А. Салиев
Корректор Л. Тоскина
Компьютерная верстка А. Скаковой*

Подписано к печати 26.07.2018.
Формат 60x90¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. п.л. 29,5.
Тираж 1000 экз. Заказ №183.

Издательство «Фолиант»
010000, г. Астана, ул. Ш. Айманова, 13

Отпечатано в типографии ТОО «Регис-СТ Полиграф»
010000, г. Астана, ул. Ш. Айманова, 13